# А. П. ЧЕХОВ

## Избранные произведения

University of Illinois
Library at
Urbana-Champaign
Oak St.

# А. П. ЧЕХОВ

## Избранные произведения

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ
I

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ
(1879—1888)

*Государственное издательство*
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
*Москва—1960*

Тексты произведений печатаются по изданию:

*«А. П. Чехов, Собрание сочинений в 12 томах. Гослитиздат, М. 1954—1957».*

*Оформление художника*
Н. КРЫЛОВА

891.73
C41
I1960
v.1
STDS

## ПИСЬМО К УЧЕНОМУ СОСЕДУ

*Село Блины-Съедены*

Дорогой Соседушка!

Максим... (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизацыя и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напеча-

тали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, и мои руины и развалины сосед мой Герасимов и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с Герасимовым касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. Герасимов сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего

Ивана (Маиора). Абат значит католический поп. Извените меня неука за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. Герасимов сообщил мне, что вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишите, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне Герасимов, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть, по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо сострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу

и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце раз в год рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приежжайте ко мне дорогой соседушко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня погаденького вычислениям различным поучите.

Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученыи. И насщот этого мы поговорим. Приежжайте, сделайте милость. Приежжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтобы Вы с собой какие нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе все у ней дураки только она одна умная. Молодеж теперь я Вам скажу, дает себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в

8 часов вечера. Если же привезет его пожже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемонится. Если доставит пожже то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приежжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извените меня негодника за беспокойство,

Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед

*Василий Семи-Булатов.*

*1879*

## РАДОСТЬ

Было двенадцать часов ночи.

Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.

— Откуда ты? — удивились родители. — Что с тобой?

— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это... это даже невероятно!

Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.

— Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!

Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.

— Что с тобой? На тебе лица нет!

— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О, господи!

Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.

— Да что такое случилось? Говори толком!

— Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас

все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!

— Что ты? Где?

Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.

— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!

Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.

— Читайте!

Отец надел очки.

— Читайте же!

Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать:

— «29 декабря, в 11 часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...

— Видите, видите? Дальше!

— ...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии...

— Это я с Семеном Петровичем... Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!

— ...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии; был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...

— Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!

— ...который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь...»

— Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!

Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.

— Побегу к Макаровым, им покажу... Надо еще Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу... Побегу! Прощайте!

Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.

*1883*

## ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ

*Рассказ отставного коллежского регистратора*

В пятницу на масленой все отправились есть блины к Алексею Иванычу Козулину. Козулина вы не знаете; для вас, быть может, он ничтожество, нуль, для нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он велик, всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, составляющие его, так сказать, подножие. Пошел и я с папашей.

Блины были такие великолепные, что выразить вам не могу, милостивый государь: пухленькие, рыхленькие, румяненькие. Возьмешь один, черт его знает, обмакнешь его в горячее масло, съешь — другой сам в рот лезет. Деталями, орнаментами и комментариями были: сметана, свежая икра, семга, тертый сыр. Вин и водок целое море. После блинов осетровую уху ели, а после ухи куропаток с подливкой. Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговки на животе и, чтобы кто не заметил сего либерализма, накрылся салфеткой. Алексей Иваныч, на правах нашего начальника, которому все позволено, расстегнул жилетку и сорочку. После обеда, не вставая из-за стола, закурили, с дозволения начальства, сигары и повели беседу. Мы слушали, а его превосходительство, Алексей Иваныч, говорил. Сюжетцы были все больше юмористического характера, масленичного... Начальник рассказывал и, видимо, желал казаться остроумным. Не знаю, сказал ли он что-нибудь смешное, но только помню, что папаша ежеминутно толкал меня в бок и говорил:

— Смейся!

Я раскрывал широко рот и смеялся. Раз даже взвизгнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее внимание.

— Так, так! — зашептал папаша. — Молодец! Он глядит на тебя и смеется... Это хорошо; может, в самом деле даст тебе место помощника письмоводителя!

— Н-да-с! — сказал, между прочим, Козулин, начальник наш, пыхтя и отдуваясь. — Теперь мы блины кушаем, наисвежайшую икру употребляем, жену белотелую ласкаем. А дочки у меня такие красавицы, что не только ваша братия смиренная, а даже князья и графы засматриваются и вздыхают. А квартира? Хе-хе-хе... То-то вот! Не ропщите, не сетуйте и вы, покуда до конца не доживете! Все бывает, ну и всякие перемены бывают... Ты теперь, положим, ничтожество, нуль, соринка... изюминка — а кто знает? Может быть, со временем и того... судьбы человеческие за вихор возьмешь! Всякое бывает!

Алексей Иваныч помолчал, покачал головой и продолжал:

— А прежде-то, прежде что было! А? Боже ты мой! Памяти своей не веришь. Без сапог, в рваных штанишках, со страхом и трепетом... За целковый, бывало, две недели работаешь. Да не дадут тебе этот целковый, нет! а скомкают да в лицо бросят: лопай! И всякий тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить... Всякий сконфузить может... Идешь с докладом, глядишь, а у дверей собачонка сидит. Подойдешь ты к этой собачонке, да за лапочку, за лапочку. Извините, мол, что мимо прошел. С добрым утром-с! А собачонка на тебя: пррр... Швейцар тебя локтем — толк! а ты ему: «Мелких нет, Иван Потапыч!.. извините-с!» А больше всего я натерпелся и поношений разных вынес от этого вот сига копченого, от этого вот... крокодила! Вот от этого самого смиренника, от Курицына!

И Алексей Иваныч указал на маленького, сгорбленного старичка, сидевшего рядом с моим папашей. Старичок мигал утомленными глазками и с отвращением курил сигару. Обыкновенно он никогда не курит, но если начальство предлагает ему сигару, то он считает неприличным отказываться. Увидев устремленный на него палец, он страшно сконфузился и завертелся на стуле.

— Много я претерпел по милости этого смиренника! — продолжал Козулин. — Я ведь к нему к первому под начало попал. Привели меня к нему смиренького, серенького, ничтожненького и посадили за его стол. И стал он меня есть... Что ни слово — то нож острый, что ни взгляд — то пуля в грудь. Теперь-то он червячком глядит, убогеньким, а прежде что было! Нептун! Небеса разверзеся! Долго он меня терзал! Я и писал ему, и за пирожками бегал, перья чинил, тещу его старую по театрам водил. Всякие угождения ему делал. Табак нюхать выучился! Нда... А все для него... Нельзя, думаю, надо, чтоб табакерка при мне постоянно была на случай, ежели спросит. Курицын, помнишь? Приходит к нему однажды моя матушка покойница и просит его, старушечка, чтоб он сынка, меня то есть, на два дня к тетушке отпустил, наследство делить. Как накинется на нее, как вытаращит бельмы, как закричит: «Да он у тебя лентяй, да он у тебя дармоед, да чего ты, дура, смотришь!.. Под суд, говорит, попадет!» Пошла старушечка домой да и слегла, заболела от перепугу, чуть не померла в ту пору...

Алексей Иваныч вытер глаза платочком и залпом выпил стакан вина.

— Женить меня на своей собирался, да я на ту пору... к счастью, горячкой заболел, полгода в больнице пролежал. Вот что прежде было! Вот как живали! А теперь? Пфи! А теперь я... я над ним... Он мою тещу в театры водит, он мне табакерку подает и вот сигару курит. Хе-хе-хе... Я ему в жизнь перчику... перчику! Курицын!!

— Чего изволите-с? — спросил Курицын, вставая и вытягиваясь в струнку.

— Трагедию представь!

— Слушаю!

Курицын вытянулся, нахмурился, поднял вверх руку, скорчил рожу и пропел сиплым, дребезжащим голосом:

— Умри, вероломная! Крррови жажду!!

Мы покатились со смеху.

— Курицын! Съешь этот самый кусок хлеба с перчиком!

Сытый Курицын взял большой кусок ржаного хлеба, посыпал его перцем и сжевал при громком смехе.

— Всякие перемены бывают, — продолжал Козулин. — Сядь, Курицын! Когда встанем, пропоешь что-нибудь... Тогда ты, а теперь я... Да... Так и померла старушечка... Да...

Козулин поднялся и покачнулся...

— А я — молчок, потому что маленький, серенький... Мучители... Варвары... А теперь зато я... Хе-хе-хе... А ну-ка ты! Ты! Тебе говорят, безусый!

И Козулин ткнул пальцем в сторону папаши.

— Бегай вокруг стола и пой петушком!

Папаша мой улыбнулся, приятно покраснел и засеменил вокруг стола. Я за ним.

— Ку-ку-реку! — заголосили мы оба и побежали быстрее.

Я бегал и думал:

«Быть мне помощником письмоводителя!»

*1883*

## СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уже забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков бледнея. — Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

— Пошел вон!!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

*1883*

## ДОЧЬ АЛЬБИОНА

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

— Господа дома? — спросил предводитель.

— Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул... Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая! — засмеялся Отцов. — Здравствуй, Иван Кузьмич!

— А... это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. — Приехал?

— Как видишь... А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?

— Кой черт... Весь день ловлю, с утра... Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим, и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.

— А ты наплюй. Пойдем водку пить!

— Постой... Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше... Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью... с чертовкой с этой...

— Но... ты с ума сошел? — спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. — Бранишься при даме... и ее же...

— Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей все равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.

Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку.

— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Грябов. — Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они... черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!

— Ну, перестань... Неловко... Что напал на женщину?

— Она не женщина, а девица... О женихах небось мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью... Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на все смотрит... Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно.

— Видал? — спросил Грябов хохоча. — Нате, мол, вам! Ах ты кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил... Нос точно у ястреба... А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой... У меня, кажется, клюет...

Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась... Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.

— Зацепилась! — сказал он и поморщился. — За камень, должно быть... Черт возьми...

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.

— Экая жалость! В воду лезть надо.

— Да ты брось!

— Нельзя... Под вечер хорошо ловится... Ведь этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо... При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.

— Мисс... эээ... — обратился он к англичанке. — Мисс Тфайс! Же ву при...[1] Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте... туда! Туда уходите! Слышишь?

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.

— Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там... Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.

---

[1] Прошу вас... (от *франц.* Je vous prie).

— Первый раз в жизни ее голос слышу... Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

— Плюнь! Пойдем водки выпьем!

— Нельзя, теперь ловиться должно... Вечер... Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться...

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.

— Послушай, Иван Кузьмич, — сказал предводитель, хохоча в кулак. — Это уж, друг мой, глумление, издевательство.

— Ее никто не просит не понимать. Это наука им, иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами... По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.

— Надо остынуть, — сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. — Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

— Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!

— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. — Брр... холодная вода... Посмотри, как бровями двигает! Не уходит... Выше толпы стоит! Хе-хе-хе... И за людей нас не считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

— Это, брат, ей не Англия!

Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.

*1883*

## СПРАВКА

Был полдень. Помещик Волдырев, высокий, плотный мужчина с стриженой головой и с глазами навыкате, снял пальто, вытер шелковым платком лоб и несмело вошел в присутствие. Там скрипели...

— Где здесь я могу навести справку? — обратился он к швейцару, который нес из глубины присутствия поднос со стаканами. — Мне нужно тут справиться и взять копию с журнального постановления.

— Пожалуйте туда-с! Вот к энтому, что около окна сидит! — сказал швейцар, указав подносом на крайнее окно.

Волдырев кашлянул и направился к окну. Там за зеленым, пятнистым, как тиф, столом сидел молодой человек с четырьмя хохлами на голове, длинным угреватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой большой нос в бумаги, он писал. Около правой ноздри его гуляла муха, и он то и дело вытягивал нижнюю губу и дул себе под нос, что придавало его лицу крайне озабоченное выражение.

— Могу ли я здесь... у вас, — обратился к нему Волдырев, — навести справку о моем деле? Я Волдырев... И кстати же мне нужно взять копию с журнального постановления от второго марта.

Чиновник умокнул перо в чернильницу и поглядел, не много ли он набрал? Убедившись, что перо не капнет, он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было: муха села на ухо.

— Могу ли я навести здесь справку? — повторил через минуту Волдырев. — Я Волдырев, землевладелец...

— Иван Алексеич! — крикнул чиновник в воздух, как бы не замечая Волдырева. — Скажешь купцу Яликову, когда придет, чтобы копию с заявления в полиции засвидетельствовал! Тысячу раз говорил ему!

— Я относительно тяжбы моей с наследниками княгини Гугулиной, — пробормотал Волдырев. — Дело известное. Убедительно вас прошу заняться мною.

Все не замечая Волдырева, чиновник поймал на губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил. Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клетчатый платок. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты две длилось молчание. Волдырев вынул из кармана рублевую бумажку и положил ее перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным лицом и закрыл ее.

— Маленькую справочку... Мне хотелось бы только узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной... Могу ли я вас побеспокоить?

А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, почесывая локоть, пошел зачем-то к шкафу. Возвратившись через минуту к своему столу, он опять занялся книгой: на ней лежала рублевка.

— Я побеспокою вас на одну только минуту... Мне справочку сделать, только...

Чиновник не слышал; он стал что-то переписывать.

Волдырев поморщился и безнадежно поглядел на всю скрипевшую братию.

«Пишут! — подумал он вздыхая. — Пишут, чтобы черт их взял совсем!»

Он отошел от стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходивший со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное выражение на его лице, потому что подошел к нему совсем близко и спросил тихо:

— Ну, что? Справлялись?

— Справлялся, но со мной говорить не хотят.

— А вы дайте ему три рубля... — шепнул швейцар.

— Я уже дал два.

— А вы еще дайте.

Волдырев вернулся к столу и положил на раскрытую книгу зеленую бумажку.

Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся перелистыванием, и вдруг, как бы нечаянно, поднял глаза на Волдырева. Нос его залоснился, покраснел и поморщился улыбкой.

— Ах... что вам угодно? — спросил он.

— Я хотел бы навести справку относительно моего дела... Я Волдырев.

— Очень приятно-с! По гугулинскому делу-с? Очень хорошо-с! Так вам что же, собственно говоря?

Волдырев изложил ему свою просьбу.

Чиновник ожил, точно его подхватил вихрь. Он дал справку, распорядился, чтобы написали копию, подал просящему стул — и все это в одно мгновение. Он даже поговорил о погоде и спросил насчет урожая. И когда Волдырев уходил, он провожал его вниз по лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь и делая вид, что он каждую минуту готов перед просителем пасть ниц. Волдыреву почему-то стало неловко, и, повинуясь какому-то внутреннему влечению, он достал из кармана рублевку и подал ее чиновнику. А тот все кланялся и улыбался, и принял рублевку, как фокусник, так что она только промелькнула в воздухе.

«Ну, люди...» — подумал помещик, выйдя на улицу, остановился и вытер лоб платком.

*1883*

## ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги...

Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

*1883*

## ТРАГИК

Был бенефис трагика Феногенова.

Давали «Князя Серебряного». Сам бенефициант играл Вяземского, антрепренер Лимонадов — Дружину Морозова, г-жа Беобахтова — Елену... Спектакль вышел на славу. Трагик делал буквально чудеса. Он похищал Елену одной рукой и держал ее выше головы, когда проносил через сцену. Он кричал, шипел, стучал ногами, рвал у себя на груди кафтан. Отказываясь от поединка с Морозовым, он трясся всем телом, как в действительности никогда не трясутся, и с шумом задыхался. Театр дрожал от аплодисментов. Вызовам не было конца. Феногенову поднесли серебряный портсигар и букет с длинными лентами. Дамы махали платками, заставляли мужчин аплодировать, многие плакали... Но более всех восторгалась игрой и волновалась дочь исправника Сидорецкого, Маша. Она сидела в первом ряду кресел, рядом со своим папашей, не отрывала глаз от сцены даже в антрактах и была в полном восторге. Ее тоненькие ручки и ножки дрожали, глазки были полны слез, лицо становилось все бледней и бледней. И немудрено: она была в театре первый раз в жизни!

— Как хорошо они представляют! Как отлично! — обращалась она к своему папаше-исправнику всякий раз, когда опускался занавес. — Как хорош Феногенов!

И если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до страдания. Она страдала и от игры, и от пьесы, и

от обстановки. Когда в антракте полковой оркестр начинал играть свою музыку, она в изнеможении закрывала глаза.

— Папа! — обратилась она к отцу в последнем антракте. — Пойди на сцену и скажи им всем, чтобы приходили к нам завтра обедать!

Исправник пошел за сцену, похвалил там всех за хорошую игру и сказал г-же Беобахтовой комплимент:

— Ваше красивое лицо просится на полотно. О, зачем я не владею кистью!

И шаркнул ногой, потом пригласил артистов к себе на обед.

— Все приходите, кроме женского пола, — шепнул он. — Актрис не надо, потому что у меня дочка.

На другой день у исправника обедали артисты. Пришли только антрепренер Лимонадов, трагик Феногенов и комик Водолазов; остальные сослались на недосуг и не пришли. Обед прошел скучно. Лимонадов все время уверял исправника, что он его уважает и вообще чтит всякое начальство, Водолазов представлял пьяных купцов и армян, а Феногенов, высокий, плотный малоросс (в паспорте он назывался Кныш) с черными глазами и нахмуренным лбом, продекламировал «У парадного подъезда» и «Быть или не быть?». Лимонадов со слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим губернатором, генералом Канючиным. Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло жженными перьями, а на Феногенове был чужой фрак и сапоги с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились его дочке, веселили ее, и этого ему было достаточно! А Маша глядела на артистов, не отрывала от них глаз ни на минуту. Никогда ранее она не видала таких умных, необыкновенных людей!

Вечером исправник и Маша опять были в театре. Через неделю артисты опять обедали у начальства, и с этого раза стали почти каждый день приходить в дом исправника то обедать, то ужинать, и Маша еще сильнее привязалась к театру и стала бывать в нем ежедневно.

Она влюбилась в трагика Феногенова. В одно прекрасное утро, когда исправник ездил встречать архиерея, она бежала с труппой Лимонадова и на пути повенчалась

со своим возлюбленным. Отпраздновав свадьбу, артисты сочинили длинное, чувствительное письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли все разом.

— Ты ему мотивы, мотивы ты ему! — говорил Лимонадов, диктуя Водолазову. — Почтения ему подпусти... Они, чинодралы, любят это. Надбавь чего-нибудь этакого... чтоб прослезился...

Ответ на это письмо был самый неутешительный. Исправник отрекался от дочери, вышедшей, как он писал, «за глупого, праздношатающегося хохла, не имеющего определенных занятий».

И на другой день после того, как пришел этот ответ, Маша писала своему отцу:

«Папа, он бьет меня! Прости нас!»

Он бил ее, бил за кулисами в присутствии Лимонадова, прачки и двух ламповщиков! Он помнил, как за четыре дня до свадьбы, вечером, сидел он со всей труппой в трактире «Лондон»; все говорили о Маше, труппа советовала ему «рискнуть», а Лимонадов убеждал со слезами на глазах:

— Глупо и нерационально отказываться от такого случая! Да ведь за этакие деньги не то что жениться, в Сибирь пойти можно! Женишься, построишь свой собственный театр, и бери меня тогда к себе в труппу. Не я уж тогда владыка, а ты владыка.

Феногенов помнил об этом и теперь бормотал, сжимая кулаки:

— Если он не пришлет денег, так я из нее щепы нащеплю. Я не позволю себя обманывать, черт меня раздери!

Из одного губернского города труппа хотела уехать тайком от Маши, но Маша узнала и прибежала на вокзал после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах.

— Я оскорблен вашим отцом! — сказал ей трагик. — Между нами все кончено!

А она, несмотря на то, что в вагоне был народ, согнула свои маленькие ножки, стала перед ним на колени и протянула с мольбой руки.

— Я люблю вас! — просила она. — Не гоните меня, Кондратий Иваныч! Я не могу жить без вас!

Вняли ее мольбам и, посоветовавшись, приняли ее в труппу на амплуа «сплошной графини», — так назы-

вали маленьких актрис, выходивших на сцену обыкновенно толпой и игравших роли без речей... Сначала Маша играла горничных и пажей, но потом, когда г-жа Беобахтова, цвет лимонадовской труппы, бежала, то ее сделали ingénue [1]. Играла она плохо: сюсюкала, конфузилась. Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться публике. Феногенов был очень недоволен.

— Разве это актриса? — говорил он. — Ни фигуры, ни манер, а так только... одна глупость...

В одном губернском городе труппа Лимонадова давала «Разбойников» Шиллера. Феногенов изображал Франца, Маша — Амалию. Трагик кричал и трясся, Маша читала свою роль, как хорошо заученный урок, и пьеса сошла бы, как сходят вообще пьесы, если бы не случился маленький скандал. Все шло благополучно до того места в пьесе, где Франц объясняется в любви Амалии, а она хватает его шпагу. Малоросс прокричал, прошипел, затрясся и сжал в своих железных объятиях Машу. А Маша, вместо того чтобы отпихнуть его, крикнуть ему «прочь!», задрожала в его объятиях, как птичка, и не двигалась... Она точно застыла.

— Пожалейте меня! — прошептала она ему на ухо. — О, пожалейте меня! Я так несчастна!

— Роли не знаешь! Суфлера слушай! — прошипел трагик и сунул ей в руки шпагу.

После спектакля Лимонадов и Феногенов сидели в кассе и вели беседу.

— Жена твоя ролей не учит, это ты правильно... — говорил антрепренер. — Функции своей не знает... У всякого человека есть своя функция... Так вот она ее-то не знает...

Феногенов слушал, вздыхал и хмурился, хмурился...

На другой день утром Маша сидела в мелочной лавочке и писала:

«Папа, он бьет меня! Прости нас! Вышли нам денег!»

*1883*

---

[1] наивной девушкой (театральное амплуа. — *Франц.*).

## РЕПЕТИТОР

Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкаф за тетрадками. Занятие начинается.

Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по два часа ежедневно, за что и получает шесть рублей в месяц. Готовит он его во II класс гимназии. (В прошлом году он готовил его в I класс, но Петя порезался.)

— Ну-с... — начинает Зиберов, закуривая папиросу. — Вам задано четвертое склонение. Склоняйте fructus!

Петя начинает склонять.

— Опять вы не выучили! — говорит Зиберов, вставая. — В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы ни в зуб толкнуть! Когда же наконец вы начнете учить уроки?

— Опять не выучил? — слышится за дверями кашляющий голос, и в комнату входит Петин папаша, отставной губернский секретарь Удодов. — Опять? Почему же ты не выучил? Ах ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеич? Ведь и вчерась порол!

И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает в истрепанного Кюнера. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын! Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького, краснощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается,

когда мальчуган отвечает впопад, — так опротивел ему этот Петя!

— Вы даже второго склонения не знаете! Не знаете вы и первого! Вот вы как учитесь! Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от meus filius?

— От meus filius? Meus filius... будет... это будет...

Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа.

— А как будет дательный множественного от dea?

— Deabus... filiabus! — отчеканивает Петя.

Старик Удодов одобрительно кивает головой. Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду.

— А еще какое существительное имеет в дательном abus? — спрашивает он.

Оказывается, что и «anima — душа» имеет в дательном abus, чего нет в Кюнере.

— Звучный язык латинский! — замечает Удодов. — Алон... трон... бонус... антропос... Премудрость! И все ведь это нужно! — говорит он со вздохом.

«Мешает, скотина, заниматься... — думает Зиберов. — Сидит над душой тут и надзирает. Терпеть не могу контроля!» — Ну-с, — обращается он к Пете. — К следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по арифметике... Берите доску. Какая следующая задача?

Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:

— «Купец купил 138 арш. черного и синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?» Повторите задачу.

Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.

— Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, так... продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!

Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.

«Странно... — думает он, ероша волосы и краснея. — Как же она решается? Гм!.. Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая...»

Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.

«Гм!.. странно... Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли? Нет, не то».

— Решайте же! — говорит он Пете.

— Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! — говорит Удодов Пете. — Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеич.

Егор Алексеич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, — говорит он. — Ее с иксом и игрэком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я вот разделил... понимаете? Теперь вот надо вычесть... понимаете? Или вот что... Решите мне эту задачу сами к завтраму... Подумайте...

Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик VII класса еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол.

— И без алгебры решить можно, — говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. — Вот, извольте видеть...

Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

— Вот-с... по-нашему, по-неученому.

Учителю становится нестерпимо жутко. С замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час с четвертью — целая вечность!

— Теперь диктант.

После диктанта — география, за географией — закон божий, потом русский язык — много на этом свете наук! Но вот наконец кончается двухчасовой урок. Зиберов берется за шапку, милостиво подает Пете руку и прощается с Удодовым.

— Не можете ли вы сегодня дать мне немного денег? — просит он робко. — Завтра мне нужно взносить плату за учение. Вы должны мне за шесть месяцев.

— Я? Ах, да, да... — бормочет Удодов, не глядя на Зиберова. — С удовольствием! Только у меня сейчас нету, а я вам через недельку... или через две...

Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые, грязные калоши, идет на другой урок.

*1884*

## АЛЬБОМ

Титулярный советник Кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обратясь к Жмыхову, сказал:

— Ваше превосходительство! Движимые и тронутые всею душою вашим долголетним начальничеством и отеческими попечениями...

— Более чем в продолжение целых десяти лет, — подсказал Закусин.

— Более чем в продолжение целых десяти лет мы, ваши подчиненные, в сегодняшний знаменательный для нас... тово... день, подносим вашему превосходительству, в знак нашего уважения и глубокой благодарности, этот альбом с нашими портретами и желаем в продолжение вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли нас...

— Своими отеческими наставлениями на пути правды и прогресса... — добавил Закусин, вытерев со лба мгновенно выступивший пот; ему, очевидно, очень хотелось говорить, и, по всей вероятности, у него была готова речь. — И да развевается, — кончил он, — ваш стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и общественного самосознания!

По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла слеза.

— Господа! — сказал он дрожащим голосом. — Я не ожидал, никак не думал, что вы будете праздновать мой скромный юбилей... Я тронут... даже... весьма... Этой минуты я не забуду до самой могилы, и верьте...

верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я... А ежели что и было, то для вашей же пользы...

Жмыхов, действительный статский советник, поцеловался с титулярным советником Кратеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от восторга. Затем начальник сделал рукой жест, означавший, что он от волнения не может говорить, и заплакал, точно ему не дарили дорогого альбома, а, наоборот, отнимали... Потом, немного успокоившись и сказав еще несколько прочувствованных слов и дав всем пожать свою руку, он, при громких радостных кликах, спустился вниз, сел в карету и, провожаемый благословениями, уехал. Сидя в карете, он почувствовал в груди наплыв неизведанных доселе радостных чувств и еще раз заплакал.

Дома ожидали его новые радости. Там его семья, друзья и знакомые устроили ему такую овацию, что ему показалось, что он в самом деле принес отечеству очень много пользы и что, не будь его на свете, то, пожалуй, отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объятий и слез. Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут приняты так близко к сердцу.

— Господа! — сказал он перед десертом. — Два часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за все время своей службы непрестанно держался принципа: не публика для нас, а мы для публики. И сегодня я получил высшую награду! Мои подчиненные поднесли мне альбом... Вот! Я тронут.

Праздничные физиономии нагнулись к альбому и стали его рассматривать.

— А альбом хорошенький! — сказала дочь Жмыхова, Оля. — Я думаю, он рублей пятьдесят стоит. О, какая прелесть! Ты, папка, отдай мне этот альбом. Слышишь? Я его спрячу... Такой хорошенький.

После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату и заперла его в стол. На другой день она вынула из него чиновников и побросала их на пол и вместо них вставила своих институтских подруг. Форменные вицмундиры уступили свое место белым пелеринкам. Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и

раскрасил их одежды красной краской. Безусым нарисовал он зеленые усы, а безбородым — коричневые бороды. Когда нечего уже было красить, он вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатики. Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес его в кабинет к отцу.

— Папа, монумент! Погляди!

Жмыхов захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал взасос Колину щечку.

— Ну, иди, шалун, покажи маме. Пусть и мама посмотрит.

*1884*

## БРОЖЕНИЕ УМОВ

*Из летописи одного города*

Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся: дошел до 35,8° и в нерешимости остановился... С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал; лень было вытирать.

По большой базарной площади, в виду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихин и ходатай по делам (он же и старинный корреспондент «Сына отечества») Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал.

На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо.

— Что вы смотрите, Евпл Серапионыч?

— Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Туча-тучей! Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать... да ежели... В саду отца протоиерея сели!

— Нисколько, Евпл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да и за что их, посудите, убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно, но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем, поет... А для чего он, спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое

дыхание да хвалит господа. Ой, нет! Кажется, у отца протоиерея сели!

Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лапотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея.

— Да, вы правду сказали, они у отца протоиерея сели, — продолжал Оптимов. — У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать.

Из протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и вместе с дьячком стал тоже глядеть вверх, чтобы понять.

— Отец Паисий, надо полагать, на требу идет, — сказал Почешихин. — Помогай ему бог!

В пространстве между друзьями и отцом протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напрягавшего свое внимание на высь поднебесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего-слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей.

— Что-то случилось, надо думать, — сказал Почешихин. — Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму! Эй, Кузьма! — крикнул он остановившемуся мужику. — Что там случилось?

Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лабаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным.

— Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь! Черт свинячий!

— Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь! Вас честью просят!

— Должно, внутри загорелось!

— Честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать!

— На мозоль наступил! А, чтоб тебя раздавило!

— Кого раздавило? Ребята, человека задавили!

— Почему такая толпа? За какой надобностью?

— Человека, ваше выскблаародие, задавило!

— Где? Рразойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просят тебя, дубина!

— Мужиков толкай, а благородных не смей трогать! Не прикасайся!

— Нешто это люди? Нешто их, чертей, проймешь добрым словом? Сидоров, сбегай-ка за Акимом Данилычем! Живо! Господа, ведь вам же плохо будет! Придет Аким Данилыч, и вам же достанется! И ты тут, Парфен?! А еще тоже слепец, святой старец! Ничего не видит, а туда же, куда и люди, не повинуется! Смирнов, запиши Парфена!

— Слушаю! И пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухши, — это пуровский!

— Пуровских не записывай покуда... Пуров завтра именинник!

Скворцы темной тучей поднялись над садом отца протоиерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их; они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилыч. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врезался в толпу.

— Пожжаррные, приготовьсь! Рразойдитесь! Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет! Чем в газеты на порядочных людей писать разные критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественней! Добру-то не научат газеты!

— Прошу вас не касаться гласности! — вспылил Оптимов. — Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя, по долгу гражданина, и почитаю вас, как отца и благодетеля.

— Пожарные, лей!

— Воды нет, ваше высокоблаародие!

— Не рразговаривать! Поезжайте за водой! Живааа!

— Не на чем ехать, ваше высокоблагородие. Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать!

— Разойдитесь! Сдай назад, чтоб тебя черти взяли... Съел? Запиши-ка его, черта!

— Карандаш потерялся, ваше высокоблаародие...

Толпа все увеличивалась и увеличивалась... Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на́ днях из Москвы новый орган. Заслышав «Стрелочка», толпа ахнула и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один-единственный человек — это пожарный, ходивший на каланче...

Вечером того же дня Аким Данилыч сидел в бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад-газес с коньяком и писал: «Кроме официальной бумаги, смею добавить, ваше-ство, и от себя некоторое присовокупление. Отец и благодетель! Именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов! Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного маиора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь сими достойными слугами отечества! Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему ничего не желающий, и, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами Того, кто не допустил до кровопролития. Виновные, за недостатком улик, сидят пока взаперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества преступили заповедь!»

*1884*

## ЭКЗАМЕН НА ЧИН

— Учитель географии Галкин на меня злобу имеет, и, верьте-с, я у него не выдержу сегодня экзамента, — говорил, нервно потирая руки и потея, приемщик Х-го почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков, седой, бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. — Не выдержу... Это как бог свят... А злится он на меня совсем из-за пустяков-с. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтоб я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочие. Это не годится... Хоть он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. «Дожидайтесь, говорю, очереди, милостивый государь». Он вспыхнул и с той поры восстает на меня, аки Саул. Сынишке моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды-с мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь: «Господа, поглядите: марка, бывшая в употреблении, идет!»

Учитель русского языка Пивомедов, стоявший в передней Х-го уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил:

— Не волнуйтесь. У нас и примера не было, чтоб вашего брата на экзаменах резали. Проформа!

Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой, словно

оборванной, бородкой, в парусинковых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше.

Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменующимся впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змиежалов в камилавке и с наперсным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ахахов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам.

Проэкзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проэкзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова...

— Вы где служите? — обратился к нему инспектор.

— Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высокородие, — проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. — Прослужил двадцать один год, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин.

— Так-с... Напишите диктант.

Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом, стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: «Хараша халодная вада, кагда хочица пить» и проч.

Но как ни изощрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал два «н», слово «лучше» написал «лутше», а словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще», но ведь все это не грубые ошибки.

— Диктант удовлетворителен, — сказал инспектор.

— Осмелюсь довести до сведения вашего высокородия, — сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина, — осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова, отчасти же обучался ей у племянника Варсонофия, приезжавшего на каникулах из Троице-Сергиевской, Вифанской тож, семинарии. И планиметрию учил, и стереометрию... все как есть...

— Стереометрии по программе не полагается.

— Не полагается? А я месяц над ней сидел... Этакая жалость! — вздохнул Фендриков.

— Но оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География — наука почтальонов.

Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов (об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу), но из почтительности сказал: «Точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно:

— Э... скажите мне, какое правление в Турции?

— Известно какое... Турецкое...

— Гм!.. турецкое... Это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга?

— Я географию Смирнова учил и, извините, не отчетливо выучил... Ганг, это которая река в Индии текет... река эта текет в океан.

— Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Аракс? И этого не знаете? Странно... Какой губернии Житомир?

— Тракт восемнадцать, место сто двадцать один.

На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык.

— Как перед истинным богом, ваше высокородие, — забормотал он. — Даже отец протоиерей могут подтвердить... Двадцать один год прослужил, и теперь это самое, которое... Век буду бога молить...

— Хорошо, оставим географию. Что́ вы из арифметики приготовили?

— И арифметику не отчетливо... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Век буду бога молить... С самого покрова учусь, учусь и... ничего толку... Постарел для умственности... Будьте столь милостивы, ваше высокородие, заставьте вечно бога молить.

На ресницах у Фендрикова повисли слезы.

— Прослужил честно и беспорочно... Говею ежегодно... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Будьте великодушны, ваше высокородие.

— Ничего не приготовили?

— Все приготовил-с, но ничего не помню-с... Скоро шестьдесят стукнет, ваше высокородие, где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость!

— Уж и шапку с кокардой себе заказал... — сказал протоиерей Змиежалов и усмехнулся.

— Хорошо, ступайте!.. — сказал инспектор.

Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль.

— Экая жалость! — бормотал он. — Ведь этакая, скажи на милость, глупость с моей стороны!

— Да что такое? — спросил Пивомедов.

— Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней, подлой, сидел. Этакая жалость!

*1884*

## ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— Ааа... мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иж-

дих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост....

— Предрассудок... (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки, — скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать

по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

— Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь!

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.) Не шевелись... Так, так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой... — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый черт... — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут... — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. — Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

*1884*

## ХАМЕЛЕОН

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, до верху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец

имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Не медля! Она, наверное, бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская... — глубокомысленно замечает городовой. — У генерала таких нет. У него всё больше лягавые...

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие...

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держать?!. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А может быть, и генеральская... — думает вслух городовой. — На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все.

— Это не наша, — продолжает Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости...

— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

*1884*

## НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ

Маленький заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городового врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые... Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вони, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет:

— Вот так бы нам, господа, почаще собираться да рассуждать! И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся. Да ей-богу!

— С кого бы нам начать? — обращается торговый депутат к врачу тоном палача, выбирающего жертву. — Не начать ли нам, Аникита Николаич, с лавки Ошейникова? Мошенник, во-первых, и... во-вторых, пора уж до него добраться. Намедни приносят мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет... Жена так и не ела!

— Ну, что ж? С Ошейникова начинать, так с Ошейникова, — говорит безучастно врач.

Санитары входят в «Магазин, чаю, сахару и кофию и прочих колоннеальных товаров А. М. Ошейникова» и тотчас же, без длинных предисловий, приступают к ревизии.

— М-да-с... — говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. — Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил! Изобретательность, подумаешь! Э... э... э! Это что же такое? Поглядите, господа! Демьян Гаврилыч изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать!

— От этого холеры не выйдет-с, Аникита Николаич! — резонно замечает хозяин.

— Оно-то так, но ведь противно! Ведь и я у тебя хлеб покупаю.

— Для кого поблагородней, мы особый нож держим. Будьте покойны-с... Что вы-с...

Полицейский надзиратель щурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает:

— А он у тебя, бывает, не с стрихнинами?

— Что вы-с... Помилуйте-с... Нешто можно-с!

Надзиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на прейскурант Асмолова и К°. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое... Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность.

— Кисаньки... кисаньки! Манюнечки мои! — лепечет он. — Лежат в крупе и мордочки подняли... нежатся... Ты бы, Демьян Гаврилыч, прислал мне одного котеночка!

— Это можно-с... А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть... Селедки вот, сыр... балык, изволите видеть... Балык в четверг получил, самый лучшшш... Мишка, дай-ка сюда ножик!

Санитары отрезывают по куску балыка и, понюхав, пробуют.

— Закушу уж и я кстати... — говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилыч. — Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить... Другой вкус тогда... Мишка, дай-ка сюда бутылочку.

Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок.

— Пить натощак... — говорит полицейский надзиратель, в нерешимости почесывая затылок. — Впрочем, ежели по одной... Только ты поскорей, Демьян Гаврилыч, нам некогда с твоей водкой!

Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко. Тут, как назло, пройти негде... Человек пять молодцов, с красными, вспотевшими физиономиями, катят из лавки бочонок с маслом.

— Держи вправо!.. Тяни за край.. тяни, тяни! Брусок подложи... а, черт! Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим!

Бочонок застревает в дверях и — ни с места... Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопенье и бранясь на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок наконец выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопенье начинается снова.

— Тьфу! — плюет надзиратель. — Пойдемте к Шибукину. Эти черти до вечера будут пыхтеть.

Шибукинскую лавку санитары находят запертой.

— Да ведь она же была отперта! — удивляются санитары, переглядываясь. — Когда мы к Ошейникову входили, Шибукин стоял на пороге и медный чайник полоскал. Где он? — обращаются они к нищему, стоявшему около запертой лавки.

— Подайте милостыньку, Христа ради, — сипит нищий, — убогому калеке, что̀ милость ваша, господа благодетели... родителям вашим...

Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от думы, Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией.

Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они недаром: один из городовых, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками.

— Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть, — говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренсковый погреб вин и водок». — Подкрепиться бы.

— М-да, не мешает. Зайдемте, если хотите!

Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка.

— Жаль, что закусить нечем, — говорит торговый депутат, выпивая и морщась. — Огурчика дал бы, что ли... Впрочем...

Депутат поворачивается к городовому с лотком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает.

— Ах... тут есть и не очень гнилые! — как бы удивляется надзиратель. — Дай-ка и я себе выберу! Да ты поставь здесь лоток... Какие лучше — мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожить. Аникита Николаич, наливайте! Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. А то живешь-живешь в этой глуши, никакого образования, ни клуба, ни общества — Австралия, да и только! Наливайте, господа! Доктор, яблочек! Самолично для вас очистил!

. . . . . .

— Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? — спрашивает городовой надзирателя, выходящего с компанией из погреба.

— Ло... лоток? Который лоток? П-понимаю! Уничтожь вместе с яблоками... потому — зараза!

— Яблоки вы изволили скушать!

— А-а... очень приятно! Послушш... поди ко мне домой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась... Я только на часок... к Плюнину спать... Понимаешь? Спать... объятия Морфея... Шпрехен зи деич, Иван Андреич.

И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит:

— Так и вся жизнь наша!

. . . . . .

*1884*

## ВИНТ

В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены.

«Неужели они до сих пор с отчетом возятся? — подумал Пересолин. — Четыре их там дурака, и до сих пор еще не кончили! Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покою не даю. Пойду подгоню их...» — Остановись, Гурий!

Пересолин вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта, задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настежь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивых монетчиков... Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт; судя же по всему

тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное... В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звиздулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина.

— Как же это ты ходишь, черт голландский, — рассердился Звиздулин, с остервенением глядя на своего партнера vis-à-vis [1]. — Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев сам-друг, Шепелев с женой да Степка Ерлаков, а ты ходишь с Кофейкина. Вот мы и без двух! А тебе бы, садовая голова, с Поганкина ходить!

— Ну, и что ж тогда б вышло? — окрысился партнер. — Я пошел бы с Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолин на руках.

«Мою фамилию к чему-то приплели... — пожал плечами Пересолин. — Не понимаю!»

Писулин сдал снова, и чиновники продолжали:

— Государственный банк...

— Два — казенная палата...

— Без козыря...

— Ты без козыря?? Гм!.. Губернское правленье — два... Погибать так погибать, шут возьми! Тот раз на народном просвещении без одной остался, сейчас на губернском правлении нарвусь. Плевать!

— Маленький шлем на народном просвещении!

— Не понимаю! — прошептал Пересолин.

— Хожу со статского... Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского.

— Зачем нам титуляшку? Мы и Пересолиным хватим...

— А мы твоего Пересолина по зубам... по зубам... У нас Рыбников есть. Быть вам без трех! Показывайте Пересолиху! Нечего вам ее, каналью, за обшлаг прятать!

«Мою жену затрогали... — подумал Пересолин. — Не понимаю».

И, не желая долее оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам черт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал так, как испугал и

---

[1] напротив *(франц.)*.

удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговори он им гробовым голосом: «Идите за мной, аггелы, в место, уготованное каналъям», и дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина. У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина...

— Хорошо же вы отчет переписываете! — начал Пересолин. — Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться... Что вы сейчас делали?..

— Мы только на минутку, ваше-ство... — прошептал Звиздулин. — Карточки рассматривали... Отдыхали...

Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые с картона и наклееные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых...

— Какая чепуха!.. Как же вы это играете?

— Это не мы, ваше-ство, выдумали... Сохрани бог... Это мы только пример взяли...

— Объясни-ка, Звиздулин! Как вы играли? Я все видел и слышал, как вы меня Рыбниковым били... Ну, чего мнешься? Ведь я тебя не ем? Рассказывай!

Звиздулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять:

— Каждый портрет, ваше-ство, как и каждая карта, свою суть имеет... значение. Как и в колоде, так и здесь пятьдесят две карты и четыре масти... Чиновники казенной палаты — черви, губернское правление — трефы, служащие по министерству народного просвещения — бубны, а пиками будет отделение государственного банка. Ну-с... Действительные статские советники у нас тузы, статские советники — короли, супруги особ четвертого и пятого класса — дамы, коллежские советники — валеты, надворные советники — десятки, и так далее. Я, например, — вот моя карточка, — тройка, так как, будучи губернский секретарь...

— Ишь ты... Я, стало быть, туз?

— Трефовый-с, а ее превосходительство — дама-с...

— Гм! Это оригинально... А ну-ка, давайте сыграем! Посмотрю...

Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась...

Сторож Назар, пришедший в семь часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве. Пересолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил:

— Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я сам-четверт. У Звездулина Рыбников с женой, три учителя гимназии да моя жена, у Недоехова банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с Крышкина ходить! Ты не гляди, что они с казенной палаты ходят! Они себе на уме!

— Я, ваше-ство, пошел с титулярного, потому, думал, что у них действительный.

— Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать! Это не игра! Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай!.. Когда Кулакевич пошел с надворного губернского правления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам-третей с Егор Егорычем... Ты все испортил! Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один робер сыграем!

И, уславши удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру.

*1884*

## МАСКА

В Х-ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад или, как его называли местные барышни, бал-парей.

Было двенадцать часов ночи. Не танцующие интеллигенты без масок — их было пять душ — сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, — «мыслили».

Из общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.

— Здесь, кажется, удобнее будет! — вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. — Валяйте сюда! Сюда, ребята!

Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.

— Сюда! Здесь и прохладнее будет, — сказал мужчина. — Становь поднос на стол... Садитесь, мамзели! Же ву при а ля тримонтран! А вы, господа, подвиньтесь... нечего тут!

Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов.

— Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь; некогда тут с газетами да с политикой... Бросайте!

— Я просил бы вас потише, — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. — Здесь читальня, а не буфет... Здесь не место пить.

— Почему не место? Нешто стол качается или потолок обвалиться может? Чудно! Но... некогда разговаривать! Бросайте газеты... Почитали малость и будет с вас; и так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главнее всего — я не желаю, и все тут.

Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.

— И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков, — начал мужчина с павлиньими перьями, наливая себе ликеру. — А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха!.. Читают! Ну, а о чем там написано? Господин в очках! Про какие факты вы читаете? Ха-ха! Ну, да брось! Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше!

Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те — на него.

— Вы забываетесь, милостивый государь! — вспыхнул он. — Вы обращаете читальню в кабак, вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!..

— А плевать мне, что ты — Жестяков! А газете твоей вот какая честь...

Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.

— Господа, что же это такое? — пробормотал Жестяков обомлев. — Это странно, это... это даже сверхъестественно...

— Они рассердившись, — засмеялся мужчина. — Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные! Шутки в сторону, разговаривать с вами мне не охотно.., Потому, как я желаю

остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не претикословить и выйти... Пожалуйте-с! Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим! Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стало быть и выходи! Живо у меня, а то гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело!

— То есть как же это? — спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. — Я даже не понимаю... Какой-то нахал врывается сюда и... вдруг этакие вещи!

— Какое это такое слово нахал? — крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу, так что на подносе запрыгали стаканы. — Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай подобру-поздорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось! Айда, к свиньям собачьим!

— А вот мы сейчас увидим! — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. — Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!

Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев.

— Прошу вас выйти! — начал он. — Здесь не место пить! Пожалуйте в буфет!

— Ты откуда это выскочил? — спросил мужчина в маске. — Нешто я тебя звал?

— Прошу не тыкать, а извольте выйти!

— Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку... Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не ндравится, ежели здесь есть кто посторонний... Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде.

— Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! — крикнул Жестяков. — Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!

— Евстрат Спиридоныч! — понеслось по клубу. — Где Евстрат Спиридоныч?

Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.

— Прошу вас выйти отсюда! — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами.

— А ведь испугал! — проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. — Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы, как у кота, глаза вытаращил... Хе-хе-хе!

— Прошу не рассуждать! — крикнул изо всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал. — Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!

В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный, как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы благодаря всеобщей сумятице прекратились, и публика повалила из залы к читальне.

Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.

— Пиши, пиши, — говорила маска, тыча пальцем ему под перо. — Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну, что ж? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз... два... три!!.

Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление действительно произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.

В буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, — любовью к просвещению.

— Что ж, уйдете или нет? — спросил Пятигоров после минутного молчания.

Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери.

— Ты же ведь знал, что это Пятигоров! — хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. — Отчего ты молчал?

— Не велели сказывать-с!

— Не велели сказывать... Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать». Вон!!. А вы-то хороши, господа, — обратился он к интеллигентам. — Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа.... Не люблю, ей-богу!

Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе... Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились.

В два часа из читальни вышел Пятигоров; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел.

— Не играйте! — замахали старшины музыкантам.— Тсс!.. Егор Нилыч спит...

— Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? — спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера.

Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.

— Не прикажете ли вас домой проводить, — повторил Белебухин; — или сказать, чтоб экипажик подали?

— А? Ково? Ты... чево тебе?

— Проводить домой-с... Баиньки пора...

— До-домой желаю... Прроводи!

Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу.

— Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант, — весело говорил Жестяков, подсаживая его. — Я буквально поражен, Егор Нилыч! До

сих пор хохочу... Ха-ха... А мы-то кипятимся, хлопочем! Ха-ха! Верите? и в театрах никогда так не смеялся... Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!

Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.

— Мне руку подал на прощанье, — проговорил Жестяков, очень довольный. — Значит, ничего, не сердится...

— Дай-то бог! — вздохнул Евстрат Спиридоныч. — Негодяй, подлый человек, но ведь — благодетель!.. Нельзя!..

*1884*

## УСТРИЦЫ

Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь. Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется набок... По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание.

Попади я в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать на моей доске: Fames [1] — болезнь, которой нет в медицинских учебниках.

Возле меня на тротуаре стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и триковой шапочке, из которой торчит белеющий кусочек ваты. На его ногах большие, тяжелые калоши. Суетный человек, боясь, чтобы люди не увидели, что он носит калоши на босую ногу, натянул на голени старые голенища.

Этот бедный, глуповатый чудак, которого я люблю тем сильнее, чем оборваннее и грязнее делается его летнее франтоватое пальто, пять месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по письменной части. Все пять месяцев он шатался по городу, просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню...

Против нас большой трехэтажный дом с синей вывеской: «Трактир». Голова моя слабо откинута назад и

[1] Голод *(лат.)*.

набок, и я поневоле гляжу вверх, на освещенные окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры. Виден правый бок оркестриона, две олеографии, висячие лампы... Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего, темно-коричневого фона. Я напрягаю зрение и в пятне узнаю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно — не видно...

Полчаса я не отрываю глаз от вывески. Своею белизною она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старания мои тщетны.

Наконец странная болезнь вступает в свои права.

Шум экипажей начинает казаться мне громом, в уличной вони различаю я тысячи запахов, глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои пять чувств напряжены и хватают через норму. Я начинаю видеть то, чего не видел ранее.

— Устрицы... — разбираю я на вывеске.

Странное слово! Прожил я на земле ровно восемь лет и три месяца, но ни разу не слыхал этого слова. Что оно значит? Не есть ли это фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах!

— Папа, что значит устрицы? — спрашиваю я хриплым голосом, силясь повернуть лицо в сторону отца.

Отец мой не слышит. Он всматривается в движения толпы и провожает глазами каждого прохожего... По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то прохожим, но роковое слово тяжелой гирей висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним прохожим он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал «виноват», сконфузился и попятился назад.

— Папа, что значит устрицы? — повторяю я.

— Это такое животное... Живет в море...

Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него приготовляют, конечно, очень вкусную, горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кисловатую селянку с хрящиками, раковый соус, холодное с хреном... Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное,

быстро чистят его, быстро суют в горшок... быстро, быстро, потому что всем есть хочется... ужасно хочется! Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа.

Я чувствую, как этот запах щекочет мое нёбо, ноздри, как он постепенно овладевает всем моим телом... Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава — все пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моем рту лежит кусок морского животного...

Ноги мои гнутся от наслаждения, которое я чувствую, и я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукав и припадаю к его мокрому летнему пальто. Отец дрожит и жмется. Ему холодно...

— Папа, устрицы постные или скоромные? — спрашиваю я.

— Их едят живыми... — говорит отец. — Они в раковинах, как черепахи, но... из двух половинок.

Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает... Теперь я все понимаю!

— Какая гадость, — шепчу я, — какая гадость!

Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, глядит оттуда большими, блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей... Дети все прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его и едят... едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит и старается укусить за губу...

Я морщусь, но... но зачем же зубы мои начинают жевать? Животное мерзко, отвратительно, страшно, но я ем его, ем с жадностью, боясь разгадать его вкус и запах. Одно животное съедено, а я уже вижу блестящие глаза другого, третьего... Я ем и этих... Наконец, ем салфетку, тарелку, калоши отца, белую вывеску... Ем все, что только попадется мне на глаза, потому что я чувствую, что только от еды пройдет моя болезнь. Устрицы страшно глядят глазами и отвратительны, я дрожу от мысли о них, но я хочу есть! Есть!

— Дайте устриц! Дайте мне устриц! — вырывается из моей груди крик, и я протягиваю вперед руки.

— Помогите, господа! — слышу я в это время глухой, придушенный голос отца. — Совестно просить, но — боже мой! — сил не хватает!

— Дайте устриц! — кричу я, теребя отца за фалды.

— А ты разве ешь устриц? Такой маленький! — слышу я возле себя смех.

Перед нами стоят два господина в цилиндрах и со смехом глядят мне в лицо.

— Ты, мальчуган, ешь устриц? В самом деле? Это интересно! Как же ты их ешь?

Помню, чья-то сильная рука тащит меня к освещенному трактиру. Через минуту собирается вокруг толпа и глядит на меня с любопытством и смехом. Я сижу за столом и ем что-то склизкое, соленое, отдающее сыростью и плесенью. Я ем с жадностью, не жуя, не глядя и не осведомляясь, что я ем. Мне кажется, что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клешни и острые зубы...

Я вдруг начинаю жевать что-то твердое. Слышится хрустенье.

— Ха-ха! Он раковины ест! — смеется толпа. — Дурачок, разве это можно есть?

Засим я помню страшную жажду. Я лежу на своей постели и не могу уснуть от изжоги и странного вкуса, который я чувствую в своем горячем рту. Отец мой ходит из угла в угол и жестикулирует руками.

— Я, кажется, простудился, — бормочет он. — Что-то такое чувствую в голове... Словно сидит в ней кто-то... А может быть, это оттого, что я не... тово... не ел сегодня... Я, право, странный какой-то, глупый... Вижу, что эти господа платят за устриц десять рублей, отчего бы мне не подойти и не попросить у них несколько... взаймы? Наверное бы дали.

К утру я засыпаю, и мне снится лягушка с клешнями, сидящая в раковине и играющая глазами. В полдень просыпаюсь от жажды и ищу глазами отца: он все еще ходит и жестикулирует...

*1884*

## СИМУЛЯНТЫ

Генеральша Марфа Петровна Печонкина, или, как ее зовут мужики, Печончиха, десять лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и счеты гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны очень знаменитого и даже великого, и висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением: отречением от зловредной аллопатии и знанием истины. В передней сидят и ждут пациенты, все больше мужики. Все они, кроме двух-трех, босы, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе.

Марфа Петровна приняла уже десять человек и вызывает одиннадцатого:

— Гаврила Груздь!

Дверь отворяется, и вместо Гаврилы Груздя в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено.

— Что вы! Что вы, Кузьма Кузьмич! — ужасается генеральша, вся вспыхивая. — Бога ради!

— Покуда жив буду, не встану! — говорит Замухришин, прижимаясь к ручке. — Пусть весь народ видит мое

коленопреклонение, ангел-хранитель наш, благодетельница рода человеческого! Пусть! Которая благодетельная фея даровала мне жизнь, указала мне путь истинный и просветила мудрование мое скептическое, перед тою согласен стоять не только на коленях, но и в огне, целительница наша чудесная, мать сирых и вдовых! Выздоровел! Воскрес, волшебница!

— Я... я очень рада... — бормочет генеральша, краснея от удовольствия. — Это так приятно слышать... Садитесь, пожалуйста! А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны!

— Да ведь как болен! Вспомнить страшно! — говорит Замухришин, садясь. — Во всех частях и органах ревматизм стоял. Восемь лет мучился, покою себе не знал... Ни днем, ни ночью, благодетельница моя! Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды пил, и чего только я не перепробовал! Состояние свое пролечил, матушка-красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою вовнутрь мне вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать — наука ихняя не дошла... Только деньги любят брать, разбойники, а ежели касательно пользы человечества, то им и горя мало. Пропишет какой-нибудь хиромантии, а ты пей. Душегубцы, одним словом. Если бы не вы, ангел наш, быть бы мне в могиле! Прихожу от вас в тот вторник, гляжу на крупинки, что вы дали тогда, и думаю: «Ну, какой в них толк? Нешто эти песчинки, еле видимые, могут излечить мою громадную застарелую болезнь?» Думаю, маловер, и улыбаюсь, а как принял крупинку — моментально! словно и болен не был или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит: «Да ты ли это, Коля?» — «Я», говорю. И стали мы с ней перед образом на коленки, и давай молиться за ангела нашего: «Пошли ты сей, господи, всего, что мы только чувствуем!»

Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова стать на одно колено, но генеральша останавливает и усаживает его.

— Не меня благодарите! — говорит она, красная от волнения и глядя восторженно на портрет отца Аристарха. — Не меня! Я тут только послушное орудие... Действительно чудеса! Застарелый, восьмилетний ревматизм от одной крупинки скрофулозо!

— Изволили вы дать мне три крупинки. Из них одну принял я в обед — и моментально! Другую вечером, а третью на другой день — и с той поры хоть бы тебе что! Хоть бы кольнуло где! А ведь помирать уже собрался, сыну в Москву написал, чтоб приехал! Умудрил вас господь, целительница! Теперь вот хожу и словно в раю... В тот вторник, когда у вас был, хромал, а теперь хоть за зайцем готов... Хоть еще сто лет жить. Одна только беда — недостатки наши. И здоров, а для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолела пуще болезни... К примеру взять хоть бы такое дело... Теперь время овес сеять, а как его посеешь, ежели семенов нет? Нужно бы купить, а денег... известно, какие у нас деньги...

— Я вам дам овса, Кузьма Кузьмич... Сидите, сидите! Вы так меня порадовали, такое удовольствие мне доставили, что не вы, а я должна вас благодарить!

— Радость вы наша! Создаст же господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела глядючи! А вот нам, грешным, и порадоваться у себя не на что... Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные... мелкота... Одно звание только что дворяне, а в материальном смысле те же мужики, даже хуже... Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому — крыша течет... Не на что тесу купить.

— Я дам вам тесу, Кузьма Кузьмич.

Замухришин выпрашивает еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую намерен везти в институт и... тронутый щедротами генеральши, от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком... Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то красная бумажка и бесшумно падает на пол.

— Во веки веков не забуду... — бормочет он. — И детям закажу помнить и внукам... в род и род... Вот, дети, та, которая спасла меня от гроба, которая...

Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами, полными слез, глядит на отца Аристарха, потом ласкающим, благоговеющим взором обводит аптечку, лечебники, счета, кресло, в котором только что сидел спасенный ею от смерти человек, и взор ее падает на оброненную пациентом бумажку. Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее и видит в ней три крупинки,

те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник Замухришину.

— Это те самые... — недоумевает она. — Даже бумажка та самая... Он и не разворачивал даже! Что же он принимал в таком случае? Странно... Не станет же он меня обманывать!

И в душу генеральши, в первый раз за все десять лет практики, западает сомнение... Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскальзывало мимо ее ушей. Больные, все до единого, словно сговорившись, сначала славословят ее за чудесное исцеление, восхищаются ее медицинскою мудростью, бранят докторов-аллопатов, потом же, когда она становится красной от волнения, приступают к изложению своих нужд. Один просит землицы для запашки, другой дровец, третий позволения охотиться в ее лесах и т. д. Она глядит на широкую, благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину, и новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая...

Лукав человек!

*1885*

## НАЛИМ

Летнее утро. В воздухе тишина; только поскрипывает на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег... Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, барахтается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивняка. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими, китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде...

— Да что ты все рукой тычешь? — кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке. — Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, анафема! Держи, говорю!

— Не уйдет... Куда ему уйтить? Он под корягу забился... — говорит Герасим охрипшим, глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота. — Скользкий, шут, и ухватить не за что.

— Ты за зебры хватай, за зебры!

— Не видать жабров-то... Постой, ухватил за что-то... За губу ухватил... Кусается, шут!

— Не тащи за губу, не тащи — выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почал рукой тыкать!

Да и беспонятный же мужик, прости царица небесная! Хватай!

— «Хватай»... — дразнит Герасим. — Командер какой нашелся... Шел бы да и хватал бы сам, горбатый черт... Чего стоишь?

— Ухватил бы я, коли б можно было... Нешто при моей низкой комплекции можно под берегом стоять? Там глыбоко!

— Ничего, что глыбоко... Ты вплавь...

Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги он погружается с головой и пускает пузыри.

— Говорил же, что глыбоко! — говорит он, сердито вращая белками. — На шею тебе сяду, что ли?

— А ты на корягу стань... Коряг много, словно лестница...

Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее... Совладавши с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рака...

— Тебя еще тут, черта, не видали! — говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака.

Наконец рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного.

— Во-от он!.. — улыбается Любим. — Зда-аровый, шут... Оттопырь-ка пальцы, я его сичас... за зебры... Постой, не толкай локтем... я его сичас... сичас, дай только взяться... Далече, шут, под корягу забился, не за что и ухватиться... Не доберешься до головы... Пузо одно только и слыхать... Убей мне на шее комара — жжет! Я сичас... под зебры его... Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцем!

Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами «под зебры», но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, — бултых в воду! Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги, и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки,

— Утонешь еще, черт, отвечать за тебя придется!.. — хрипит Герасим. — Вылазь, ну тя к лешему! Я сам вытащу!

Начинается ругань... А солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки... Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтаются под ивняком. Хриплый бас и озябший, визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня.

— Тащи его за зебры, тащи! Постой я его выпихну! Да куда суешься-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком — рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, слева, а то вправе колдобина! Угодишь к лешему на ужин! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича... По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

— Потолкай его из-под низу! — слышит он голос Любима. — Просунь палец! Да ты глухой, че-ерт, что ли? Тьфу!

— Кого это вы, братцы? — кричит Ефим.

— Налима! Никак не вытащим! Под корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лезет в портах в воду... Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь.

— Постой, ребятушки! — кричит он. — Постой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умеючи!..

Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте... Горбатый Любим захлебывается, и воздух оглашается резким, судорожным кашлем.

— Где пастух? — слышится с берега крик. — Ефи-им! Пастух! Где ты? Стадо в сад полезло! Гони, гони из саду! Гони! Да где же он, старый разбойник?

Слышатся мужские голоса, затем женский... Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреич в халате из персидской шали и с газетой в руке... Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит к купальне...

— Что здесь? Кто орет? — спрашивает он строго, увидав сквозь ветви ивняка три мокрые головы рыболовов. — Что вы здесь копошитесь?

— Ры... рыбку ловим... — лепечет Ефим, не поднимая головы.

— А вот я тебе задам рыбку! Стадо в сад полезло, а он рыбку!.. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете, а где ваша работа?

— Бу... будет готова... — кряхтит Герасим. — Лето велико, успеешь еще, вашескородие, помыться... Пфррр... Никак вот тут с налимом не управимся... Забрался под корягу и словно в норе: ни туда ни сюда...

— Налим? — спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком. — Так тащите его скорей!

— Ужо дашь полтинничек... Удружим ежели... Здоровенный налим, что твоя купчиха... Стоит, вашескородие, полтинник... за труды... Не мни его, Любим, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человек... как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол! Не болтайте ногами!

Проходит пять минут, десять... Барину становится невтерпеж.

— Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе. — Васька! Позовите ко мне Василия!

Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит.

— Полезай в воду, — приказывает ему барин, — помоги им вытащить налима... Налима не вытащат!

Василий быстро раздевается и лезет в воду.

— Я сичас... — бормочет он. — Где налим? Я сичас... Мы это мигом! А ты бы ушел, Ефим! Нечего тебе тут, старому человеку, не в свое дело мешаться! Который тут налим? Я его сичас... Вот он! Пустите руки!

— Да чего пустите руки? Сами знаем: пустите руки! А ты вытащи!

— Да нешто его так вытащишь? Надо за голову!

— А голова под корягой! Знамо дело, дурак!

— Ну, не лай, а то влетит! Сволочь!

— При господине барине и такие слова... — лепечет Ефим. — Не вытащите вы, братцы! Уж больно ловко он засел туда!

— Погодите, я сейчас... — говорит барин и начинает торопливо раздеваться. — Четыре вас дурака, и налима вытащить не можете!

Раздевшись, Андрей Андреич дает себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему.

— Подрубить корягу надо! — решает наконец Любим. — Герасим, сходи за топором! Топор подайте!

— Пальцев-то себе не отрубите! — говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. — Ефим, пошел вон отсюда! Постойте, я налима вытащу... Вы не тово...

Коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреич, к великому своему удовольствию, чувствует, как его пальцы лезут налиму под жабры.

— Тащу, братцы! Не толпитесь... стойте... тащу!

На поверхности показывается большая налимья голова и за нею черное, аршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться.

— Шалишь... Дудки, брат. Попался? Ага!

По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании.

— Знатный налим! — лепечет Ефим, почесывая под ключицами. — Чай, фунтов десять будет...

— Н-да... — соглашается барин. — Печенка-то так и отдувается. Так и прет ее из нутра. А... ах!

Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск... Все растопыривают руки, но уже поздно; налим — поминай как звали.

*1885*

## ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена...

— Где же он теперь?

— А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну, ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

— Ну?

— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Черт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло...

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Всё не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?

— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух: — Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

— Буланов... Чересседельников... — бормотал он. — Засупонин... Лошадский...

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— Накося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!

*1885*

## ЕГЕРЬ

Знойный и душный полдень. На небе ни облачка... Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей... Лес стоит молча неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то.

По краю сечи, лениво, вразвалку, плетется высокий, узкоплечий мужчина лет сорока, в красной рубахе, латаных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи... Он красен и вспотел. На его красивой, белокурой голове ухарски сидит белый картузик с прямым жокейским козырьком, очевидно подарок какого-нибудь расщедрившегося барича. Через плечо перекинут ягдташ, в котором лежит скомканный петух-тетерев. Мужчина держит в руках двустволку со взведенными курками и щурит глаза на своего старого, тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука... Все живое попряталось от зноя.

— Егор Власыч! — слышит вдруг охотник тихий голос.

Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет тридцати, с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается.

— А, это ты, Пелагея! — говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки. — Гм!.. Как же это ты сюда попала?

— Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими... В работницах, Егор Власыч.

— Тэк... — мычит Егор Власыч и медленно идет дальше. Пелагея за ним. Проходят молча шагов двадцать.

— Давно уж я вас не видала, Егор Власыч... — говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника. — Как заходили вы на Святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали... На Святой на минутку зашли, да и то бог знает как... в пьяном виде... Побранили, побили и ушли... Уж я ждала, ждала... глаза все проглядела, вас поджидаючи... Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы разочек зашли!

— Что ж мне у тебя делать-то?

— Оно, конечно, делать нечего, да так... все-таки ж хозяйство... Поглядеть, как и что... Вы хозяин... Ишь ты, тетерьку подстрелили, Егор Власыч! Да вы бы сели, отдохнули...

Говоря все это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора... От лица ее так и дышит счастьем...

— Посидеть? Пожалуй... — говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя растущими елками. — Что ж ты стоишь? Садись и ты!

Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании.

— Хоть бы разочек зашли, — говорит тихо Пелагея.

— Зачем? — вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб. — Нет никакой надобности. Зайти на час-другой — канитель одна, только тебя взбаламутишь, а постоянно жить в деревне — душа не терпит... Сама знаешь, человек я балованный... Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные... чтоб все степени мне были, а у тебя там на деревне беднота, копоть... Я и дня не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. Сызмалетства во мне это баловство сидит, ничего не поделаешь.

— Таперя вы где живете?

— У барина, Дмитрия Иваныча, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так... из-за удовольствия меня держит.

— Не степенное ваше дело, Егор Власыч... Для людей это баловство, а у вас оно словно как бы и ремесло... занятие настоящее...

— Не понимаешь ты, глупая, — говорит Егор, мечтательно глядя на небо. — Ты отродясь не понимала, и век тебе не понять, что я за человек... По-твоему, я шальной, заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части... А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я, окромя ружья и собак, никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадники, то прощай соха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.

— Я понимаю, Егор Власыч.

— Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься...

— Я... я не плачу... — говорит Пелагея, отворачиваясь. — Грех, Егор Власыч! Хоть бы денек со мной, несчастной, пожили. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла, а... а промеж нас ни разу любови не было!.. Я... я не плачу...

— Любови... — бормочет Егор, почесывая руку. — Никакой любови не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, а нешто это так и есть? Я для тебя дикий человек есть, ты для меня простая баба, непонимающая. Нешто мы пара? Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О себе я так понимаю, что я по охотницкой части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь... Где же тут пара?

— Да ведь венчаны, Егор Власыч! — всхлипывает Пелагея.

— Не волей венчаны... Нешто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари... и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил... Егеря на скотнице! Ты видала, что я пьяный, зачем выходила? Не крепостная ведь, могла супротив пойти! Оно, конечно, скотнице счастье за егеря выйтить, да ведь надо рассуждение иметь. Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Графу смешки, а ты плачь... бейся об стену...

Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом.

— Чем живешь? — спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею.

— Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают.

— Тэк...

Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. Жарко петь...

— Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили, — говорит Пелагея.

Егор молчит.

— Стало быть, она вам по сердцу...

— Счастье уж твое такое, судьба! — говорит охотник, потягиваясь. — Терпи, сирота. Но, одначе, прощай, заболтался... К вечеру мне в Болтово поспеть нужно...

Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея встает.

— А когда же в деревню придете? — спрашивает она тихо.

— Незачем. Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный... Прощай!

— Прощайте, Егор Власыч...

Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед... Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежную поступь, и глаза ее наполняются грустью и нежной лаской... Взгляд ее бегает по тощей, высокой фигуре мужа и ласкает, нежит

его... Он словно чувствует этот взгляд, останавливается и оглядывается... Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам Пелагее видно, что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и глядит на него умоляющими глазами.

— На тебе! — говорит он, отворачиваясь.

Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит.

— Прощайте, Егор Власыч! — говорит она, машинально принимая рубль.

Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, дороге... Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк, шаги не видимы, собаку не отличишь от сапог. Виден только один картузик, но... вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу, и картузик исчезает в зелени.

— Прощайте, Егор Власыч! — шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидать белый картузик.

*1885*

## ЗЛОУМЫШЛЕННИК

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядинной рубахе и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесаных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на сто сорок первой версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

— Так ли все это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

— Кто это — мы?

— Мы, народ... Климовские мужики то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Отродясь не врал, а тут вру... — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру... — усмехается Денис. — Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.

— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

— А то что же? Не в бабки ж играть!

— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...

— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить... И тяжелая и дыра есть.

— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с!

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогды, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

— Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. — Теперь понятно, почему...

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

— С каким Митрофаном?

— С Митрофаном Петровым... Нешто не слыхали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять...

— Послушай... Тысяча восемьдесят первая статья Уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

— Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится... Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму... Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина непременного члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то..,

— Молчи!

— Я и так молчу... — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев...

— Ты мне мешаешь... Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его!

— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести...

*1885*

## УНТЕР ПРИШИБЕЕВ

— Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю — стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...

— Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, — разве это ваше дело народ разгонять?

— Не его! Не его! — слышатся голоса из разных углов камеры. — Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

— Именно так, вашескородие! — говорит свидетель староста. — Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, поло-

жим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

— Погодите, вы еще успеете дать показание, — говорит мировой, — а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

— Слушаю-с! — хрипит унтер. — Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы. Взять хоть это дело к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» — Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». — Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, — нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут,

говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. — А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? — обращается унтер к уряднику Жигину.

— Сказывал.

— Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слыхали, как ты это самое... Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что̀ ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Поди, говорю, сюда, кавалер», — и всё ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну, да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело... ежели беспорядок...

— Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

— Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

— Но поймите, что это не ваше дело!

— Чего-с? Как же это не мое? Чуднò-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

— Что у вас записано?

— Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

— «Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова вдова живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров».

— Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками. — По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но, выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!

*1885*

## НА ЧУЖБИНЕ

Воскресный полдень. Помещик Камышев сидит у себя в столовой за роскошно сервированным столом и медленно завтракает. С ним разделяет трапезу чистенький, гладко выбритый старик французик, m-r[1] Шампунь. Этот Шампунь был когда-то у Камышева гувернером, учил его детей манерам, хорошему произношению и танцам, потом же, когда дети Камышева выросли и стали поручиками, Шампунь остался чем-то вроде бонны мужского пола. Обязанности бывшего гувернера не сложны. Он должен прилично одеваться, пахнуть духами, выслушивать праздную болтовню Камышева, есть, пить, спать — и больше, кажется, ничего. За это он получает стол, комнату и неопределенное жалованье.

Камышев ест и, по обыкновению, празднословит.

— Смерть! — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей. — Уф! В голову и во все суставы ударило. А вот от вашей французской горчицы не будет этого, хоть всю банку съешь.

— Кто любит французскую, а кто русскую... — кротко заявляет Шампунь.

— Никто не любит французской, разве только одни французы. А французу что ни подай — все съест: и лягушку, и крысу, и тараканов... брр! Вот, например, эта ветчина не нравится, потому что она русская, а подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете есть и причмокивать... По-вашему, все русское скверно.

— Я этого не говорю.

---

[1] monsieur — господин, сударь *(франц.)*.

— Все русское скверно, а французское — о, сэ трэ жоли![1] По-вашему, лучше и страны нет, как Франция, а по-моему... ну, что такое Франция, говоря по совести? Кусочек земли! Пошли туда нашего исправника, так он через месяц же перевода запросит: повернуться негде! Вашу Францию всю в один день объездить можно, а у нас выйдешь за ворота — конца краю не видно! Едешь, едешь...

— Да, monsieur, Россия громадная страна.

— То-то вот и есть! По-вашему, лучше французов и людей нет. Ученый, умный народ! Цивилизация! Согласен, французы все ученые, манерные... это верно... Француз никогда не позволит себе невежества: вовремя даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но... нет того духу! Духу того в нем нет! Я не могу только вам объяснить, но, как бы это выразиться, во французе не хватает чего-то такого, этакого (говорящий шевелит пальцами)... чего-то такого... юридического. Я помню, читал где-то, что у вас у всех ум приобретенный, из книг, а у нас ум врожденный. Если русского обучить как следует наукам, то никакой ваш профессор не сравняется.

— Может быть... — как бы нехотя говорит Шампунь.

— Нет, не может быть, а верно! Нечего морщиться, правду говорю! Русский ум — изобретательный ум! Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать он не умеет... Изобретет что-нибудь и поломает или же детишкам отдаст поиграть, а ваш француз изобретет какую-нибудь чепуху и на весь свет кричит. Намедни кучер Иона сделал из дерева человечка: дернешь этого человечка за ниточку, а он и сделает непристойность. Однако же Иона не хвастает. Вообще... не нравятся мне французы! Я про вас не говорю, а вообще... Безнравственный народ! Наружностью словно как бы и на людей походят, а живут как собаки... Взять хоть, например, брак. У нас коли женился, так прилепись к жене и никаких разговоров, а у вас черт знает что. Муж целый день в кафе сидит, а жена напустит полный дом французов и давай с ними канканировать.

— Это неправда! — не выдерживает Шампунь вспыхивая. — Во Франции семейный принцип стоит очень высоко!

---

[1] это очень мило! (от *франц.* c'est très joli!).

— Знаем мы этот принцип! А вам стыдно защищать. Надо беспристрастно: свиньи, так и есть свиньи... Спасибо немцам за то, что побили... Ей-богу, спасибо. Дай бог им здоровья...

— В таком случае, monsieur, я не понимаю, — говорит француз, вскакивая и сверкая глазами, — если вы ненавидите французов, то зачем вы меня держите?

— Куда же мне вас девать?

— Отпустите меня, и я уеду во Францию!

— Что-о-о? Да нешто вас пустят теперь во Францию? Ведь вы изменник своему отечеству! То у вас Наполеон великий человек, то Гамбетта... сам черт вас не разберет!

— Monsieur, — говорит по-французски Шампунь, брызжа и комкая в руках салфетку. — Выше оскорбления, которое вы нанесли сейчас моему чувству, не мог бы придумать и враг мой! Все кончено!!

И сделав рукой трагический жест, француз манерно бросает на стол салфетку и с достоинством выходит.

Часа через три на столе переменяется сервировка и прислуга подает обед. Камышев садится за обед один. После предобеденной рюмки у него является жажда празднословия. Поболтать хочется, а слушателя нет...

— Что делает Альфонс Людовикович? — спрашивает он лакея.

— Чемодан укладывают-с.

— Экая дуррында, прости господи!.. — говорит Камышев и идет к французу.

Шампунь сидит у себя на полу среди комнаты и дрожащими руками укладывает в чемодан белье, флаконы из-под духов, молитвенники, помочи, галстуки... Вся его приличная фигура, чемодан, кровать и стол так и дышат изяществом и женственностью. Из его больших голубых глаз капают в чемодан крупные слезы.

— Куда же это вы? — спрашивает Камышев, постояв немного.

Француз молчит.

— Уезжать хотите? — продолжает Камышев. — Что ж, как знаете... Не смею удерживать... Только вот что странно: как это вы без паспорта поедете? Удивляюсь! Вы знаете, я ведь потерял ваш паспорт. Сунул его куда-то между бумаг, он и потерялся... А у нас насчет

паспортов строго. Не успеете и пяти верст проехать, как вас сцарапают.

Шампунь поднимает голову и недоверчиво глядит на Камышева.

— Да... Вот увидите! Заметят по лицу, что вы без паспорта, и сейчас: кто таков? Альфонс Шампунь! Знаем мы этих Альфонсов Шампуней! А не угодно ли вам по этапу в не столь отдаленные!

— Вы это шутите?

— С какой стати мне шутить! Очень мне нужно! Только смотрите, условие: не извольте потом хныкать и письма писать. И пальцем не пошевельну, когда вас мимо в кандалах проведут!

Шампунь вскакивает и, бледный, широкоглазый, начинает шагать по комнате.

— Что вы со мной делаете?! — говорит он, в отчаянии хватая себя за голову. — Боже мой! О, будь проклят тот час, когда мне пришла в голову пагубная мысль оставить отечество!

— Ну, ну, ну... я пошутил! — говорит Камышев, понизив тон. — Чудак какой, шуток не понимает! Слова сказать нельзя!

— Дорогой мой! — взвизгивает Шампунь, успокоенный тоном Камышева. — Клянусь вам, я привязан к России, к вам и к вашим детям... Оставить вас для меня так же тяжело, как умереть! Но каждое ваше слово режет мне сердце!

— Ах, чудак! Если я французов ругаю, так вам-то с какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаем, так всем и обижаться? Чудак, право! Берите пример вот с Лазаря Исакича, арендатора... Я его и так, и этак, и жидом, и пархом, и свинячье ухо из полы делаю, и за пейсы хватаю... не обижается же!

— Но то ведь раб! Из-за копейки он готов на всякую низость!

— Ну, ну, ну... будет! Пойдем обедать! Мир и согласие!

Шампунь пудрит свое заплаканное лицо и идет с Камышевым в столовую. Первое блюдо съедается молча, после второго начинается та же история, и таким образом страдания Шампуня не имеют конца.

*1885*

## СОННАЯ ОДУРЬ

В зале окружного суда идет заседание. На скамье подсудимых господин средних лет с испитым лицом, обвиняемый в растрате и подлогах. Тощий, узкогрудый секретарь читает тихим тенорком обвинительный акт. Он не признает ни точек, ни запятых, и его монотонное чтение похоже на жужжание пчел или журчанье ручейка. Под такое чтение хорошо мечтать, вспоминать, спать... Судьи, присяжные и публика нахохлились от скуки... Тишина. Изредка только донесутся чьи-нибудь мерные шаги из судейского коридора или осторожно кашлянет в кулак зевающий присяжный...

Защитник подпер свою кудрявую голову кулаком и тихо дремлет. Под влиянием жужжания секретаря мысли его потеряли всякий порядок и бродят.

«Какой, однако, длинный нос у этого судебного пристава, — думает он, моргая отяжелевшими веками. — Нужно же было природе так изгадить умное лицо! Если бы у людей были носы подлиннее, этак сажени две-три, то, пожалуй, было бы тесно жить и пришлось бы делать дома попросторнее...»

Защитник встряхивает головой, как лошадь, которую укусила муха, и продолжает думать:

«Что-то теперь у меня дома делается? В эту пору обыкновенно все бывают дома: и жена, и теща, и дети... Детишки Колька и Зинка, наверное, теперь в моем кабинете... Колька стоит на кресле, уперся грудью о край стола и рисует что-нибудь на моих бумагах. Нарисовал уже лошадь с острой мордой и с точкой вместо глаза, человека с протянутой рукой, кривой домик; а Зина стоит тут же, около стола, вытягивает шею и старается увидеть, что нарисовал ее брат...

— Нарисуй папу! — просит она.

Колька принимается за меня. Человечек у него уже есть, остается только пририсовать черную бороду — и папа готов. Потом Колька начинает искать в Своде законов картинок, а Зина хозяйничает на столе. Попалась на глаза сонетка — звонят; видят чернильницу — нужно палец обмакнуть; если ящик в столе не заперт, то это значит, что нужно порыться в нем. В конце концов обоих осеняет мысль, что оба они индейцы и что под моим столом они могут отлично прятаться от врагов. Оба лезут под стол, кричат, визжат и возятся там до тех пор, пока со стола не падает лампа или вазочка... Ох! А в гостиной теперь, наверное, солидно прогуливается мамка с третьим произведением... Произведение ревет, ревет... без конца ревет!»

— «По текущим счетам Копелова, — жужжит секретарь, — Ачкасова, Зимаковского и Чикиной проценты выданы не были, сумма же тысяча четыреста двадцать пять рублей сорок одна копейка была приписана к остатку тысяча восемьсот восемьдесят третьего года...»

«А может быть, у нас уже обедают! — плывут мысли у защитника. — За столом сидят теща, жена Надя, брат жены Вася, дети... У тещи, по обыкновению, на лице тупая озабоченность и выражение достоинства. Надя, худая, уже блекнущая, но все еще с идеально белой, прозрачной кожицей на лице, сидит за столом с таким выражением, будто ее заставили насильно сидеть; она ничего не ест и делает вид, что больна. По лицу у нее, как у тещи, разлита озабоченность. Еще бы! У нее на руках дети, кухня, белье мужа, гости, моль в шубах, прием гостей, игра на пианино! Как много обязанностей и как мало работы! Надя и ее мать не делают решительно ничего. Если от скуки польют цветы или побранятся с кухаркой, то потом два дня стонут от утомления и говорят о каторге... Брат жены, Вася, тихо жует и угрюмо молчит, так как получил сегодня по латинскому языку единицу. Малый тихий, услужливый, признательный, но изнашивает такую массу сапог, брюк и книг, что просто беда... Детишки, конечно, капризничают. Требуют уксусу и перцу, жалуются друг на друга, то и дело роняют ложки. Даже при воспоминании голова кружится!

Жена и теща зорко блюдут хороший тон... Храни бог положить локоть на стол, взять нож во весь кулак, или есть с ножа, или, подавая кушанье, подойти справа, а не слева. Все кушанья, даже ветчина с горошком, пахнут пудрой и монпансье. Все не вкусно, приторно, мизерно... Нет и тени добрых щей и каши, которые я ел, когда был холостяком. Теща и жена все время говорят по-французски, но когда речь заходит обо мне, то теща начинает говорить по-русски, ибо такой бесчувственный, бессердечный, бесстыдный, грубый человек, как я, недостоин, чтобы о нем говорили на нежном французском языке...

— Бедный Мишель, вероятно, проголодался, — говорит жена. — Выпил утром стакан чаю без хлеба, так и побежал в суд...

— Не беспокойся, матушка! — злорадствует теща. — Такой не проголодается! Небось уж пять раз в буфет бегал. Устроили себе в суде буфет и каждые пять минут просят у председателя, нельзя ли перерыв сделать.

После обеда теща и жена толкуют о сокращении расходов... Считают, записывают и находят в конце концов, что расходы безобразно велики. Приглашается кухарка, начинают считать с ней вместе, попрекают ее, поднимается брань из-за пятака... Слезы, ядовитые слова... Потом уборка комнат, перестановка мебели — и все от нечего делать».

— «Коллежский асессор Черепков показал, — жужжит секретарь, — что хотя ему и была прислана квитанция номер восемьсот одиннадцать, но тем не менее следуемые ему сорок шесть рублей две копейки он не получал, о чем и заявил тогда же...»

«Как подумаешь, да рассудишь, да взвесишь все обстоятельства, — продолжает думать защитник, — и, право, махнешь на все рукой и все пошлешь к черту... Как истомишься, ошалеешь, угоришь за весь день в этом чаду скуки и пошлости, то поневоле захочешь дать своей душе хоть одну светлую минуту отдыха. Заберешься к Наташе или, когда деньги есть, к цыганам — и все забудешь... честное слово, все забудешь! Черт его знает где, далеко за городом, в отдельном кабинете, развалишься на софе, азиаты поют, скачут, галдят, и чувствуешь, как всю душу твою переворачивает голос

этой обаятельной, этой страшной, бешеной цыганки Глаши... Глаша! Милая, славная, чудесная Глаша! Что за зубы, глаза... спина!»

А секретарь жужжит, жужжит, жужжит... В глазах защитника начинает все сливаться и прыгать. Судьи и присяжные уходят в самих себя, публика рябит, потолок то опускается, то поднимается... Мысли тоже прыгают и наконец обрываются... Надя, теща, длинный нос судебного пристава, подсудимый, Глаша — все это прыгает, вертится и уходит далеко, далеко, далеко...

— Хорошо... — тихо шепчет защитник, засыпая. — Хорошо... Лежишь на софе, а кругом уютно... тепло... Глаша поет...

— Господин защитник! — раздается резкий оклик.

«Хорошо... тепло... Нет ни тещи, ни кормилицы... ни супа, от которого пахнет пудрой... Глаша добрая, хорошая...»

— Господин защитник! — раздается тот же резкий голос.

Защитник вздрагивает и открывает глаза. Прямо, в упор на него глядят черные глаза цыганки Глаши, улыбаются сочные губы, сияет смуглое, красивое лицо. Ошеломленный, еще не совсем проснувшийся, полагая, что это сон или привидение, он медленно поднимается и, разинув рот, смотрит на цыганку.

— Господин защитник, не желаете ли спросить что-нибудь у свидетельницы? — спрашивает председатель.

— Ах... да! Это свидетельница... Нет, не... не желаю. Ничего не имею.

Защитник встряхивает головой и окончательно просыпается. Теперь ему понятно, что это в самом деле стоит цыганка Глаша, что она вызвана сюда в качестве свидетельницы.

— Впрочем, виноват, я имею кое-что спросить, — говорит он громко. — Свидетельница, — обращается он к Глаше, — вы служите в цыганском хоре Кузьмичова, скажите, как часто в вашем ресторане кутил обвиняемый? Так-с... А не помните ли, сам ли он за себя платил всякий раз, или же случалось, что и другие платили за него? Благодарю вас... достаточно.

Он выпивает два стакана воды, и сонная одурь проходит совсем...

*1885*

## ГОРЕ

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справится казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба, или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

— Ты, Матрена, не плачь... — бормочет он. — Потерпи малость. В больницу, бог даст, приедем, и мигом у тебя, это самое... Даст тебе Павел Иваныч капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово... оттянет от бока. Павел Иваныч постарается... Покричит, ногами потопочет, а уж постарается... Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья...

Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? — закричит. — Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, черт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:

— «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед богом... вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели господь... матерь божия... прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть... Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось раз пять в кабак заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иваныч прикажет тебя в больницу снесть. А я в ноги... «Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иваныч взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» — «Истинно, пороть, Павел Иваныч, побей меня бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово... вот как перед богом... плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные... все для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой

портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница...» Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза запорошило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке, начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иваныч порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

— Ты же, Матрена, тово... — бормочет он. — Ежели Павел Иваныч спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу... стараюсь. А метет-то, метет! Господи, твоя воля! Привел бы только бог с дороги не сбиться... Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытяну-

лось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

— Ну, и дура! — бормочет токарь. — Я тебе по совести, как перед богом... а ты, тово... Ну, и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Иванычу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

— Померла, стало быть. Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете все быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

— А ведь она по миру ходила! — вспоминает он. — Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то небось думает, что я и взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же к лешему я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится все хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руку токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.

«Жить бы сызнова...» — думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы —

хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

— Куда же я еду? — спохватывается вдруг токарь. — Хоронить надо, а я в больницу... Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцой. Токарь раз за разом хлещет ее по спине... Сзади слышится какой-то стук, и он хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух все темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче...

«Сызнова бы жить... — думает токарь. — Инструмент бы новый завесть, заказы брать... деньги бы старухе отдавать... да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют...

«Все равно... — думает он, — сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь... Покеда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места... И он безмятежно засыпает.

Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

— Панихидку бы, братцы, по старухе! — говорит он. — Батюшке бы сказать...

— Ну, ладно, ладно! Лежи уж! — обрывает его чей-то голос.

— Батюшка! Павел Иваныч! — удивляется токарь, видя перед собой доктора. — Вашескородие! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

— Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?

— Прощайся с руками и ногами... Отморозил! Ну, ну... чего же ты плачешь? Пожил, и слава богу! Небось шесть десятков прожил — будет с тебя!

— Горе!.. Вашескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть...

— Зачем?

— Лошадь-то чужая, отдать надо... Старуху хоронить... И как на этом свете все скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иваныч! Портсигарчик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу...

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю — аминь!

*1885*

## ШИЛО В МЕШКЕ

На обывательской тройке, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спешил Петр Павлович Посудин в уездный городишко N., куда вызывало его полученное им анонимное письмо.

«Накрыть... Как снег на голову... — мечтал он, пряча лицо свое в воротник. — Натворили мерзостей, пакостники, и торжествуют, небось воображают, как концы в воду спрятали... Ха-ха... Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» То-то переполох будет! Ха-ха...»

Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек, алчущий популярности, он прежде всего спросил о себе самом:

— А Посудина ты знаешь?

— Как не знать! — ухмыльнулся возница. — Знаем мы его!

— Что же ты смеешься?

— Чудное дело! Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб Посудина не знать! На то он здесь и поставлен, чтоб его все знали.

— Это так... Ну, что? Как он, по-твоему? Хорош?

— Ничего... — зевнул возница. — Господин хороший, знает свое дело... Двух годов еще нет, как его сюда прислали, а уж наделал делов.

— Что же он такое особенное сделал?

— Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Хохрюкова в нашем уезде

увольнил... Конца краю не было этому Хохрюкову... Шельма был, выжига, все прежние его руку держали, а приехал Посудин — и загудел Хохрюков к черту, словно его и не было... Во, брат! Посудина, брат, не подкупишь, не-ет! Дай ты ему хоть сто, хоть тыщу, а он не станет тебе приймать грех на душу... Не-ет!

«Слава богу, хоть с этой стороны меня поняли, — подумал Посудин ликуя. — Это хорошо».

— Образованный господин... — продолжал возница, — не гордый... Наши ездили к нему жалиться, так он словно с господами: всех за ручку, «вы садитесь...» Горячий такой, быстрый... Слова тебе путем не скажет, а все — фырк! фырк! Чтоб он тебе шагом ходил или как — ни боже мой, а норовит все бегом, все бегом! Наши ему и слова сказать не успели, как он: «Лошадей!!» — да прямо сюда... Приехал и все обделал... ни копейки не взял. Куда лучше прежнего! Конечно, и прежний хорош был. Видный такой, важный, звончее его во всей губернии никто не кричал... Бывало, едет, так за десять верст слыхать; но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее! У нынешнего в голове этой самой мозги во сто раз больше... Одно только горе... Всем хорош человек, но одна беда: пьяница!

«Вот так клюква!» — подумал Посудин.

— Откуда же ты знаешь, — спросил он, — что я... что он пьяница?

— Оно, конечно, ваше благородие, сам я не видал его пьяного, не стану врать, но люди сказывали. И люди-то его пьяным не видали, а слава такая про него ходит... При публике или куда в гости пойдет, на бал это или в обчество, — никогда не пьет. Дома хлещет... Встанет утром, протрет глаза и первым делом — водки! Камердин принесет ему стакан, а он уж другого просит... Так цельный день и глушит. И скажи ты на милость: пьет, и ни в одном глазе! Стало быть, соблюдать себя может. Бывало, как наш Хохрюков запьет, так не то что люди, даже собаки воют. Посудин же — хоть бы тебе нос у него покраснел! Запрется у себя в кабинете и лакает... Чтоб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил, с трубочкой. Всегда в этом ящике водка... Нагнешься к трубочке, пососешь, и пьян... В карете тоже, в портфеле...

«Откуда они знают? — ужаснулся Посудин. — Боже мой, даже это известно! Какая мерзость...»

— А вот тоже насчет женского пола... Шельма! (Возница засмеялся и покрутил головой.) Безобразие, да и только! Штук десять у него этих самых... вертефлюх... Две у него в доме живут... Одна у него, эта Настасья Ивановна, как бы заместо распорядительши, другая — как ее, черт? Людмила Семеновна, на манер писарши... Главнее всех Настасья. Эта что захочет, он все делает... Так и вертит им, словно лиса хвостом. Большая власть ей дадена. И его так не боятся, как ее... Ха-ха... А третья вертуха на Качальной улице живет... Срамота!

«Даже по именам знает, — подумал Посудин краснея. — И кто же знает? Мужик, ямщик... который и в городе-то никогда не бывал!.. Какая мерзость... гадость... пошлость!»

— Откуда же ты все это знаешь? — спросил он раздраженным голосом.

— Люди сказывали... Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать нешто трудно? Камердину или кучеру языка не отрежешь... Да, чай, и сама Настасья ходит по всем переулкам да счастьем своим бабьим похваляется. От людского глаза не скроешься... Вот тоже взял манеру этот Посудин потихоньку на следствия ездить... Прежний, бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать, а когда едет, так шуму этого, грому, звону и... не приведи создатель! И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту, выспится, наестся, напьется и давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку, потопочет ногами, опять выспится и тем же порядком назад... А нынешний, как прослышит что, норовит съездить потихоньку, быстро, чтоб никто не видал и не знал... Па-а-теха! Выйдет неприметно из дому, чтоб чиновники не видали, и на машину... Доедет до какой ему нужно станции и не то что почтовых или что поблагородней, а норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтобы голоса его не узнали. Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают. Едет, дурень, и думает, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человеку — тьфу! раз плюнуть...

— Как же его узнают?

— Оченно просто. Прежде, как наш Хохрюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Ежели седок бьет по зубам, то это, значит, и есть Хохрюков. А Посудина сразу увидать можно... Простой пассажир просто себя и держит, а Посудин не таковский, чтоб простоту соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию, и начнет!.. Ему и воняет, и душно, и холодно... Ему и цыплят подавай, и фрухтов, и вареньев всяких... Так на станциях и знають: ежели кто зимой спрашивает цыплят и фрухтов, то это и есть Посудин. Ежели кто говорит смотрителю «милейший мой» и гоняет народ за разными пустяками, то и божиться можно, что это Посудин. И пахнет от него не так, как от людей, и ложится спать на свой манер... Ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами и велит около подушки три свечки поставить. Лежит и бумаги читает... Уж тут не то что смотритель, но и кошка разберет, что это за человек такой...

«Правда, правда... — подумал Посудин. — И как я этого раньше не знал!»

— А кому есть надобность, то и без фрухтов и без цыплят узнает. По телеграфу все известно... Как там ни кутай рыла, как ни прячься, а уж тут знают, что едешь. Ждут... Посудин еще у себя из дому не выходил, а тут уж — сделай одолжение, все готово! Приедет он, чтоб их на месте накрыть, под суд отдать или сменить кого, а они над ним же и посмеются. Хоть ты, скажут, ваше сиятельство, и потихоньку приехал, а гляди: у нас все чисто!.. Он повертится, повертится да с тем и уедет, с чем приехал... Да еще похвалит, руки пожмет им всем, извинения за беспокойство попросит... Вот как! А ты думал как? Хо-хо, ваше благородие! Народ тут ловкий, ловкач на ловкаче!.. Глядеть любо, что за черти! Да вот хоть нынешний случай взять... Еду я сегодня утром порожнем, а навстречу со станции летит жид-буфетчик. «Куда, спрашиваю, ваше жидовское благородие, едешь?» А он и говорит: «В город N. вино и закуску везу. Там нынче Посудина ждут». Ловко? Посудин, может, еще только собирается ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уж едет и думает, что знать

никто не знает, что он едет, а уж для него, скажи, пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная... А? Едет он и думает: «Крышка вам, ребята!» — а ребятам и горя мало! Пущай едет! У них давно уж все спрятано!

— Назад! — прохрипел Посудин. — Поезжай назад, ссскотина!

И удивленный возница повернул назад.

*1885*

## ДЕТВОРА

Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать; но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрышки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка — копейка. Условие: если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафья Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить, а старший брат Вася, ученик V класса, лежит в гостиной на диване и скучает.

Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький, девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам

партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему сидеть спокойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка шести лет, с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках, играет в лото ради процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать — и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него не похитили его стеклышек и копеек. Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черномазый болезненный мальчик, в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию: сколько на этом свете разных цифр и как это они не перепутаются!

Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семь у игроков называется кочергой, одиннадцать — палочками, семьдесят семь — Семен Семенычем, девяносто — дедушкой и т. д. Игра идет бойко.

— Тридцать два! — кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. — Семнадцать! Кочерга! Двадцать восемь — сено косим!

Аня видит, что Андрей прозевал двадцать восемь. В другое время она указала бы ему на это, теперь же, когда на блюдечке вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует.

— Двадцать три! — продолжает Гриша. — Семен Семеныч! Девять!

— Прусак, прусак! — вскрикивает Соня, указывая на прусака, бегущего через стол. — Ай!

— Не бей его, — говорит басом Алеша. — У него, может быть, есть дети...

Соня провожает глазами прусака и думает о его детях: какие это, должно быть, маленькие прусачата!

— Сорок три! Один! — продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны. — Шесть!

— Партия! У меня партия! — кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча.

У партнеров вытягиваются физиономии.

— Проверить! — говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню.

На правах большого и самого умного Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Соню, и к величайшему сожалению ее партнеров оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия.

— А что я вчера видела! — говорит Аня как бы про себя. — Филипп Филиппыч заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа.

— Я тоже видел, — говорит Гриша. — Восемь! А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать семь!

Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит:

— И я умею ушами шевелить...

— А ну-ка, пошевели!

Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех.

— Нехороший человек этот Филипп Филиппыч, — вздыхает Соня. —Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке... И мне стало так неприлично!

— Партия! — вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. — У меня партия! Проверяйте, если хотите!

Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет.

— Мне, значит, уж больше нельзя играть, — шепчет он.

— Почему?

— Потому что... потому что у меня больше денег нет.

— Без денег нельзя! — говорит Гриша.

Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусанного карандашика, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет...

— Я за тебя поставлю! — говорит Соня, не вынося его мученического взгляда. — Только смотри, отдашь после.

Деньги взносятся, и игра продолжается.

— Кажется, где-то звонят, — говорит Аня, делая большие глаза.

Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы.

— Это послышалось.

— Ночью только на кладбище звонят... — говорит Андрей.

— А зачем там звонят?

— Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся.

— А для чего разбойникам в церковь забираться? — спрашивает Соня.

— Известно для чего: сторожей поубивать!

Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей.

— Он смошенничал, — басит ни с того ни с сего Алеша.

— Врешь, я не смошенничал!

Андрей бледнеет, кривит рот и — хлоп Алешу по голове! Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, — хлоп Андрея по щеке! Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив: недоразумение было!

В столовую входит Вася, ученик V класса. Вид у него заспанный, разочарованный.

«Это возмутительно! — думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки. — Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать. Возмутительно!»

Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоседиться к ним и попытать счастья.

— Погодите, и я сяду играть, — говорит он.

— Ставь копейку!

— Сейчас, — говорит он, роясь в карманах. — У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль.

— Нет, нет, нет... копейку ставь!

— Дураки вы. Ведь рубль во всяком случае дороже копейки, — объясняет гимназист. — Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст.

— Нет, пожалуйста! Уходи!

Ученик V класса пожимает плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочи. В кухне не оказывается ни копейки.

— В таком случае разменяй мне, — пристает он к Грише, придя из кухни. — Я тебе промен заплачу. Не хочешь? Ну, продай мне за рубль десять копеек.

Гриша подозрительно косится на Васю: не подвох ли это какой-нибудь, не жульничество ли?

— Не хочу, — говорит он, держась за карман.

Вася начинает выходить из себя, бранится, называя игроков болванами и чугунными мозгами.

— Вася, да я за тебя поставлю! — говорит Соня. — Садись.

Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа.

— Копейку уронил! — заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом. — Постойте!

Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стукаются головами, но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках.

Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру.

— Соня спит! — заявляет Алеша.

Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку.

— Поди на мамину постель ложись! — говорит Аня, уводя ее из столовой. — Иди!

Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же кстати заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи!

*1886*

## ТОСКА

Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона. — Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы. — Куда черти несут? Пррава держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

— А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай... — говорит седок. — Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый

снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач. — Троих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак — для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. — Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

— Гы-ы... гы-ы... — хохочет Иона. — Какая есть...

— Ну, ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит... — говорит один из длинных. — Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачем врать! — сердится другой длинный. — Врет, как скотина.

— Накажи меня бог, правда...

— Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона. — Ве-еселые господа!

— Тьфу, чтоб тебя черти!.. — возмущается горбач. — Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе... тово... сын помер!

— Все помрем... — вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. — Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

— А ты его легонечко подбодри... в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

— Гы-ы... — смеется он. — Веселые господа... дай бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена — сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он вы-

прямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему невмоготу.

«Ко двору, — думает он. — Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что́ говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь... Небось выспишься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. — Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я

ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат, кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей всё...

*1886*

## ПЕРЕПОЛОХ

Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Кушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак.

Сверху доносился шум.

«Вероятно, с хозяйкой припадок... — подумала Машенька, — или с мужем поссорилась...»

В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен. Его передергивало... Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул:

— О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!

Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки... Очевидно, появление гувернантки было для нее

неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала:

— Pardon, я... я нечаянно рассыпала... зацепила рукавом...

И сказав еще что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха... Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель — все носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но к чему он, зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который все еще продолжался, заплаканную горничную; не имело ли все это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем.

В комнату вошла горничная.

— Лиза, вы не знаете, зачем это меня... обыскивали? — спросила у нее гувернантка.

— У барыни пропала брошка в две тысячи... — сказала Лиза.

— Да, но зачем же меня обыскивать?

— Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали... Нас раздевали всех догола и обыскивали... А я, барышня, вот как перед богом... Не то, чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.

— Но... зачем же меня обыскивать? — продолжала недоумевать гувернантка.

— Брошку, говорю, украли... Барыня сама своими руками все обшарила. Даже швейцара Михайлу сами

обыскивали. Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли! Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.

— Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно! — сказала Машенька, задыхаясь от негодования. — Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?

— В чужих людях живете, барышня, — вздохнула Лиза. — Хоть вы и барышня, а все же... как бы прислуга... Это не то, что у папаши с мамашей жить...

Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над нею не совершали такого насилия, никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь... Ее, благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх: что теперь будет?! В голову ее полезли всякие несообразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.

«Побегу ко всем судьям и защитникам... — думала Машенька дрожа. — Я объясню им, присягну... Они поверят, что я не могу быть воровкой!»

Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого — от страха, стыда, от обиды — началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.

— Пожалуйте кушать! — позвали Машеньку.

«Идти или нет?»

Машенька поправила прическу, утерлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать... За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, серьезным лицом, за другим — Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.

Разговор начала сама хозяйка.

— Что у нас к третьему блюду? — спросила она у лакея томным, страдальческим голосом.

— Эстуржон а ля рюсс![1] — ответил лакей.

— Это, Феня, я заказал... — поторопился сказать Николай Сергеич. — Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, ma chère[2], то пусть не подают. Я ведь это так... между прочим...

Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами.

— Ну, перестанем волноваться, — сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь так же сладко. — Мы и без того достаточно нервны. Забудем о броши! Здоровье дороже двух тысяч!

— Мне не жалко двух тысяч! — ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке. — Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня — это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту...

Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.

— Pardon, — пробормотала она. — Я не могу. Голова болит. Уйду.

И она встала из-за стола, неловко, гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла.

---

[1] Стерлядь по-русски! (от *франц.* esturgeon á la russe!)
[2] моя дорогая *(франц.)*.

— Бог знает что! — проговорил Николай Сергеич морщась. — Нужно было делать у нее обыск! Как это, право... некстати.

— Я не говорю, что она взяла брошку, — сказала Федосья Васильевна, — но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым бедняжкам.

— Право, Феня, некстати... Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.

— Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка, вот и все. И я найду эту брошку! — Она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули. — А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела!

Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.

Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ею в лицо этой самодурке. Если бы бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню. О, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить с шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала!

Но все это мечты, в действительности же оставалось только одно — поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что, кажется, все на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

— Можно войти? — спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно и говорил тихим, мягким голосом. — Можно?

— Войдите.

Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло, и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

— Это что же? — спросил он, указывая на корзину.

— Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу долее оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск!

— Я понимаю... Только вы это напрасно... Зачем? Обыскали, а вы того... что вам от этого? Вас не убудет от этого.

Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал заискивающим голосом:

— Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго...

Машенька молчала.

— Если уж вы так оскорблены, — продолжал Николай Сергеич, — то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.

— Гм... Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены... Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин...

Николай Сергеич прошелся, вздохнул и продолжал:

— Вам надо еще, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под сердцем... Вам надо, чтобы меня совесть мучила...

— Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты, — сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. — Зачем же вам мучиться?

— Конечно... Но вы все-таки того... не уезжайте... Прошу вас.

Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.

— Для меня подобные недоразумения — это чистая пытка, — проговорил он. — Что же, мне на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже пред смертью на духу не признаюсь?

Машенька молчала.

— Я взял у жены брошку! — быстро сказал Николай Сергеич. — Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я... взял... Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность... Ради бога, никому ни слова, ни полнамека!

Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеичем, она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.

— И удивляться нечего... — продолжал Николай Сергеич, помолчав немного. — Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она... не дает. Ведь этот дом и все это мой отец наживал, Марья Андреевна! Все ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и... все мое! А она забрала, завладела всем... Не судиться же мне с ней, согласитесь... Прошу вас убедительно, извините и... и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner[1]. Остаетесь?

— Нет! — сказала Машенька решительно, начиная дрожать. — Оставьте меня, умоляю вас.

— Ну, бог с вами, — вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана. — Я, признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел... Так, стало быть, не остаетесь? Я понимаю... Иначе и быть не должно... Да, конечно... Вам-то хорошо, а вот мне так — тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины прохвосты... управляющие, агрономы, черт бы

---

[1] Все понять, все простить *(франц.)*.

их взял. Закладывают, перезакладывают... Рыбы не ловить, травы не топтать, деревьев не ломать.

— Николай Сергеич! — послышался из залы голос Федосьи Васильевны. — Агния, позови барина!

— Так не остаетесь? — спросил Николай Сергеич, быстро поднимаясь и идя к двери. — А то бы остались, ей-богу. Вечерком я заходил бы к вам... толковали бы. А? Останьтесь! Уйдете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!

Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.

Через полчаса она была уже в дороге.

*1886*

## ПАНИХИДА

В церкви Одигитриевской божией матери, что в селе Верхних Запрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валит из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреич, верхнезапрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства: смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом. На нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки навыпуск и солидные калоши, те самые громадные, неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно-убежденных.

Его заплывшие, ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дьячка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего ктитору просфору... Все это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев... Несколько, впрочем, странно и необыденно только одно: у северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавший облачения, и сердито мигает своими густыми бровями.

«Кому это он мигает, дай бог ему здоровья? — думает лавочник. — А, и пальцем закивал! И ногой

топнул, скажи на милость... Что за оказия, мать царица? Кому это он?»

Андрей Андреич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек десять, да и те стоят спиной к алтарю.

— Иди же, когда зовут! Что стоишь, как изваяние? — слышит он сердитый голос отца Григория. — Тебя зовут!

Лавочник глядит на красное, разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что миганье бровей и киванье пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю.

— Андрей Андреич, это ты подавал на проскомидию за упокой Марии? — спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное вспотевшее лицо.

— Точно так.

— Так, стало быть, ты это написал? Ты?

И отец Григорий сердито тычет к глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреичем на проскомидию вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами написано:

«За упокой рабы божией блудницы Марии».

— Точно так... я-с написал... — отвечает лавочник.

— Как же ты смел написать это? — протяжно шепчет батюшка, и в его сиплом шепоте слышатся гнев и испуг.

Лавочник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается: отродясь еще отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами! Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавочника так велико, что жирное лицо его расползается во все стороны, как пролитое тесто.

— Как ты смел? — повторяет батюшка.

— Ко... кого-с? — недоумевает Андрей Андреич.

— Ты не понимаешь?! — шепчет отец Григорий, в изумлении делая шаг назад и всплескивая руками. — Что же у тебя на плечах: голова или другой какой предмет? Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно! Что глаза пучишь? Нешто не знаешь, какой смысл имеет это слово?

— Это вы касательно блудницы-с? — бормочет лавочник, краснея и мигая глазами. — Но ведь господь, по благости своей, тово... это самое, простил блудницу... место ей уготовал, да и из жития преподобной Марии Египетской видать, в каких смыслах это самое слово, извините...

Лавочник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом.

— Вот как ты понимаешь! — всплескивает руками отец Григорий. — Но ведь господь простил — понимаешь? — простил, а ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь, да еще кого! Усопшую дочь родную! Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь! Повторяю тебе, Андрей: мудрствовать не нужно! Да, мудрствовать, брат, не нужно! Коли дал тебе бог испытующий разум и ежели ты не можешь управлять им, то лучше уж не вникай... Не вникай и молчи!

— Но ведь она тово... извините, актерка была! — выговаривает ошеломленный Андрей Андреич.

— Актерка! Да кто бы она ни была, ты все после ее смерти забыть должен, а не то что на записках писать!

— Это точно... — соглашается лавочник.

— Наложить бы на тебя эпитимию, — басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреича, — так перестал бы умствовать! Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали... Филозоф!

— Оно, конечно... действительно... — бормочет лавочник, — слово не подходящее, но я не для осуждения, отец Григорий, а хотел по-божественному... чтоб вам видней было, за кого молить. Пишут же в поминальницах названия разные, вроде там младенца Иоанна, утопленницы Пелагеи, Егора воина, убиенного Павла и прочее разное... Так и я желал.

— Неразумно, Андрей! Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли по примеру прочих. Положи десять поклонов и ступай.

— Слушаю, — говорит лавочник, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства. — Десять поклонов?

Очень хорошо-с, понимаю. А теперь, батюшка, дозвольте к вам с просьбой... Потому, как я все-таки отец ей... сами знаете, а она мне, какая там ни на есть, все-таки дочь, то я тово... извините, собираюсь просить вас сегодня отслужить панихиду. И вас дозвольте просить, отец дьякон!

— Вот это хорошо! — говорит отец Григорий, разоблачаясь. — За это хвалю. Можно одобрить... Ну, ступай! Мы сейчас выйдем.

Андрей Андреич солидно шагает от алтаря и красный, с торжественно-панихидным выражением лица останавливается посреди церкви. Сторож Матвей ставит перед ним столик с коливом, и немного погодя панихида начинается.

В церкви тишина. Слышен только металлический звук кадила да протяжное пение... Возле Андрея Андреича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукий Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо, неприятным глухим басом, но напев и слова так печальны, что лавочник мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою Машутку... Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрудских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов-лакеев, в белом теле, около барышень. Господа от нечего делать выучили ее читать, писать, танцевать, он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка разве, случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворот или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. О, и тогда еще он слыл за знатока уставов и священного писания! Девочка, как ни хмуро и ни солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним зевая, но зато, когда он, заикаясь и стараясь выражаться пофигуристее, начинал рассказывать ей истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исава, казнь Содома и бедствия маленького мальчика Иосифа за-

ставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза.

Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву...

За три года до своей смерти она приезжала к отцу. Он едва узнал ее. Это была молодая стройная женщина, с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса!» Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не глядя друг на друга, они прожили недели две, до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца пойти погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было гулять среди бела дня, на глазах всего честного народа с дочкой актрисой, но он уступил ее просьбам...

— Какие чудные у вас места! — восхищалась она гуляя. — Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!

И она заплакала.

«Эти места только место занимают... — думал Андрей Андреич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. — От них корысти, как от козла молока».

А она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать...

Андрей Андреич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтоб заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься...

— Помяни, господи, — бормочет он, — усопшую рабу твою блудницу Марию и прости ей вольная и невольная...

Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого: что прочно засело в сознании, того, знать, не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь! Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух, сухорукий Митька о чем-то задумался...

— «...идеже несть болезни, печалей и воздыхания...» — гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку.

Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.

*1886*

## ШУТОЧКА

Ясный зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

— Съедемте вниз, Надежда Петровна! — умоляю я. — Один только раз! Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

— Умоляю вас! — говорю я. — Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра

нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу... Вот-вот еще мгновение, и кажется, — мы погибнем!

— Я люблю вас, Надя! — говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит... Я помогаю ей подняться.

— Ни за что в другой раз не поеду, — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость...

— Знаете что? — говорит она, не глядя на меня.

— Что? — спрашиваю я.

— Давайте еще раз... прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже

муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:

«В чем же дело? Кто произнес *те* слова? Он, или мне только послышалось?»

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

— Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я.

— А мне... мне нравится это катанье, — говорит она краснея. — Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

— Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает... Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

«Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!»

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н.» И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

— Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое: я и ветер... Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить — все равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит

Наденька, как ищет глазами меня... Затем она робко идет вверх по лесенке... Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет, точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила наконец попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места... «Жжжж»... жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю... Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать...

Но вот наступает весенний месяц март... Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург — надолго, должно быть навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями... Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо... Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо... Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза... И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться...

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали или она сама вышла — это все равно — за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни...

А мне теперь, когда я стал старше, уже не понятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил...

*1886*

## АГАФЬЯ

В бытность мою в С — м уезде мне часто приходилось бывать на Дубовских огородах у огородника Саввы Стукача, или попросту Савки. Эти огороды были моим излюбленным местом для так называемой «генеральной» рыбной ловли, когда, уходя из дому, не знаешь дня и часа, в которые вернешься, забираешь с собой все до одной рыболовные снасти и запасаешься провизией. Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как безмятежное шатанье, еда не вовремя, беседа с Савкой и продолжительные очные ставки с тихими летними ночами. Савка был парень лет двадцати пяти, рослый, красивый, здоровый, как кремень. Слыл он за человека рассудительного и толкового, был грамотен, водку пил редко, но как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой в его крепких, как веревка, мышцах разливалась тяжелая, непобедимая лень. Жил он, как и все, на деревне, в собственной избе, пользовался наделом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная: утром не знал, что будет есть в полдень. Не то чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери, а просто так, не чувствовалось охоты к труду и не сознавалась польза его... От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью к житью зря, спустя рукава. Когда же молодое здоровое тело Савки физиологически потягивало к мышечной работе, то парень ненадолго весь отдавался какой-

нибудь свободной, но вздорной профессии вроде точения ни к чему не нужных колышков или беганья с бабами на перегонку. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность. Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку. Двигался же по вдохновению, и то только когда представлялся случай сделать какое-нибудь быстрое, порывистое движение: ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собою разумеется, что при такой скупости на движения Савка был гол как сокол и жил хуже всякого бобыля. С течением времени должна была накопиться недоимка, и он, здоровый и молодой, был послан миром на стариковское место, в сторожа и пугало общественных огородов. Как ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре.

Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной, затасканной полости почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Подложив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки — Кутька, а не дальше, как сажени на две от Кутьки, земля обрывалась в крутой берег речки. Лежа, я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозняка, теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголья пеплом.

Направо от огорода, тихо пошептывая и изредка вздрагивая от невзначай налетавшего ветра, темнела ольховая роща, налево тянулось необозримое поле. Там, где глаз не мог уж отличить в потемках поле от неба, ярко мерцал огонек. Поодаль от меня сидел Савка. Поджав под себя по-турецки ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на Кутьку. Наши крючки

с живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не утомлявшийся и вечно отдыхавший Савка. Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уж охватывала своей нежащей, усыпляющей лаской природу.

Все замирало в первом, глубоком сне, лишь какая-то неизвестная мне ночная птица протяжно и лениво произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу: «Ты Ни-ки-ту видел?» — и тотчас же отвечала сама себе: «Видел! видел! видел!»

— Отчего это нынче соловьи не поют? — спросил я Савку.

Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были крупны, но ясны, выразительны и мягки, как у женщины. Затем он взглянул своими кроткими, задумчивыми глазами на рощу, на лозняк, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запискал соловьихой. И тотчас же, точно в ответ на его писканье, на противоположном берегу задергал коростель.

— Вот вам и соловей... — усмехнулся Савка. — Дерг-дерг! Дерг-дерг! Словно за крючок дергает, а ведь небось тоже думает, что поет.

— Мне нравится эта птица... — сказал я. — Ты знаешь? Во время перелета коростель не летит, а по земле бежит. Перелетает только через реки и моря, а то все пешком.

— Ишь ты, собака... — пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего коростеля.

Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказал ему все, что знал о коростеле из охотничьих книг. С коростеля я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и все время улыбался от удовольствия.

— А какой край для птиц роднее? — спросил он. — Наш или тамошний?

— Конечно, наш. Тут птица и сама родится и детей выводит, здесь у нее родина, а туда она летит только затем, чтобы не замерзнуть.

— Любопытно! — потянулся Савка. — Про что ни говори, все любопытно. Птица таперя, человек ли... камешек ли этот взять — во всем своя умственность!.. Эх, кабы знатье, барин, что вы придете, не велел бы

я нынче бабе сюда приходить... Просилась одна нынче придтить...

— Ах, сделай милость, я мешать не стану! — сказал я. — Я могу и в роще лечь...

— Ну, вот еще! Не умерла б, коли завтра пришла... Ежели б она села тут да разговоры слушала, а то ведь только слюни распустит. При ней не поговоришь толком.

— Ты Дарью ждешь? — спросил я, помолчав.

— Нет... Нынче новая просилась... Агафья Стрельчиха...

Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом, точно говорил о табаке или каше, я же привскочил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал... Это была совсем еще молодая бабенка, лет девятнадцати — двадцати, не далее как год тому назад вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, а муж ходил ночевать к ней с линии каждую ночь.

— Плохим, брат, кончатся все эти твои бабьи истории! — вздохнул я.

— А пусть...

И, немного подумав, Савка прибавил:

— Я говорил бабам, не слушаются... Им, дурам, и горя мало!

Наступило молчание... Потемки между тем все более сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугром совсем уже потухла, а звезды становились все ярче, лучистее... Меланхолически-однообразная трескотня кузнечиков, дерганье коростеля и крик перепела не нарушали ночной тишины, а, напротив, придавали ей еще бо́льшую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба...

Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной Кутьки на меня и сказал:

— Вам, барин, я вижу, скучно. Давайте ужинать.

И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист; потом он пополз назад и поставил передо мною мою водку и черепенную чашку. В чашке были печеные яйца, ржаные лепешки

на сале, куски черного хлеба и еще что-то... Мы выпили из кривого, не умевшего стоять стаканчика, и принялись за еду... Серая крупная соль, грязные сальные лепешки, упругие, как резина, яйца, но зато как все это вкусно!

— Живешь бобылем, а сколько у тебя добра всякого, — сказал я, указывая на чашку. — Где ты его берешь?

— Бабы носят... — промычал Савка.

— За что же это они тебе носят?

— Так... из жалости...

Не одно только меню, но и одежда Савки носила на себе следы женской «жалости». Так, в этот вечер я заметил на нем новый гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку, на которой висел на грязной шее медный крестик. Я знал о слабости прекрасного пола к Савке и знал, как он неохотно говорил о ней, а потому не продолжал своего допроса. Да и к тому же не время было говорить... Кутька, которая терлась около нас и терпеливо ожидала подачки, вдруг наострила уши и заворчала. Послышался отдаленный, прерывистый плеск воды.

— Кто-то бродом идет... — сказал Савка.

Минуты через три Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель.

— Цыц! — крикнул на нее хозяин.

В потемках глухо зазвучали робкие шаги, и из рощи показался силуэт женщины. Я узнал ее, несмотря даже на то, что было темно, — это была Агафья Стрельчиха. Она несмело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Запыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всяким при переходе в ночное время через брод. Увидев возле шалаша вместо одного двоих, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад.

— А... это ты! — произнес Савка, запихивая в рот лепешку.

— Я... я-с, — забормотала она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня. — Кланялся вам Яков и велел передать... вот тут что-то такое...

— Ну, что врать: Яков! — усмехнулся Савка. — Нечего врать, барин знает, зачем ты пришла! Садись, гостьей будешь.

Агафья покосилась на меня и нерешительно села.

— А уж я думал, что ты не придешь нынче... — сказал Савка после продолжительного молчания. — Что ж сидеть? Ешь! Или нешто дать тебе водочки выпить?

— Выдумал! — проговорила Агафья. — Пьяницу какую нашел...

— А ты выпей... Жарче на душе станет... Ну!

Савка подал Агафье кривой стаканчик. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула.

— Принесла что-то... — продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу снисходительно шутливый оттенок. — Баба без того не может, чтоб чего не принесть. А, пирог и картошка... Хорошо живут! — вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом. — Во всей деревне только у них еще и осталась с зимы картошка!

Впотьмах я не видел лица Агафьи, но по движению ее плеч и головы мне казалось, что она не отрывала глаз с лица Савки. Чтобы не быть третьим лицом на свидании, я решил пойти гулять и поднялся. Но в это время в роще неожиданно соловей взял две нижние контральтовые ноты. Через полминуты он пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался.

— Это вчерашний! — сказал он. — Постой же!..

И, сорвавшись с места, он бесшумно побежал к роще.

— Ну, на что он тебе сдался? — крикнул я ему вслед. — Оставь!

Савка махнул рукой — не кричите, мол, — и исчез в потемках. Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником и рыболовом, но и тут его таланты тратились так же попусту, как и сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотничью страсть отдавал пустым фокусам. Так, соловьев ловил он непременно руками, стрелял бекасинником щук или стоит, бывало, у реки по целым часам и изо всех сил старается поймать большим крючком маленькую рыбку.

Оставшись со мной, Агафья кашлянула и провела несколько раз по лбу ладонью... От выпитой водки она уж начинала пьянеть.

— Как живешь, Агаша? — спросил я ее после продолжительного молчания, когда уж неловко было молчать.

— Слава богу... Вы же никому не рассказывайте, барин... — прибавила она вдруг шепотом.

— Ну, полно, — успокоил я ее. — Какая же ты все-таки бесстрашная, Агаша... А если узнает Яков?

— Не узнает...

— Ну, а вдруг!

— Нет... Я раньше его дома буду. Он теперь на линии и воротится, когда почтовый поезд проводит, а отсюда слышно, когда поезд идет...

Агафья еще раз провела рукой по лбу и посмотрела в ту сторону, куда ушел Савка. Соловей пел. Какая-то ночная птица низко пролетела над самой землей и, заметя нас, вздрогнула, зашуршала крыльями и полетела на ту сторону реки.

Скоро соловей умолк, но Савка не возвращался. Агафья встала, беспокойно сделала несколько шагов и опять села.

— Да что же это он? — не выдержала она. — Ведь поезд не завтра придет! Мне сейчас уходить нужно!

— Савка! — крикнул я. — Савка!

Мне не ответило даже эхо. Агафья беспокойно задвигалась и опять встала.

— Мне уходить пора! — проговорила она волнующимся голосом. — Сейчас поезд придет! Я знаю, когда поезды ходят!

Бедная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, как послышался далекий шум.

Агафья остановила долгий взгляд на роще и нетерпеливо зашевелила руками.

— Ну, где же он? — заговорила она, нервно смеясь. — Куда же это его унесла нелегкая? Я уйду! Ей-богу, барин, уйду!

Между тем шум становился все явственней. Можно уж было отличить стук колес от тяжелых вздохов локомотива. Вот послышался свист, поезд глухо простучал по мосту... еще минута, и все стихло.

— Погожу еще минутку... — вздохнула Агафья, решительно садясь. — Так и быть, погожу!

Наконец в потемках показался Савка. Он бесшумно ступал босыми ногами по рыхлой, огородной земле и что-то тихо мурлыкал.

— Ведь вот счастье, скажи на милость! — весело засмеялся он. — Только что, это самое, значит, подошел

к кусту и только что стал рукой целиться, а он и замолчал! Ах ты, пес лысый! Ждал, ждал, покеда опять запоет, да так и плюнул...

Савка неуклюже повалился на землю около Агафьи и, чтобы сохранить равновесие, ухватился обеими руками за ее талию.

— А ты что насупилась, словно тетка тебя родила? — спросил он.

При всем своем мягкосердечии и простодушии Савка презирал женщин. Он обходился с ними небрежно, свысока и даже унижался до презрительного смеха над их чувством к его же собственной особе. Бог знает, быть может, это небрежное, презрительное обращение и было одной из причин его сильного, неотразимого обаяния на деревенских дульциней. Он был красив и строен, в глазах его всегда, даже при взгляде на презираемых им женщин, светилась тихая ласковость, но одними внешними качествами не объяснишь этого обаяния. Кроме счастливой наружности и своеобразной манеры обращения, надо думать, имела влияние на женщин также еще и трогательная роль Савки, как всеми признанного неудачника и несчастного изгнанника из родной избы в огороды.

— А расскажи-ка барину, зачем ты сюда пришла! — продолжал Савка, все еще держа Агафью за талию. — Ну-ка, расскажи, мужнина жена! Хо-хо!.. Нешто нам, брат Агаша, еще водочки выпить?

Я поднялся и, пробираясь между грядами, пошел вдоль огорода. Темные гряды глядели, как большие приплюснутые могилы. От них веяло запахом вскопанной земли и нежной сыростью растений, начавших покрываться росой... Налево все еще светился красный огонек. Он приветливо моргал и, казалось, улыбался.

Я услышал счастливый смех. То смеялась Агафья.

«А поезд? — вспомнил я. — Поезд давно уже пришел».

Подождав немного, я вернулся к шалашу. Савка сидел неподвижно по-турецки и тихо, чуть слышно, мурлыкал какую-то песню, состоящую из одних только односложных слов, что-то вроде: «Фу-ты, ну-ты... я да ты...» Агафья, опьяненная водкой, презрительной лаской Савки и духотою ночи, лежала возле него на земле

и судорожно прижималась лицом к его колену. Она так далеко ушла в чувство, что и не заметила моего прихода.

— Агаша, а ведь поезд давно уж пришел! — сказал я.

— Пора, пора тебе, — подхватил мою мысль Савка, встряхивая головой. — Что разлеглась тут? Ты, бесстыжая!

Агафья встрепенулась, отняла голову от его колена, взглянула на меня и опять припала к нему.

— Давно уж пора! — сказал я.

Агафья заворочалась и привстала на одно колено... Она страдала... Полминуты вся ее фигура, насколько я мог разглядеть сквозь потемки, выражала борьбу и колебание. Было мгновение, когда она, будто очнувшись, вытянула корпус, чтобы подняться на ноги, но тут какая-то непобедимая и неумолимая сила толкнула ее по всему телу, и она припала к Савке.

— А ну его! — сказала она с диким грудным смехом, и в этом смехе слышалась безрассудная решимость, бессилие, боль.

Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла, — ничего не поймалось... Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел... Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив...

— А-га-фья!.. — донесся из деревни чей-то глухой голос. — Агафья!

То вернувшийся и встревоженный муж искал по деревне свою жену. А с огородов слышался в это время несдерживаемый смех: жена забылась, опьянела и счастием нескольких часов старалась наверстать ожидавшую ее назавтра муку.

Я уснул...

Когда я проснулся, около меня сидел Савка и слегка тряс мое плечо. Река, роща, оба берега, зеленые и умытые, деревья и поле — все было залито ярким утренним светом. Сквозь тонкие стволы деревьев били в мою спину лучи только что взошедшего солнца.

— Так-то вы рыбу ловите? — усмехнулся Савка. — Ну, вставайте!

Я встал, сладко потянулся, и проснувшаяся грудь моя начала жадно пить влажный, душистый воздух.

— Агаша ушла? — спросил я.

— Вон она, — указал мне Савка в сторону, где был брод.

Я взглянул и увидел Агафью. Приподняв платье, растрепанная, со сползшим с головы платком, она переходила реку. Ноги ее ступали еле-еле...

— Знает кошка, чье мясо съела! — бормотал Савка, щуря на нее глаза. — Идет и хвост поджала... Шкодливы эти бабы, как кошки, трусливы — как зайцы... Не ушла, дура, вчера, когда говорили ей! Теперь ей достанется, да и меня в волости... опять за баб драть будут...

Агафья ступила на берег и пошла по полю к деревне. Сначала она шагала довольно смело, но скоро волнение и страх взяли свое: она пугливо обернулась, остановилась и перевела дух.

— То-то, что страшно! — грустно усмехнулся Савка, глядя на ярко-зеленую полосу, которая тянулась по росистой траве вслед за Агафьей. — Не хочется идти! Муж-то уж целый час стоит и поджидает... Видали его?

Савка сказал последние слова улыбаясь, а у меня похолодело под сердцем. В деревне, около крайней избы, на дороге, стоял Яков и в упор глядел на возвращающуюся к нему жену. Он не шевелился и был неподвижен, как столб. Что он думал, глядя на нее? Какие слова готовил для встречи? Агафья постояла немного, еще раз оглянулась, точно ожидая от нас помощи, и пошла. Никогда я еще не видал такой походки ни у пьяных, ни у трезвых. Агафью будто корчило от взгляда мужа. Она шла то зигзагами, то топталась на одном месте, подгибая колени и разводя руками, то пятилась назад. Пройдя шагов сто, она оглянулась еще раз и села.

— Ты бы хоть за куст спрятался... — сказал я Савке. — Неравно тебя муж увидит...

— Он и без того знает, от кого это Агашка идет... На огород по ночам бабы не за капустой ходят — всем известно.

Я взглянул на лицо Савки. Оно было бледно и морщилось брезгливою жалостью, какая бывает у людей, когда они видят мучимых животных.

— Кошке смех, мышке слезы... — вздохнул он.

Агафья вдруг вскочила, мотнула головой и смелой походкой направилась к мужу. Она, видимо, собралась с силами и решилась.

*1886*

## КОШМАР

Непременный член по крестьянским делам присутствия Кунин, молодой человек лет тридцати, вернувшись из Петербурга в свое Борисово, послал первым делом верхового в Синьково за тамошним священником, отцом Яковом Смирновым.

Часов через пять отец Яков явился.

— Очень рад познакомиться! — встретил его в передней Кунин. — Уж год, как живу и служу здесь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просим! Но однако... какой вы молодой! — удивился Кунин. — Сколько вам лет?

— Двадцать восемь-с... — проговорил отец Яков, слáбо пожимая протянутую руку и, неизвестно отчего, краснея.

Кунин ввел гостя к себе в кабинет и принялся его рассматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо!» — подумал он.

Действительно, в лице отца Якова было очень много «бабьего»: вздернутый нос, ярко-красные щеки и большие, серо-голубые глаза с жидкими, едва заметными бровями. Длинные рыжие волосы, сухие и гладкие, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться в настоящие, мужские усы, а бородка принадлежала к тому сорту никуда негодных бород, который у семинаристов почему-то называется «скоктанием»: реденькая, сильно просвечивающая; погладить и почесать ее гребнем нельзя, можно разве только пощипать... Вся эта скудная

растительность сидела неравномерно, кустиками, словно отец Яков, вздумав загримироваться священником и начав приклеивать бороду, был прерван на половине дела. На нем была ряска цвета жидкого цикорного кофе с большими латками на обоих локтях.

«Странный субъект... — подумал Кунин, глядя на его полы, обрызганные грязью. — Приходит в дом первый раз и не может поприличней одеться».

— Садитесь, батюшка, — начал он более развязно, чем приветливо, придвигая к столу кресло. — Садитесь же, прошу вас!

Отец Яков кашлянул в кулак, неловко опустился на край кресла и положил ладони на колени. Малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице, он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и в сидении на краешке ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство.

— Я, батюшка, пригласил вас по делу... — начал Кунин, откидываясь на спинку кресла. — На мою долю выпала приятная обязанность помочь вам в одном вашем полезном предприятии... Дело в том, что, вернувшись из Петербурга, я нашел у себя на столе письмо от предводителя. Егор Дмитриевич предлагает мне взять под свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у вас в Синькове. Я, батюшка, очень рад, всей душой... Даже больше: я с восторгом принимаю это предложение!

Кунин поднялся и заходил по кабинету.

— Конечно, и Егору Дмитриевичу и, вероятно, вам известно, что большими средствами я не располагаю. Имение мое заложено, и живу я исключительно только на жалованье непременного члена. Стало быть, на большую помощь вы рассчитывать не можете, но что в моих силах, то я все сделаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

— Когда будут деньги... — ответил отец Яков.

— Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

— Почти никакими-с... Мужики постановили на сходе платить ежегодно по тридцати копеек с каждой

мужской души, но ведь это только обещание! А на первое обзаведение нужно по крайней мере рублей двести...

— М-да... К сожалению, у меня теперь нет этой суммы... — вздохнул Кунин. — В поездке я весь истратился и... задолжал даже. Давайте общими силами придумаем что-нибудь.

Кунин стал вслух придумывать. Он высказывал свои соображения и следил за лицом отца Якова, ища на нем одобрения или согласия. Но лицо это было бесстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кроме застенчивой робости и беспокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунин говорил о таких мудреных вещах, которых отец Яков не понимал, слушал только из деликатности и притом боялся, чтобы его не уличили в непонимании.

«Малый, как видно, не из очень умных... — думал Кунин. — Не в меру робок и глуповат».

Несколько оживился и даже улыбнулся отец Яков только тогда, когда в кабинет вошел лакей и внес на подносе два стакана чаю и сухарницу с кренделькими. Он взял свой стакан и тотчас же принялся пить.

— Не написать ли нам преосвященному? — продолжал соображать вслух Кунин. — Ведь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшие духовные власти подняли вопрос о церковно-приходских школах. Они должны, по-настоящему, и средства указать. Мне помнится, я читал, что на этот счет даже была ассигнована сумма какая-то. Вам ничего неизвестно?

Отец Яков так погрузился в чаепитие, что не сразу ответил на этот вопрос. Он поднял на Кунина свои серо-голубые глаза, подумал и, точно вспомнив его вопрос, отрицательно мотнул головой. По некрасивому лицу его от уха до уха разливалось выражение удовольствия и самого обыденного, прозаического аппетита. Он пил и смаковал каждый глоток. Выпив все до последней капли, он поставил свой стакан на стол, потом взял назад этот стакан, оглядел его дно и опять поставил. Выражение удовольствия сползло с лица... Далее Кунин видел, как его гость взял из сухарницы один кренделек, откусил от него кусочек, потом повертел в руках и быстро сунул его себе в карман.

«Ну, уж это совсем не по-иерейски! — подумал Кунин, брезгливо пожимая плечами. — Что это, поповская жадность или ребячество?»

Дав гостю выпить еще один стакан чаю и проводив его до передней, Кунин лег на софу и весь отдался неприятному чувству, навеянному на него посещением отца Якова.

«Какой странный, дикий человек! — думал он. — Грязен, неряха, груб, глуп и, наверное, пьяница... Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа! Воображаю, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обедней: «Благослови, владыко!» Хорош владыко! Владыко, не имеющий ни капли достоинства, невоспитанный, прячущий сухари в карманы, как школьник... Фи! Господи, в каком месте были глаза у архиерея, когда он посвящал этого человека? За кого они народ считают, если дают ему таких учителей? Тут нужны люди, которые...»

И Кунин задумался о том, кого должны изображать из себя русские священники...

«Будь, например, я попом... Образованный и любящий свое дело поп много может сделать... У меня давно бы уже была открыта школа. А проповедь? Если поп искренен и вдохновлен любовью к своему делу, то какие чудные, зажигательные проповеди он может говорить!»

Кунин закрыл глаза и стал мысленно слагать проповедь. Немного погодя он сидел за столом и быстро записывал.

«Дам тому рыжему, пусть прочтет в церкви...» — думал он.

В ближайшее воскресенье, утром, Кунин ехал в Синьково покончить с вопросом о школе и кстати познакомиться с церковью, прихожанином которой он считался. Несмотря на распутицу, утро было великолепное. Солнце ярко светило и резало своими лучами кое-где белевшие пласты залежавшегося снега. Снег на прощанье с землей переливал такими алмазами, что больно было глядеть, а около него спешила зеленеть молодая озимь. Грачи солидно носились над землей. Летит грач, опустится к земле и, прежде чем стать прочно на ноги, несколько раз подпрыгнет...

Деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветха и сера; колонки у паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на две некрасивые оглобли. Образ над дверью глядел сплошным темным пятном. Но эта бедность тронула и умилила Кунина. Скромно опустив глаза, он вошел в церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, в дугу согнувшийся дьячок глухим, неразборчивым тенором читал часы. Отец Яков, служивший без дьякона, ходил по церкви и кадил. Если б не смирение, каким проникся Кунин, входя в нищую церковь, то при виде отца Якова он непременно бы улыбнулся. На малорослом иерее была помятая и длинная-предлинная риза из какой-то потертой желтой материи. Нижний край ризы волочился по земле.

Церковь была не полна. Кунина, при взгляде на прихожан, поразило на первых порах одно странное обстоятельство: он увидел только стариков и детей... Где же рабочий возраст? Где юность и мужество? Но, постояв немного и вглядевшись попристальней в старческие лица, Кунин увидел, что молодых он принял за старых. Впрочем, этому маленькому оптическому обману он не придал особого значения.

Внутри церковь была так же ветха и сера, как и снаружи. На иконостасе и на бурых стенах не было ни одного местечка, которого бы не закоптило и не исцарапало время. Окон было много, но общий колорит казался серым, и поэтому в церкви стояли сумерки.

«Кто чист душою, тому хорошо здесь молиться... — думал Кунин. — Как в Риме у св. Петра поражает величие, так здесь трогают эти смирение и простота».

Но молитвенное настроение его рассеялось в дым, когда отец Яков вошел в алтарь и начал обедню. По молодости лет, попав в священники прямо с семинарской скамьи, отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться, на высоком теноре или жидком баске; кланялся он неумело, ходил быстро, царские врата открывал и закрывал порывисто... Старый дьячок, очевидно больной и глухой, плохо слышал его возгласы, отчего не обходилось без маленьких недоразумений. Не успеет отец Яков прочесть,

что нужно, а уж дьячок поет свое, или же отец Яков давно уже кончил, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не дернут за полу. У старика был глухой, болезненный голос, с одышкой, дрожащий и шепелявый... В довершение неблаголепия дьячку подтягивал очень маленький мальчик, голова которого едва виднелась из-за перилы клироса. Мальчик пел высоким визгливым дискантом и словно старался не попадать в тон. Кунин постоял немного, послушал и вышел покурить. Он был уже разочарован и почти с неприязнью глядел на серую церковь.

— Жалуются на падение в народе религиозного чувства... — вздохнул он. — Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов!

Раза три потом входил Кунин в церковь, и всякий раз его сильно потягивало вон на свежий воздух. Дождавшись конца обедни, он отправился к отцу Якову. Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских изб, только солома на крыше лежала ровнее да на окнах белели занавесочки. Отец Яков ввел Кунина в маленькую светлую комнату с глиняным полом и со стенами, оклеенными дешевыми обоями; несмотря на кое-какие потуги к роскоши, вроде фотографий в рамочках да часов с прицепленными к гире ножницами, обстановка поражала своею скудостью. Глядя на мебель, можно было подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирал ее по частям: в одном месте дали ему круглый стол на трех ногах, в другом — табурет, в третьем — стул с сильно загнутой назад спинкой, в четвертом — стул с прямой спинкой, но с вдавленным сиденьем, а в пятом — расщедрились и дали какое-то подобие дивана с плоской спинкой и с решетчатым сиденьем. Это подобие было выкрашено в темно-красный цвет и сильно пахло краской. Кунин сначала хотел сесть на один из стульев, но подумал и сел на табурет.

— Вы это первый раз в нашем храме? — спросил отец Яков, вешая свою шляпу на большой уродливый гвоздик.

— Да, в первый. Вот что, батюшка... Прежде чем мы приступим к делу, угостите меня чаем, а то у меня вся душа высохла.

Отец Яков заморгал глазами, крякнул и пошел за перегородку. Послышалось шушуканье..

«Должно быть, с попадьей... — подумал Кунин. — Интересно бы поглядеть, какая у этого рыжего попадья...»

Немного погодя отец Яков вышел из-за перегородки красный, потный и, силясь улыбнуться, сел против Кунина на край дивана.

— Сейчас поставят самовар, — сказал он, не глядя на своего гостя.

«Боже мой, они еще самовара не ставили! — ужаснулся про себя Кунин. — Изволь теперь ждать!»

— Я вам привез, — сказал он, — черновое письмо, которое я написал архиерею. Прочту после чая... Может быть, вы найдете что-нибудь добавить...

— Хорошо-с.

Наступило молчание. Отец Яков пугливо покосился на перегородку, поправил волосы и высморкался.

— Погода чудесная-с... — сказал он.

— Да. Между прочим, интересную я вещь прочел вчера... Вольское земство постановило передать все свои школы духовенству. Это характерно.

Кунин поднялся, зашагал по глиняному полу и начал высказывать свои соображения.

— Это ничего, — говорил он, — лишь бы только духовенство стояло на высоте своего призвания и ясно сознавало свои задачи. К моему несчастью, я знаю священников, которые, по своему развитию и нравственным качествам, не годятся в военные писаря, а не то что в священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесет школе гораздо меньше вреда, чем плохой священник.

Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел, согнувшись, о чем-то усердно думал и, по-видимому, не слушал гостя.

— Яша, поди-ка сюда! — послышался женский голос из-за перегородки.

Отец Яков встрепенулся и пошел за перегородку. Опять началось шушуканье.

Кунина защемила тоска по чаю.

«Нет, не дождусь я тут чаю! — подумал он, глядя на часы. — Да кажется, тут я не совсем желанный

гость. Хозяин не соблаговолил со мной и одного слова сказать, а только сидит да глазами хлопает».

Кунин взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился с ним.

— Даром только утро пропало! — злился он дорогой. — Бревно! Пень! Школой он так же интересуется, как я прошлогодним снегом. Нет, не сварю я с ним каши! Ничего у нас с ним не выйдет! Если бы предводитель знал, какой здесь поп, то не спешил бы хлопотать о школе. Надо сперва о хорошем попе позаботиться, а потом уж о школе!

Кунин теперь почти ненавидел отца Якова. Этот человек, его жалкая, карикатурная фигура, в длинной помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярская, застенчивая почтительность оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо теплился наряду с другими нянюшкиными сказками. А холодность и невнимание, с которыми он встретил искреннее, горячее участие Кунина в его же собственном деле, было трудно вынести самолюбию...

Вечером того же дня Кунин долго ходил по комнатам и думал, потом решительно сел за стол и написал архиерею письмо. Попросив денег для школы и благословения, он, между прочим, искренне, по-сыновьи, изложил свое мнение о синьковском священнике. «Он молод, — написал он, — недостаточно развит, кажется, ведет нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяет тем требованиям, которые веками сложились у русского народа по отношению к его пастырям». Написав это письмо, Кунин легко вздохнул и лег спать с сознанием, что он сделал доброе дело.

В понедельник утром, когда он еще лежал в постели, ему доложили о приходе отца Якова. Вставать ему не хотелось, и он велел сказать, что его нет дома. Во вторник уехал он на съезд и, вернувшись в субботу, узнал от прислуги, что без него ежедневно приходил отец Яков.

«Как, однако, ему мои крендельки понравились!» — подумал Кунин.

В воскресенье, перед вечером, пришел отец Яков. На этот раз не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Как и в первое свое посещение, он

был красен и потен, сел, как и тогда, на краешек кресла. Кунин порешил не начинать разговора о школе, не метать бисера.

— Я вам, Павел Михайлович, списочек учебных пособий принес... — начал отец Яков.

— Благодарю.

Но по всему видно было, что отец Яков не из-за списочка пришел. Вся его фигура выражала сильное смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь побороть свою робость.

«Что же он молчит? — злился Кунин. — Расселся тут! Мне ведь некогда возиться с ним!»

Чтобы хоть чем-нибудь сгладить неловкость своего молчания и скрыть борьбу, происходившую в нем, священник начал принужденно улыбаться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь пот и краску лица, не вязавшаяся с неподвижным взглядом серо-голубых глаз, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно.

— Извините, батюшка, мне нужно ехать... — сказал он.

Отец Яков встрепенулся, как сонный человек, которого ударили, и, не переставая улыбаться, начал в смущении запахивать полы своей рясы. При всем отвращении к этому человеку Кунину вдруг стало жаль его, и он захотел смягчить свою жестокость.

— Прошу, батюшка, в другой раз... — сказал он, — а на прощанье у меня к вам будет просьба... Тут как-то я вдохновился, знаете, и написал две проповеди... Отдаю на ваше рассмотрение... Коли сгодятся, прочтите.

— Хорошо-с... — сказал отец Яков, покрывая ладонью лежавшие на столе проповеди Кунина. — Я возьму-с...

Постояв немного, помявшись и все еще запахивая ряску, он вдруг перестал принужденно улыбаться и решительно поднял голову.

— Павел Михайлович, — сказал он, видимо стараясь говорить громко и явственно.

— Что прикажете?

— Я слышал, что вы изволили тово... рассчитать своего писаря и... и ищете теперь нового...

— Да... А вы имеете порекомендовать кого-нибудь?

— Я, видите ли... я... Не можете ли вы отдать эту должность... мне?

— Да разве вы бросаете священство? — изумился Кунин.

— Нет, нет, — быстро проговорил отец Яков, почему-то бледнея и дрожа всем телом. — Боже меня сохрани! Ежели сомневаетесь, то не нужно, не нужно. Я ведь это как бы между делом... чтоб дивиденды свои увеличить... Не нужно, не беспокойтесь!

— Гм... дивиденды... Но ведь я плачу писарю только двадцать рублей в месяц!

— Господи, да я и десять взял бы! — прошептал отец Яков, оглядываясь. — И десяти довольно! Вы... вы изумляетесь, и все изумляются. Жадный поп, алчный, куда он деньги девает? Я и сам это чувствую, что жадный... и казню себя, осуждаю... людям в глаза глядеть совестно... Вам, Павел Михайлович, я по совести... привожу истинного бога в свидетели...

Отец Яков перевел дух и продолжал:

— Приготовил я вам дорогой целую исповедь, но... все забыл, не подберу теперь слов. Я получаю в год с прихода сто пятьдесят рублей, и все... удивляются, куда я эти деньги деваю... Но я вам все по совести объясню... Сорок рублей в год я за брата Петра в духовное училище взношу. Он там на всем готовом, но бумага и перья мои...

— Ах, верю, верю! Ну, к чему все это? — замахал рукой Кунин, чувствуя страшную тяжесть от этой откровенности гостя и не зная, куда деваться от слезливого блеска его глаз.

— Потом-с, я еще в консисторию за место свое не все еще выплатил. За место с меня двести рублей положили, чтоб я по десяти в месяц выплачивал... Судите же теперь, что остается? А ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию по крайней мере хоть по три рубля в месяц!

— Какому отцу Авраамию?

— Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был. Его лишили места за... слабость, а ведь он в Синькове и теперь живет! Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтоб он, при своем сане, пошел милостыню просить! Мне ведь

грех будет, ежели что! Мне грех! Он... всем задолжал, а ведь мне грех, что я за него не плачу.

Отец Яков рванулся с места и, безумно глядя на пол, зашагал из угла в угол.

— Боже мой! Боже мой! — забормотал он, то поднимая руки, то опуская. — Спаси нас, господи, и помилуй! И зачем было такой сан на себя принимать, ежели ты маловер и сил у тебя нет? Нет конца моему отчаянию! Спаси, царица небесная.

— Успокойтесь, батюшка! — сказал Кунин.

— Замучил голод, Павел Михайлович! — продолжал отец Яков. — Извините великодушно, но нет уже сил моих... Я знаю, попроси я, поклонись, и всякий поможет, но... не могу! Совестно мне! Как я стану у мужиков просить? Вы служите тут и сами видите... Какая рука подымется просить у нищего? А просить у кого побогаче, у помещиков, не могу! Гордость! Совестно!

Отец Яков махнул рукой и нервно зачесал обеими руками голову.

— Совестно! Боже, как совестно! Не могу, гордец, чтоб люди мою бедность видели. Когда вы меня посетили, то ведь чаю вовсе не было, Павел Михайлович! Ни соринки его не было, а ведь открыться перед вами гордость помешала! Стыжусь своей одежды, вот этих латок... Риз своих стыжусь, голода... А прилична ли гордость священнику?

Отец Яков остановился посреди кабинета и, словно не замечая присутствия Кунина, стал рассуждать с самим собой.

— Ну, положим, я снесу и голод и срам, но ведь у меня, господи, еще попадья есть! Ведь я ее из хорошего дома взял! Она белоручка и нежная, привыкла и к чаю, и к белой булке, и к простыням... Она у родителей на фортепьянах играла... Молодая, еще и двадцати лет нет... Хочется небось и нарядиться, и пошалить, и в гости съездить... А она у меня... хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать... Боже мой, боже мой! Только и утехи у нее, что принесу из гостей яблочек или какой кренделечек...

Отец Яков опять обеими руками зачесал голову.

— И выходит у нас не любовь, а жалость... Не могу видеть ее без сострадания! И что оно такое, господи, делается на свете. Такое делается, что если в газеты

написать, то не поверят люди... И когда всему этому конец будет!

— Полноте, батюшка! — почти крикнул Кунин, пугаясь его тона. — Зачем так мрачно смотреть на жизнь?

— Извините великодушно, Павел Михайлович... — забормотал отец Яков, как пьяный. — Извините, все это... пустое, и вы не обращайте внимания... А только я себя виню и буду винить... Буду!

Отец Яков оглянулся и зашептал:

— Как-то рано утром иду я из Синькова в Лучково; гляжу, а на берегу стоит какая-то женщина и что-то делает... Подхожу ближе и глазам своим не верю... Ужас! Сидит жена доктора, Ивана Сергеича, и белье полощет... Докторша, в институте кончила! Значит, чтоб люди не видели, норовила пораньше встать и за версту от деревни уйти... Неодолимая гордость! Как увидала, что я около нее и бедность ее заметил, покраснела вся... Я оторопел, испугался, подбежал к ней, хочу помочь ей, а она белье от меня прячет, боится, чтоб я ее рваных сорочек не увидел...

— Все это как-то даже невероятно... — сказал Кунин, садясь и почти с ужасом глядя на бледное лицо отца Якова.

— Именно невероятно! Никогда, Павел Михайлович, этого не было, чтоб докторши на реке белье полоскали! Ни в каких странах этого нет! Мне бы, как пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до этого, но что я могу сделать? Что? Сам же еще норовлю у ее мужа даром лечиться! Верно вы изволили определить, что все это невероятно! Глазам не верится! Во время обедни, знаете, выглянешь из алтаря, да как увидишь свою публику, голодного Авраамия и попадью, да как вспомнишь про докторшу, как у нее от холодной воды руки посинели, то, верите ли, забудешься и стоишь, как дурак, в бесчувствии, пока пономарь не окликнет... Ужас!

Отец Яков опять заходил.

— Господи Иисусе! — замахал он руками. — Святые угодники! И служить даже не могу... Вы вот про школу мне говорите, а я, как истукан, ничего не понимаю и только об еде думаю... Даже перед престолом... Впрочем... что же это я? — спохватился отец Яков. — Вам уезжать нужно. Простите-с, я ведь это так... извините...

Кунин молча пожал руку отца Якова, проводил его до передней и, вернувшись в своей кабинет, остановился перед окном. Он видел, как отец Яков вышел из дому, нахлобучил на голову свою широкополую ржавую шляпу и тихо, понурив голову, точно стыдясь своей откровенности, пошел по дороге.

«А его лошади не видно», — подумал Кунин.

Помыслить, что священник все эти дни ходил к нему пешком, Кунин боялся: до Синькова было семь-восемь верст, а грязь на дороге стояла невылазная. Далее Кунин видел, как кучер Андрей и мальчик Парамон, прыгая через лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбежали к нему под благословение. Отец Яков снял шляпу и медленно благословил Андрея, потом благословил и погладил по голове мальчика.

Кунин провел рукой по глазам, и ему показалось, что рука его от этого стала мокрой. Он отошел от окна и мутными глазами обвел комнату, в которой ему еще слышался робкий, придушенный голос... Он взглянул на стол... К счастью, отец Яков забыл второпях взять с собой его проповеди... Кунин подскочил к ним, изорвал их в клочки и с отвращением швырнул под стол.

— И я не знал! — простонал он, падая на софу. — Я, который уже более года служу здесь непременным членом, почетным мировым судьей, членом училищного совета! Слепая кукла, фат! Скорей к ним на помощь! Скорей!

Он мучительно ворочался, стискивал виски и напрягал свой ум.

— Получу двадцатого числа жалованья двести рублей... Под благовидным предлогом суну и ему и докторше... Его позову молебен служить, а для доктора фиктивно заболею... Таким образом, не оскорблю их гордости. И Авраамию помогу...

Он рассчитывал по пальцам свои деньги и боялся себе сознаться, что этих двухсот рублей едва хватит ему, чтобы заплатить управляющему, прислуге, тому мужику, который привозит мясо... Поневоле пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще двадцатилетним молокососом, он дарил проституткам дорогие веера, платил извозчику Кузьме по десяти рублей в день, подносил из тщеславия актрисам подарки. Ах,

как бы пригодились теперь все эти разбросанные рубли, трехрублевики, десятки!

«Отец Авраамий проедает в месяц только три рубля, — думал Кунин. — За рубль попадья может себе сорочку сшить, а докторша прачку нанять. Но я все-таки помогу! Обязательно помогу!»

Тут вдруг Кунин вспомнил донос, который написал он архиерею, и его всего скорчило, как от невзначай налетевшего холода. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой...

Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и не рассуждающих людей.

*1886*

## ГРИША

Гриша, маленький, пухлый мальчик, родившийся два года и восемь месяцев тому назад, гуляет с нянькой по бульвару. На нем длинный ватный бурнусик, шарф, большая шапка с мохнатой пуговкой и теплые калоши. Ему душно и жарко, а тут еще разгулявшееся апрельское солнце бьет прямо в глаза и щиплет веки.

Вся его неуклюжая, робко, неуверенно шагающая фигура выражает крайнее недоумение.

До сих пор Гриша знал один только четырехугольный мир, где в одном углу стоит его кровать, в другом — нянькин сундук, в третьем — стул, а в четвертом — горит лампадка. Если взглянуть под кровать, то увидишь куклу с отломанной рукой и барабан, а за нянькиным сундуком очень много разных вещей: катушки от ниток, бумажки, коробка без крышки и сломанный паяц. В этом мире, кроме няни и Гриши, часто бывают мама и кошка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нет глаз и хвоста. Из мира, который называется детской, дверь ведет в пространство, где обедают и пьют чай. Тут стоит Гришин стул на высоких ножках и висят часы, существующие для того только, чтобы махать маятником и звонить. Из столовой можно пройти в комнату, где стоят красные кресла. Тут на ковре темнеет пятно, за которое Грише до сих пор грозят пальцами. За этой комнатой есть еще другая, куда не пускают и где мелькает папа — личность в высшей степени загадочная! Няня и мама понятны:

они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа — неизвестно. Еще есть другая загадочная личность — это тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает. Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать, за сундук и под диван, но там ее не было...

В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и теть, что не знаешь, к кому и подбежать. Но страннее и нелепее всего — лошади. Гриша глядит на их двигающиеся ноги и ничего не может понять. Глядит на няньку, чтобы та разрешила его недоумение, но та молчит.

Вдруг он слышит страшный топот... По бульвару, мерно шагая, двигается прямо на него толпа солдат с красными лицами и с банными вениками под мышкой. Гриша весь холодеет от ужаса и глядит вопросительно на няньку: не опасно ли? Но нянька не бежит и не плачет, значит не опасно. Гриша провожает глазами солдат и сам начинает шагать им в такт.

Через бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами. Гриша думает, что и ему тоже нужно бежать, и бежит за кошками.

— Стой! — кричит ему нянька, грубо хватая его за плечи. — Куда ты? Нешто тебе велено шалить?

Вот какая-то няня сидит и держит маленькое корыто с апельсинами. Гриша проходит мимо нее и молча берет себе один апельсин.

— Это ты зачем же? — кричит его спутница, хлопая его по руке и вырывая апельсин. — Дурак!

Теперь Гриша с удовольствием бы поднял стеклышко, которое валяется под ногами и сверкает, как лампадка, но он боится, что его опять ударят по руке.

— Мое вам почтение! — слышит вдруг Гриша почти над самым ухом чей-то громкий, густой голос и видит высокого человека со светлыми пуговицами.

К великому его удовольствию, этот человек подает няньке руку, останавливается с ней и начинает разговаривать. Блеск солнца, шум экипажей, лошади, светлые пуговицы — все это так поразительно ново и не страшно, что душа Гриши наполняется чувством наслаждения и он начинает хохотать.

— Пойдем! Пойдем! — кричит он человеку со светлыми пуговицами, дергая его за фалду.

— Куда пойдем? — спрашивает человек.

— Пойдем! — настаивает Гриша.

Ему хочется сказать, что недурно бы также прихватить с собой папу, маму и кошку, но язык говорит совсем не то, что нужно.

Немного погодя нянька сворачивает с бульвара и вводит Гришу в большой двор, где есть еще снег. И человек со светлыми пуговицами тоже идет за ними. Минуют старательно снеговые глыбы и лужи, потом по грязной, темной лестнице входят в комнату. Тут много дыма, пахнем жарким и какая-то женщина стоит около печки и жарит котлеты. Кухарка и нянька целуются и вместе с человеком садятся на скамью и начинают говорить тихо. Грише, окутанному, становится невыносимо жарко и душно.

«Отчего бы это?» — думает он оглядываясь.

Видит он темный потолок, ухват с двумя рогами, печку, которая глядит большим черным дуплом...

— Ма-а-ма! — тянет он.

— Ну, ну, ну! — кричит нянька. — Подождешь!

Кухарка ставит на стол бутылку, две рюмки и пирог. Две женщины и человек со светлыми пуговицами чокаются и пьют по нескольку раз, и человек обнимает то няньку, то кухарку. И потом все трое начинают тихо петь.

Гриша тянется к пирогу, и ему дают кусочек. Он ест и глядит, как пьет нянька... Ему тоже хочется выпить.

— Дай! Няня, дай! — просит он.

Кухарка дает ему отхлебнуть из своей рюмки. Он таращит глаза, морщится, кашляет и долго потом машет руками, а кухарка глядит на него и смеется.

Вернувшись домой, Гриша начинает рассказывать маме, стенам и кровати, где он был и что видел. Говорит он не столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка...

Вечером он никак не может уснуть. Солдаты с вениками, большие кошки, лошади, стеклышко, корыто с апельсинами, светлые пуговицы — все это собралось

в кучу и давит его мозг. Он ворочается с боку на бок, болтает и в конце концов, не вынося своего возбуждения, начинает плакать.

— А у тебя жар! — говорит мама, касаясь ладонью его лба. — Отчего бы это могло случиться?

— Печка! — плачет Гриша. — Пошла отсюда, печка!

— Вероятно, покушал лишнее... — решает мама.

И Гриша, распираемый впечатлениями новой, только что изведанной жизни, получает от мамы ложку касторки.

*1886*

## ДАМЫ

Федор Петрович, директор народных училищ N—ской губернии, считающий себя человеком справедливым и великодушным, принимал однажды у себя в канцелярии учителя Временского.

— Нет, господин Временский, — говорил он, — отставка неизбежна. С таким голосом, как у вас, нельзя продолжать учительской службы. Да как он у вас пропал?

— Я холодного пива, вспотевши, выпил... — прошипел учитель.

— Экая жалость! Служил человек четырнадцать лет, и вдруг такая напасть! Черт знает, из-за какого пустяка приходится свою карьеру ломать. Что же вы теперь намерены делать?

Учитель ничего не ответил.

— Вы семейный? — спросил директор.

— Жена и двое детей, ваше превосходительство... — прошипел учитель.

Наступило молчание. Директор встал из-за стола и прошелся из угла в угол волнуясь.

— Ума не приложу, что мне с вами делать! — сказал он. — Учителем быть вы не можете, до пенсии вы еще не дотянули... отпустить же вас на произвол судьбы, на все четыре стороны, не совсем ловко. Вы для нас свой человек, прослужили четырнадцать лет, значит наше дело помочь вам... Но как помочь? Что я для вас могу сделать? Войдите вы в мое положение: что я могу для вас сделать?

Наступило молчание; директор ходил и все думал, а Временский, подавленный своим горем, сидел на

краешке стула и тоже думал. Вдруг директор просиял и даже пальцами щелкнул.

— Удивляюсь, как это я раньше не вспомнил! — заговорил он быстро. — Послушайте, вот что я могу предложить вам... На будущей неделе письмоводитель у нас в приюте уходит в отставку. Если хотите, поступайте на его место! Вот вам!

Временский, не ожидавший такой милости, тоже просиял.

— И отлично, — сказал директор. — Сегодня же напишите прошение...

Отпустив Временского, Федор Петрович почувствовал облегчение и даже удовольствие: перед ним уже не торчала согбенная фигура шипящего педагога, и приятно было сознавать, что, предложив Временскому свободную вакансию, он поступил справедливо и по совести, как добрый, вполне порядочный человек. Но это хорошее настроение продолжалось недолго. Когда он вернулся домой и сел обедать, его жена, Настасья Ивановна, вдруг вспомнила:

— Ах да, чуть было не забыла! Вчера приезжала ко мне Нина Сергеевна и просила за одного молодого человека. Говорят, у нас в приюте вакансия открывается...

— Да, но это место уже другому обещано, — сказал директор и нахмурился. — И ты знаешь мое правило: я никогда не даю мест по протекции.

— Я знаю, но для Нины Сергеевны, полагаю, можно сделать исключение. Она нас как родных любит, а мы для нее до сих пор еще ничего хорошего не сделали. И не думай, Федя, отказывать! Своими капризами ты и ее обидишь и меня.

— А кого она рекомендует?

— Ползухина.

— Какого Ползухина? Это того, что на Новый год в собрании Чацкого играл? Джентльмена этого? Ни за что!

Директор перестал есть.

— Ни за что! — повторил он. — Боже меня сохрани!

— Но почему же?

— Пойми, матушка, что уж ежели молодой человек действует не прямо, а через женщин, то, стало быть, он дрянь! Почему он сам ко мне не идет?

После обеда директор лег у себя в кабинете на софе и стал читать полученные газеты и письма.

«Милый Федор Петрович! — писала ему жена городского головы. — Вы как-то говорили, что я сердцеведка и знаток людей. Теперь вам предстоит проверить это на деле. К вам придет на днях просить места письмоводителя в нашем приюте некий К. Н. Ползухин, которого я знаю за прекрасного молодого человека. Юноша очень симпатичен. Приняв в нем участие, вы убедитесь...», и т. д.

— Ни за что! — проговорил директор. — Боже меня сохрани!

После этого не проходило дня, чтобы директор не получал писем, рекомендовавших Ползухина. В одно прекрасное утро явился и сам Ползухин, молодой человек, полный, с бритым жокейским лицом, в новой черной паре...

— По делам службы я принимаю не здесь, а в канцелярии, — сказал сухо директор, выслушав его просьбу.

— Простите, ваше превосходительство, но наши общие знакомые посоветовали мне обратиться именно сюда.

— Гм!.. — промычал директор, с ненавистью глядя на его остроносые башмаки. — Насколько я знаю, — сказал он, — у вашего батюшки есть состояние и вы не нуждаетесь, какая же вам надобность проситься на это место? Ведь жалованье грошовое!

— Я не из-за жалованья, а так... И все-таки служба казенная...

— Так-с... Мне кажется, через месяц же вам надоест эта должность и вы ее бросите, а между тем есть кандидаты, для которых это место — карьера на всю жизнь... Есть бедняки, для которых...

— Не надоест, ваше превосходительство! — перебил Ползухин. — Честное слово, я буду стараться!

Директора взорвало.

— Послушайте, — спросил он, презрительно улыбаясь, — почему вы не обратились сразу ко мне, а нашли нужным предварительно беспокоить дам?

— Я не знал, что это для вас будет неприятно, — ответил Ползухин и сконфузился. — Но, ваше превосходительство, если вы не придаете значения рекомендательным письмам, то я могу вам представить аттестации...

Он достал из кармана бумагу и подал ее директору. Под аттестацией, написанной канцелярским слогом и почерком, стояла подпись губернатора. По всему видно было, что губернатор подписал не читая, лишь бы только отделаться от какой-нибудь навязчивой барыни.

— Нечего делать, преклоняюсь... слушаюсь... — сказал директор, прочитав аттестацию, и вздохнул. — Подавайте завтра прошение... Нечего делать...

И когда Ползухин ушел, директор весь отдался чувству отвращения.

— Дрянь! — шипел он, шагая из угла в угол. — Добился-таки своего, негодный шаркун, бабий угодник! Гадина! Тварь!

Директор громко плюнул в дверь, за которой скрылся Ползухин, и вдруг сконфузился, потому что в это время входила к нему в кабинет барыня, жена управляющего казенной палаты...

— Я на минутку, на минутку... — начала барыня. — Садитесь, кум, и слушайте меня внимательно... Ну-с, говорят, у вас есть свободная вакансия... Завтра или сегодня будет у вас молодой человек, некто Ползухин...

Барыня щебетала, а директор глядел на нее мутными, осовелыми глазами, как человек, собирающийся упасть в обморок, глядел и улыбался из приличия.

А на другой день, принимая у себя в канцелярии Временского, директор долго не решался сказать ему правду. Он мялся, путался и не находил, с чего начать, что сказать. Ему хотелось извиниться перед учителем, рассказать ему всю сущую правду, но язык заплетался, как у пьяного, уши горели, и стало вдруг обидно и досадно, что приходится играть такую нелепую роль — в своей канцелярии, перед своим подчиненным. Он вдруг ударил по столу, вскочил и закричал сердито:

— Нет у меня для вас места! Нет и нет! Оставьте меня в покое! Не мучайте меня! Отстаньте от меня наконец, сделайте одолжение!

И вышел из канцелярии.

*1886*

## ХОРИСТКА

Однажды, когда она еще была моложе, красивее и голосистее, у нее на даче, в антресолях, сидел Николай Петрович Колпаков, ее обожатель. Было нестерпимо жарко и душно. Колпаков только что пообедал и выпил целую бутылку плохого портвейна, чувствовал себя не в духе и нездорово. Оба скучали и ждали, когда спадет жара, чтоб пойти гулять.

Вдруг неожиданно в передней позвонили. Колпаков, который был без сюртука и в туфлях, вскочил и вопросительно поглядел на Пашу.

— Должно быть, почтальон или, может, подруга, — сказала певица.

Колпаков не стеснялся ни подруг Паши, ни почтальонов, но на всякий случай взял в охапку свое платье и пошел в смежную комнату, а Паша побежала отворять дверь. К ее великому удивлению, на пороге стоял не почтальон и не подруга, а какая-то незнакомая женщина, молодая, красивая, благородно одетая и, по всем видимостям, из порядочных.

Незнакомка была бледна и тяжело дышала, как от ходьбы по высокой лестнице.

— Что вам угодно? — спросила Паша.

Барыня не сразу ответила. Она сделала шаг вперед, медленно оглядела комнату и села с таким видом, как будто не могла стоять от усталости или нездоровья; потом она долго шевелила бледными губами, стараясь что-то выговорить.

— Мой муж у вас? — спросила она наконец, подняв на Пашу свои большие глаза с красными заплаканными веками.

— Какой муж? — прошептала Паша и вдруг испугалась так, что у нее похолодели руки и ноги. — Какой муж? — повторила она, начиная дрожать.

— Мой муж... Николай Петрович Колпаков.

— Не... нет, сударыня... Я... я никакого мужа не знаю.

Прошла минута в молчании. Незнакомка несколько раз провела платком по бледным губам и, чтобы побороть внутреннюю дрожь, задерживала дыхание, а Паша стояла перед ней неподвижно как вкопанная и глядела на нее с недоумением и страхом.

— Так его, вы говорите, нет здесь? — спросила барыня уже твердым голосом и как-то странно улыбаясь.

— Я... я не знаю, про кого вы спрашиваете.

— Гадкая вы, подлая, мерзкая... — пробормотала незнакомка, оглядывая Пашу с ненавистью и отвращением. — Да, да... вы гадкая. Очень, очень рада, что наконец могу высказать вам это!

Паша почувствовала, что на эту даму в черном, с сердитыми глазами и с белыми тонкими пальцами, она производит впечатление чего-то гадкого, безобразного, и ей стало стыдно своих пухлых красных щек, рябин на носу и челки на лбу, которая никак не зачесывалась наверх. И ей казалось, что если бы она была худенькая, не напудренная и без челки, то можно было бы скрыть, что она непорядочная, и было бы не так страшно и стыдно стоять перед незнакомой, таинственной дамой.

— Где мой муж? — продолжала дама. — Впрочем, здесь он или нет, мне все равно, но должна я вам сказать, что обнаружена растрата и Николая Петровича ищут... Его хотят арестовать. Вот что вы наделали!

Барыня встала и в сильном волнении прошлась по комнате. Паша глядела на нее и от страха не понимала.

— Сегодня же его найдут и арестуют, — сказала барыня и всхлипнула, и в этом звуке слышались оскорбление и досада. — Я знаю, кто довел его до такого ужаса! Гадкая, мерзкая! Отвратительная, продажная тварь! (У барыни губы покривились и поморщился нос от отвращения.) Я бессильна... слушайте вы, низкая женщина!.. я бессильна, вы сильнее меня, но есть кому всту-

питься за меня и моих детей! Бог все видит! Он справедлив! Он взыщет с вас за каждую мою слезу, за все бессонные ночи! Будет время, вспомните вы меня!

Опять наступило молчание. Барыня ходила по комнате и ломала руки, а Паша все еще глядела на нее тупо, с недоумением, не понимала и ждала от нее чего-то страшного.

— Я, сударыня, ничего не знаю! — проговорила она и вдруг заплакала.

— Лжете вы! — крикнула барыня и злобно сверкнула на нее глазами. — Мне все известно! Я давно уже знаю вас! Я знаю, в последний месяц он просиживал у вас каждый день!

— Да. Так что же? Что ж из этого? У меня бывает много гостей, но я никого не неволю. Вольному воля.

— Я говорю вам: обнаружена растрата! Он растратил на службе чужие деньги! Ради такой... как вы, ради вас он решился на преступление. Послушайте, — сказала барыня решительным тоном, останавливаясь перед Пашей. — У вас не может быть принципов, вы живете для того только, чтоб приносить зло, это цель ваша, но нельзя же думать, что вы так низко пали, что у вас не осталось и следа человеческого чувства! У него есть жена, дети... Если его осудят и сошлют, то я и дети умрем с голода... Поймите вы это! А между тем есть средство спасти его и нас от нищеты и позора. Если я сегодня внесу девятьсот рублей, то его оставят в покое. Только девятьсот рублей!

— Какие девятьсот рублей? — тихо спросила Паша. — Я... я не знаю... Я не брала...

— Я не прошу у вас девятисот рублей... у вас нет денег, да и не нужно мне вашего. Я прошу другого... Мужчины обыкновенно таким, как вы, дарят драгоценные вещи. Возвратите мне только те вещи, которые дарил вам мой муж!

— Сударыня, они никаких вещей мне не дарили! — взвизгнула Паша, начиная понимать.

— Где же деньги? Он растратил свое, мое и чужое... Куда же все это девалось? Послушайте, я прошу вас! Я была возмущена и наговорила вам много неприятного, но я извиняюсь. Вы должны меня ненавидеть, я знаю, но если вы способны на сострадание, то войдите в мое положение! Умоляю вас, отдайте мне вещи!

— Гм... — сказала Паша и пожала плечами. — Я бы с удовольствием, но, накажи меня бог, они ничего мне не давали. Верьте совести. Впрочем, правда ваша, — смутилась певица, — они как-то привезли мне две штучки. Извольте, я отдам, ежели желаете...

Паша выдвинула один из туалетных ящичков и достала оттуда дутый золотой браслет и жидкое колечко с рубином.

— Извольте! — сказала она, подавая эти вещи гостье.

Барыня вспыхнула, и лицо ее задрожало. Она оскорбилась.

— Что же вы мне даете? — сказала она. — Я не милостыни прошу, а того, что принадлежит не вам... что́ вы, пользуясь вашим положением, выжали из моего мужа... этого слабого, несчастного человека... В четверг, когда я видела вас с мужем на пристани, на вас были дорогие броши и браслеты. Стало быть, нечего разыгрывать передо мной невинного барашка! Я в последний раз прошу: дадите вы мне вещи или нет?

— Какие вы, ей-богу, странные... — сказала Паша, начиная обижаться. — Заверяю вас, что от вашего Николая Петровича я, кроме этой браслеты и колечка, ничего не видела. Они привозили мне только сладкие пирожки.

— Сладкие пирожки... — усмехнулась незнакомка. — Дома детям есть нечего, а тут сладкие пирожки. Вы решительно отказываетесь возвратить вещи?

Не получив ответа, барыня села и, о чем-то думая, уставилась в одну точку.

— Что же теперь делать? — проговорила она. — Если я не достану девятисот рублей, то и он погиб и я с детьми погибла. Убить эту мерзавку или на колени стать перед ней, что ли?

Барыня прижала платок к лицу и зарыдала.

— Я прошу вас! — слышалось сквозь ее рыданья. — Вы же ведь разорили и погубили мужа, спасите его... Вы не имеете к нему сострадания, но дети... дети... Чем дети виноваты?

Паша вообразила маленьких детей, которые стоят на улице и плачут от голода, и сама зарыдала.

— Что же я могу сделать, сударыня? — сказала она. — Вы говорите, что я мерзавка и разорила Николая Петровича, а я вам, как пред истинным богом... заве-

ряю вас, никакой пользы я от них не имею... В нашем хоре только у одной Моти богатый содержатель, а все мы перебиваемся с хлеба на квас. Николай Петрович образованный и деликатный господин, ну, я и принимала. Нам нельзя не принимать.

— Я прошу вещи! Вещи мне дайте! Я плачу... унижаюсь... Извольте, я на колени стану! Извольте!

Паша вскрикнула от испуга и замахала руками. Она чувствовала, что эта бледная красивая барыня, которая выражается благородно, как в театре, в самом деле может стать перед ней на колени, именно из гордости, из благородства, чтобы возвысить себя и унизить хористку.

— Хорошо, я отдам вам вещи! — засуетилась Паша, утирая глаза. — Извольте. Только они не Николая Петровичевы... Я их от других гостей получила. Как вам угодно-с...

Паша выдвинула верхний ящик комода, достала оттуда брошку с алмазами, коралловую нитку, несколько колец, браслет и подала все это даме.

— Возьмите, ежели желаете, только я от вашего мужа никакой пользы не имела. Берите, богатейте! — продолжала Паша, оскорбленная угрозой стать на колени. — А ежели вы благородная... законная ему супруга, то и держали бы его при себе. Стало быть! Я его не звала к себе, он сам пришел...

Барыня сквозь слезы оглядела поданные ей вещи и сказала:

— Это не всё... Тут и на пятьсот рублей не будет.

Паша порывисто вышвырнула из комода еще золотые часы, портсигар и запонки и сказала, разводя руками:

— А больше у меня ничего не осталось... Хоть обыщите!

Гостья вздохнула, дрожащими руками завернула вещи в платочек и, не сказав ни слова, даже не кивнув головой, вышла.

Отворилась из соседней комнаты дверь, и вошел Колпаков. Он был бледен и нервно встряхивал головой, как будто только что принял что-то очень горькое; на глазах у него блестели слезы.

— Какие вы мне вещи приносили? — набросилась на него Паша. — Когда, позвольте вас спросить?

— Вещи... Пустое это — вещи! — проговорил Колпаков и встряхнул головой. — Боже мой! Она перед тобой плакала, унижалась...

— Я вас спрашиваю: какие вы мне вещи приносили? — крикнула Паша.

— Боже мой, она, порядочная, гордая, чистая... даже на колени хотела стать перед... перед этой девкой! И я довел ее до этого! Я допустил!

Он схватил себя за голову и простонал:

— Нет, я никогда не прощу себе этого! Не прощу! Отойди от меня прочь... дрянь! — крикнул он с отвращением, пятясь от Паши и отстраняя ее от себя дрожащими руками. — Она хотела стать на колени и... перед кем? Перед тобой! О боже мой!

Он быстро оделся и, брезгливо сторонясь Паши, направился к двери и вышел.

Паша легла и стала громко плакать. Ей уже было жаль своих вещей, которые она сгоряча отдала, и было обидно. Она вспомнила, как три года назад ее ни за что ни про что побил один купец, и еще громче заплакала.

*1886*

## ПАССАЖИР I-ГО КЛАССА

Пассажир первого класса, только что пообедавший на вокзале и слегка охмелевший, разлегся на бархатном диване, сладко потянулся и задремал. Подремав не больше пяти минут, он поглядел маслеными глазами на своего vis-à-vis, ухмыльнулся и сказал:

— Блаженныя памяти родитель мой любил, чтобы ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь в него, с тою, однако, разницею, что всякий раз после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешаете поболтать с вами?

— Сделайте одолжение, — согласился vis-à-vis.

— После хорошего обеда для меня достаточно самого ничтожного повода, чтобы в голову полезли чертовски крупные мысли. Например-с, сейчас мы с вами видели около буфета двух молодых людей, и вы слышали, как один из них поздравлял другого с известностью. «Поздравляю, вы, говорит, уже известность и начинаете завоевывать славу». Очевидно, актеры или микроскопические газетчики. Но не в них дело. Меня, сударь, занимает теперь вопрос, что̀, собственно, нужно разуметь под словом *слава* или *известность?* Как по-вашему-с? Пушкин называл славу яркой заплатой на рубище, все мы понимаем ее по-пушкински, то есть более или менее субъективно, но никто еще не дал ясного, логического определения этому слову. Дорого бы я дал за такое определение!

— На что оно вам так понадобилось?

— Видите ли, знай мы, что́ такое слава, нам, быть может, были бы известны и способы ее достижения, — сказал пассажир первого класса подумав. — Надо вам заметить, сударь, что когда я был помоложе, я всеми фибрами души моей стремился к известности. Популярность была моим, так сказать, сумасшествием. Для нее я учился, работал, ночей не спал, куска не доедал и здоровье потерял. И кажется, насколько я могу судить беспристрастно, у меня были все данные к ее достижению. Во-первых-с, по профессии я инженер. Пока живу, я построил на Руси десятка два великолепных мостов, соорудил в трех городах водопроводы, работал в России, в Англии, в Бельгии... Во-вторых, я написал много специальных статей по своей части. В-третьих, сударь мой, я с самого детства был подвержен слабости к химии; занимаясь на досуге этой наукой, я нашел способы добывания некоторых органических кислот, так что имя мое вы найдете во всех заграничных учебниках химии. Все время я находился на службе, дослужился до чина действительного статского советника и формуляр имею не замаранный. Не стану утруждать вашего внимания перечислением своих заслуг и работ, скажу только, что я сделал гораздо больше, чем иной известный. И что же? Вот я уже стар, околевать собираюсь, можно сказать, а известен я столь же, как вон та черная собака, что бежит по насыпи.

— Почему знать? Может быть, вы и известны.

— Гм!.. А вот мы сейчас попробуем... Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилию Крикунова?

Vis-à-vis поднял глаза к потолку, подумал и засмеялся.

— Нет, не слыхал... — сказал он.

— Это моя фамилия. Вы, человек интеллигентный и пожилой, ни разу не слыхали про меня — доказательство убедительное! Очевидно, добиваясь известности, я делал совсем не то, что следовало. Я не знал настоящих способов и, желая схватить славу за хвост, зашел не с той стороны.

— Какие же это настоящие способы?

— А черт их знает! Вы скажете: талант? гениальность? недюжинность? Вовсе нет, сударь мой... Параллельно со мной жили и делали свою карьеру люди сравнительно со мной пустые, ничтожные и даже дрян-

ные. Работали они в тысячу раз меньше меня, из кожи не лезли, талантами не блистали и известности не добивались, а поглядите на них! Их фамилии то и дело попадаются в газетах и в разговорах! Если вам не надоело слушать, то я поясню примером-с. Несколько лет тому назад я делал в городе К. мост. Надо вам сказать, скучища в этом паршивом К. была страшная. Если бы не женщины и не карты, то я с ума бы, кажется, сошел. Ну-с, дело прошлое, сошелся я там скуки ради с одной певичкой. Черт ее знает, все приходили в восторг от этой певички, по-моему же, — как вам сказать? — это была обыкновенная, дюжинная натуришка, каких много. Девчонка пустая, капризная, жадная, притом еще и дура. Она много ела, много пила, спала до пяти часов вечера — и больше, кажется, ничего. Ее считали кокоткой, — это была ее профессия, — когда же хотели выражаться о ней литературно, то называли ее актрисой и певицей. Прежде я был завзятым театралом, а потому эта мошенническая игра званием актрисы черт знает как возмущала меня! Называться актрисой или даже певицей моя певичка не имела ни малейшего права. Это было существо совершенно бесталанное, бесчувственное, можно даже сказать, жалкое. Насколько я понимаю, пела она отвратительно, вся же прелесть ее «искусства» заключалась в том, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и не конфузилась, когда к ней входили в уборную. Водевили выбирала она обыкновенно переводные, с пением, и такие, где можно было щегольнуть в мужском костюме в обтяжку. Одним словом — тьфу! Ну-с, прошу внимания. Как теперь помню, происходило у нас торжественное открытие движения по вновь устроенному мосту. Был молебен, речи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего детища и все боялся, как бы сердце у меня не лопнуло от авторского волнения. Дело прошлое, и скромничать нечего, а потому скажу вам, что мост получился у меня великолепный! Не мост, а картина, один восторг! И извольте-ка не волноваться, когда на открытии весь город. «Ну, думал, теперь публика на меня все глаза проглядит. Куда бы спрятаться?» Но напрасно я, сударь мой, беспокоился — увы! На меня, кроме официальных лиц, никто не обратил ни малейшего внимания. Стоят толпой на берегу, глядят, как бараны, на мост, а до того, кто

строил этот мост, им и дела нет. И, черт бы их драл, с той поры, кстати сказать, возненавидел я эту нашу почтеннейшую публику. Но будем продолжать. Вдруг публика заволновалась: шу-шу-шу... Лица заулыбались, плечи задвигались. «Меня, должно быть, увидели», — подумал я. Как же, держи карман! Смотрю, сквозь толпу пробирается моя певичка, вслед за нею ватага шалопаев; в тыл всему этому шествию торопливо бегут взгляды толпы. Начался тысячеголосый шепот: «Это такая-то... Прелестна! Обворожительна!» Тут и меня заметили... Двое каких-то молокососов, — должно быть, местные любители сценического искусства, — поглядели на меня, переглянулись и зашептали: «Это ее любовник!» Как это вам понравится? А какая-то плюгавая фигура в цилиндре, с давно небритой рожей, долго переминалась около меня с ноги на ногу, потом повернулась ко мне со словами:

— Знаете, кто эта дама, что идет по тому берегу? Это такая-то... Голос у нее ниже всякой критики-с, но владеет она им в совершенстве!..

— Не можете ли вы сказать мне, — спросил я плюгавую фигуру, — кто строил этот мост?

— Право, не знаю! — отвечала фигура. — Инженер какой-то!

— А кто, — спрашиваю, — в вашем К. собор строил?

— И этого не могу вам сказать.

Далее я спросил, кто в К. считается самым лучшим педагогом, кто лучший архитектор, и на все мои вопросы плюгавая фигура ответила незнанием.

— А скажите, пожалуйста, — спросил я в заключение, — с кем живет эта певица?

— С каким-то инженером Крикуновым.

Ну, сударь мой, как вам это понравится? Но далее... Миннезингеров и баянов теперь на белом свете нет, и известность делается почти исключительно только газетами. На другой же день после освящения моста с жадностью хватаю местный «Вестник» и ищу в нем про свою особу. Долго бегаю глазами по всем четырем страницам, и наконец — вот оно! ура! Начинаю читать: «Вчера, при отличной погоде и при громадном стечении народа, в присутствии его превосходительства господина начальника губернии такого-то и прочих властей, происходило освящение вновь построенного моста

и т. д.». В конце же: «На освящении, блистая красотой, присутствовала, между прочим, любимица к—ой публики, наша талантливая артистка такая-то. Само собою разумеется, что появление ее произвело сенсацию. Звезда была одета, и т. д.». Обо мне же хоть бы одно слово! Хоть полсловечка! Как это ни мелко, но, верите ли, я даже заплакал тогда от злости!

Успокоил я себя на том, что провинция-де глупа, с нее и требовать нечего, а что за известностью нужно ехать в умственные центры, в столицы. Кстати, в те поры в Питере лежала одна моя работка, поданная на конкурс. Приближался срок конкурса.

Простился я с К. и поехал в Питер. От К. до Питера дорога длинная, и вот, чтоб скучно не было, я взял отдельное купе, ну... конечно, и певичку. Ехали мы и всю дорогу ели, шампанское пили и — тру-ла-ла! Но вот мы приезжаем в умственный центр. Приехал я туда в самый день конкурса и имел, сударь мой, удовольствие праздновать победу: моя работа была удостоена первой премии. Ура! На другой же день иду на Невский и покупаю на семь гривен разных газет. Спешу к себе в номер, ложусь на диван и, пересиливая дрожь, спешу читать. Пробегаю одну газетину — ничего! Пробегаю другую — ни боже мой! Наконец в четвертой наскакиваю на такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыла в Петербург известная провинциальная артистка такая-то. С удовольствием отмечаем, что южный климат благотворно подействовал на нашу знакомку; ее прекрасная сценическая наружность...» — и не помню, что дальше! Много ниже под этим известием самым мельчайшим петитом напечатано: «Вчера на таком-то конкурсе первой премии удостоен инженер такой-то». Только! И вдобавок еще мою фамилию переврали: вместо Крикунова написали Киркунов. Вот вам и умственный центр. Но это не все... Когда я через месяц уезжал из Питера, то все газеты наперерыв толковали о «нашей несравненной, божественной, высокоталантливой» и уж мою любовницу величали не по фамилии, а по имени и отчеству...

Несколько лет спустя я был в Москве. Вызван был я туда собственноручным письмом городского головы по делу, о котором Москва со своими газетами кричит уже более ста лет. Между делом я прочел там в одном

из музеев пять публичных лекций с благотворительною целью. Кажется, достаточно, чтобы стать известным городу хотя на три дня, не правда ли? Но, увы! Обо мне не обмолвилась словечком ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящих гласных, про пьяных купцов — про все есть, а о моем деле, проекте, о лекциях — ни гугу. А милая московская публика! Еду я на конке... Вагон битком набит: тут и дамы, и военные, и студенты, и курсистки — всякой твари по паре.

— Говорят, что дума вызвала инженера по такому-то делу! — говорю я соседу так громко, чтобы весь вагон слышал. — Вы не знаете, как фамилия этого инженера?

Сосед отрицательно мотнул головой. Остальная публика поглядела на меня мельком, и во всех взглядах я прочел «не знаю».

— Говорят, кто-то читает лекции в таком-то музее! — пристаю я к публике, желая завязать разговор. — Говорят, интересно!

Никто даже головой не кивнул. Очевидно, не все слышали про лекции, а госпожи дамы не знали даже о существовании музея. Это бы все еще ничего, но представьте вы, сударь мой, публика вдруг вскакивает и ломит к окнам. Что такое? В чем дело?

— Глядите, глядите! — затолкал меня сосед. — Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это известный скороход Кинг!

И весь вагон, захлебываясь, заговорил о скороходах, занимавших тогда московские умы.

Много и других примеров я мог бы привести вам, но, полагаю, и этих довольно. Теперь допустим, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвастунишка и бездарность, но, кроме себя, я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева — популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские художники, скульпторы, литературные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, тридцать три года обивает редакционные пороги, исписывает черт знает сколько бумаги, раз двадцать судится за диффамацию, а все-таки не шагает дальше своего муравейника! Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы,

который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку, нечисто играет в карты!

Пассажир первого класса так увлекся, что выронил изо рта сигару и приподнялся.

— Да-с, — продолжал он свирепо, — и в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцам. Да-с!

Скрипнула дверь, пахнул сквозняк, и в вагон вошла личность угрюмого вида, в крылатке, в цилиндре и синих очках. Личность оглядела места, нахмурилась и прошла дальше.

— Знаете, кто это? — послышался робкий шепот из далекого угла вагона. — Это N. N., известный тульский шулер, привлеченный к суду по делу Y-го банка.

— Вот вам! — засмеялся пассажир первого класса.— Тульского шулера знает, а спросите его, знает ли он Семирадского, Чайковского или философа Соловьева, так он вам башкой замотает... Свинство!

Прошло минуты три в молчании.

— Позвольте вас спросить в свою очередь, — робко закашлял vis-à-vis, — вам известна фамилия Пушкова?

— Пушкова? Гм!.. Пушкова... Нет, не знаю!

— Это моя фамилия... — проговорил vis-à-vis конфузясь. — Стало быть, не знаете? А я уже тридцать пять лет состою профессором одного из русских университетов... член Академии наук-с... неоднократно печатался...

Пассажир первого класса и vis-à-vis переглянулись и принялись хохотать.

*1886*

## НАХЛЕБНИКИ

Мещанин Михаил Петров Зотов, старик лет семидесяти, дряхлый и одинокий, проснулся от холода и старческой ломоты во всем теле. В комнате было темно, но лампадка перед образом уже не горела. Зотов приподнял занавеску и поглядел в окно. Облака, облегавшие небо, начинали уже подергиваться белизной, и воздух становился прозрачным, — стало быть, был пятый час, не больше.

Зотов покрякал, покашлял и, пожимаясь от холода, встал с постели. По давнишней привычке, он долго стоял перед образом и молился. Прочел «Отче наш», «Богородицу», «Верую» и помянул длинный ряд имен. Кому принадлежат эти имена, он давно уже забыл и поминал только по привычке. По той же привычке он подмел комнату и сени и поставил свой толстенький четырехногий самоварчик из красной меди. Не будь у Зотова этих привычек, он не знал бы, чем наполнить свою старость.

Поставленный самоварчик медленно разгорался и вдруг неожиданно загудел дрожащим басом.

— Ну, загудел! — проворчал Зотов. — Гуди на свою голову!

Тут же кстати старик вспомнил, что в истекшую ночь ему снилась печь, а видеть во сне печь означает печаль.

Сны и приметы составляли единственное, что еще могло возбуждать его к размышлениям. И на этот раз он с особенною любовью погрузился в решение вопросов: к чему гудит самовар, какую печаль пророчит печь? Сон на первых же порах оказался в руку: когда Зотов выпо-

лоскал чайник и захотел заварить чай, то у него в коробочке не нашлось ни одной чаинки.

— Жизнь каторжная! — ворчал он, перекатывая языком во рту крохи черного хлеба. — Экая доля собачья! Чаю нету! Добро бы, простой мужик был, а то ведь мещанин, домовладелец. Срамота!

Ворча и разговаривая с самим собой, Зотов надел свое похожее на кринолин пальто, сунул ноги в громадные неуклюжие калоши (сшитые сапожником Прохорычем в 1867 году) и вышел на двор. Воздух был сер, холоден и угрюмо-покоен. Большой двор, кудрявый от репейника и усыпанный желтыми листьями, слегка серебрился осеннею изморосью. Ни ветра, ни звуков. Старик сел на ступени своего покосившегося крылечка, и тотчас же произошло то, что происходит аккуратно каждое утро: к нему подошла его собака Лыска, большой дворовый пес, белый с черными пятнами, облезлый, полудохлый, с закрытым правым глазом. Подходила Лыска робко, трусливо изгибаясь, точно ее лапы касались не земли, а раскаленной плиты, и все ее дряхлое тело выражало крайнюю забитость. Зотов сделал вид, что не обращает на нее внимания; но когда она, слабо шевеля хвостом и попрежнему изгибаясь, лизнула ему калошу, то он сердито топнул ногой.

— Пшла, чтоб ты издохла! — крикнул он. — Проклята-я!

Лыска отошла в сторону, села и уставилась своим единственным глазом на хозяина.

— Черти! — продолжал Зотов. — Вас еще недоставало, иродов, на мою голову!

И он с ненавистью поглядел на свой сарай с кривой поросшей крышей; там из двери сарайчика глядела на него большая лошадиная голова. Вероятно, польщенная вниманием хозяина, голова задвигалась, подалась вперед, и из сарая показалась целая лошадь, такая же дряхлая, как Лыска, такая же робкая и забитая, тонконогая, седая, с втянутым животом и костистой спиною. Она вышла из сарая и в нерешительности остановилась, точно сконфузилась.

— Провала на вас нет... — продолжал Зотов. — Не сгинули вы еще с глаз моих, фараоны каторжные... Небось кушать желаете! — усмехнулся он, кривя свое злое лицо презрительной улыбкой. — Извольте, сию минуту!

Для такого стоящего рысака овса самолучшего сколько угодно! Кушайте! Сию минуту! И великолепную дорогую собаку есть чем покормить! Ежели такая дорогая собака, как вы, хлеба не желаете, то говядинки можно.

Зотов ворчал с полчаса, раздражаясь все больше и больше; под конец он, не вынося накипевшей в нем злобы, вскочил, затопал калошами и забрюзжал на весь двор:

— Не обязан я кормить вас, дармоеды! Я не миллионщик какой, чтоб вы меня объедали и опивали! Мне самому есть нечего, одры поганые, чтоб вас холера забрала! Ни радости мне от вас, ни корысти, а одно только горе и разоренье! Почему вы не околеваете? Что вы за такие персоны, что вас даже и смерть не берет? Живите, черт с вами, но не желаю вас кормить! Довольно с меня! Не желаю!

Зотов возмущался, негодовал, а лошадь и собака слушали. Понимали ли эти два нахлебника, что их попрекают куском хлеба, — не знаю, но животы их еще более втянулись и фигуры съежились, потускнели и стали забитее... Их смиренный вид еще более раздражил Зотова.

— Вон! — закричал он, охваченный каким-то вдохновением. — Вон из моего дома! Чтоб и глаза мои вас не видели! Не обязан я у себя на дворе всякую дрянь держать! Вон!

Старик засеменил к воротам, отворил их и, подняв с земли палку, стал выгонять со двора своих нахлебников. Лошадь мотнула головой, задвигала лопатками и захромала в ворота; собака за ней. Обе вышли на улицу и, пройдя шагов двадцать, остановились у забора.

— Я вас! — пригрозил им Зотов.

Выгнав нахлебников, он успокоился и начал мести двор. Изредка он выглядывал на улицу: лошадь и собака как вкопанные стояли у забора и уныло глядели на ворота.

— Поживите-ка без меня! — ворчал старик, чувствуя, как у него от сердца отлегает злоба. — Пущай-ка кто другой поглядит теперь за вами! Я и скупой и злой... со мной скверно жить, так поживите с другим... Да...

Насладившись угнетенным видом нахлебников и досыта наворчавшись, Зотов вышел за ворота и, придав своему лицу свирепое выражение, крикнул:

— Ну, чего стоите? Кого ждете? Стали поперек дороги и мешают публике ходить! Пошли во двор!

Лошадь и собака понурили головы и с видом виноватых направились к воротам. Лыска, вероятно, чувствуя, что она не заслуживает прощения, жалобно завизжала.

— Жить живите, а уж насчет корма — накося, выкуси! — сказал Зотов, впуская их. — Хоть околевайте.

Между тем сквозь утреннюю мглу стало пробиваться солнце; его косые лучи заскользили по осенней измороси. Послышались голоса и шаги. Зотов поставил на место метлу и пошел со двора к своему куму и соседу Марку Иванычу, торговавшему в бакалейной лавочке. Придя к куму, он сел на складной стул, степенно вздохнул, погладил бороду и заговорил о погоде. С погоды кумовья перешли на нового диакона, с диакона на певчих — и беседа затянулась. Незаметно было за разговором, как шло время, а когда мальчишка-лавочник притащил большой чайник с кипятком и кумовья принялись пить чай, то время полетело быстро, как птица. Зотов согрелся, повеселел.

— А у меня к тебе просьба, Марк Иваныч, — начал он после шестого стакана, стуча пальцами по прилавку. — Уж ты того... будь милостив, дай и сегодня мне осьмушку овса.

Из-за большого чайного ящика, за которым сидел Марк Иваныч, послышался глубокий вздох.

— Дай, сделай милость, — продолжал Зотов. — Чаю, уж так и быть, не давай нынче, а овса дай... Конфузно просить, одолел уж я тебя своей бедностью, но... лошадь голодная.

— Дать-то можно, — вздохнул кум. — Отчего не дать? Но на кой леший, скажи на милость, ты этих одров держишь? Добро бы лошадь путевая была, а то — тьфу! глядеть совестно... А собака — чистый шкилет! На кой черт ты их кормишь?

— Куда же мне их девать?

— Известно куда. Сведи их к Игнату на живодерню — вот и вся музыка. Давно пора им там быть. Настоящее место.

— Так-то оно так!.. Оно пожалуй...

— Живешь Христа ради, а скотов держишь, — продолжал кум. — Мне овса не жалко... Бог с тобою, но уж

больше, брат, того... начетисто каждый день давать. Конца края нет твоей бедности! Даешь, даешь и не знаешь, когда всему этому конец придет.

Кум вздохнул и погладил себя по красному лицу.

— Помирал бы ты, что ли! — сказал он. — Живешь и сам не знаешь, для чего... Да ей-богу! А то, коли господь смерти не дает, шел бы ты куда ни на есть в богадельню или странноприютный дом.

— Зачем? У меня родня есть... У меня внучка...

И Зотов начал длинно рассказывать о том, что где-то на хуторе живет внучка Глаша, дочь племянницы Катерины.

— Она обязана меня кормить! — сказал он. — Ей мой дом останется, пущай же и кормит! Возьму и пойду к ней. Это, стало быть, понимаешь, Глаша... Катина дочка, а Катя, понимаешь, брата моего Пантелея падчерица... понял? Ей дом достанется... Пущай меня кормит!

— А что ж? Чем так, Христа ради жить, давно бы пошел к ней.

— И пойду! Накажи меня бог, пойду. Обязана!

Когда час спустя кумовья выпили по рюмочке, Зотов стоял посреди лавки и говорил с воодушевлением:

— Я давно к ней собираюсь! Сегодня же пойду!

— Оно конечно! Чем так шалтай-балтай ходить и с голоду околевать, давно бы на хутора пошел.

— Сейчас пойду! Приду и скажу: бери себе мой дом, а меня корми и почитай. Обязана! Коли не желаешь, так нет тебе ни дома, ни моего благословения! Прощай, Иваныч!

Зотов выпил еще рюмку и, вдохновленный новой мыслью, поспешил к себе домой... От водки его развезло, голова кружилась, но он не лег, а собрал в узел всю свою одежду, помолился, взял палку и пошел со двора. Без оглядки, бормоча и стуча о камни палкой, он прошел всю улицу и очутился в поле. До хутора было верст десять — двенадцать. Он шел по сухой дороге, глядел на городское стадо, лениво жевавшее желтую траву, и думал о резком перевороте в своей жизни, который он только что так решительно совершил. Думал он и о своих нахлебниках. Уходя из дома, он ворот не запер и таким образом дал им волю идти куда угодно.

Не прошел он по полю и версты, как позади послышались шаги. Он оглянулся и сердито всплеснул ру-

ками: за ним, понурив головы и поджав хвосты, тихо шли лошадь и Лыска.

— Пошли назад! — махнул он им.

Те остановились, переглянулись, поглядели на него. Он пошел дальше, они за ним. Тогда он остановился и стал размышлять. К полузнакомой внучке Глаше идти с этими тварями было невозможно, ворочаться назад и запереть их не хотелось, да и нельзя запереть, потому что ворота никуда не годятся.

«В сарае издохнут, — думал Зотов. — Нешто и впрямь к Игнату?»

Изба Игната стояла на выгоне, в шагах ста от шлагбаума. Зотов, еще не решивший окончательно и не зная, что делать, направился к ней. У него кружилась голова и темнело в глазах...

Мало он помнит из того, что произошло во дворе живодера Игната. Ему помнится противный тяжелый запах кожи, вкусный пар от щей, которые хлебал Игнат, когда он вошел к нему. Точно во сне он видел, как Игнат, заставив его прождать часа два, долго приготовлял что-то, переодевался, говорил с какой-то бабой о сулеме; помнится, что лошадь была поставлена в станок, после чего послышались два глухих удара: один по черепу, другой от падения большого тела. Когда Лыска, видя смерть своего друга, с визгом набросилась на Игната, то послышался еще третий удар, резко оборвавший визг. Далее Зотов помнит, что он, сдуру и спьяна, увидев два трупа, подошел к станку и подставил свой собственный лоб...

Потом до самого вечера его глаза заволакивало мутной пеленой, и он не мог разглядеть даже своих пальцев.

*1886*

## ЖИТЕЙСКАЯ МЕЛОЧЬ

Николай Ильич Беляев, петербургский домовладелец, бывающий часто на скачках, человек молодой, лет тридцати двух, упитанный розовый, как-то под вечер зашел к госпоже Ирниной, Ольге Ивановне, с которою он жил, или, по его выражению, тянул скучный и длинный роман. И в самом деле первые страницы этого романа, интересные и вдохновенные, давно уже были прочтены; теперь страницы тянулись и всё тянулись, не представляя ничего ни нового, ни интересного.

Не застав Ольги Ивановны дома, мой герой прилег в гостиной на кушетку и принялся ждать.

— Добрый вечер, Николай Ильич! — услышал он детский голос. — Мама сейчас придет. Она пошла с Соней к портнихе.

В той же гостиной на диване лежал сын Ольги Ивановны, Алеша, мальчик лет восьми, стройный, выхоленный, одетый по картинке в бархатную курточку и длинные черные чулки. Он лежал на атласной подушке и, очевидно, подражая акробату, которого недавно видел в цирке, задирал вверх то одну ногу, то другую. Когда утомлялись его изящные ноги, он пускал в ход руки или же порывисто вскакивал и становился на четвереньки, пытаясь стать вверх ногами. Все это проделывал он с самым серьезным лицом, мученически пыхтя, точно и сам не рад был, что бог дал ему такое беспокойное тело.

— А, здравствуй, мой друг! — сказал Беляев. — Это ты? А я тебя и не заметил. Мама здорова?

Алеша, взявшийся правой рукой за носок левой ноги и принявший самую неестественную позу, перевернулся, вскочил и выглянул из-за большого мохнатого абажура на Беляева.

— Как вам сказать? — сказал он и пожал плечами. — Ведь мама, в сущности, никогда не бывает здорова. Она ведь женщина, а у женщин, Николай Ильич, всегда что-нибудь болит.

Беляев от нечего делать стал рассматривать лицо Алеши. Раньше он во все время, пока был знаком с Ольгой Ивановной, ни разу не обратил внимания на мальчика и совершенно не замечал его существования: торчит перед глазами мальчик, а к чему он тут, какую роль играет — и думать об этом как-то не хочется.

В вечерних сумерках лицо Алеши с его бледным лбом и черными немигающими глазами неожиданно напомнило Беляеву Ольгу Ивановну, какою она была на первых страницах романа. И ему захотелось приласкать мальчика.

— Поди-ка сюда, клоп! — сказал он. — Дай-ка я на тебя поближе погляжу.

Мальчик прыгнул с дивана и подбежал к Беляеву.

— Ну? — начал Николай Ильич, кладя руку на его тощее плечо. — Что? Живешь?

— Как вам сказать? Прежде жилось гораздо лучше.

— Почему?

— Очень просто! Прежде мы с Соней занимались только музыкой и чтением, а теперь нам французские стихи задают. А вы недавно стриглись!

— Да, недавно.

— То-то я замечаю. У вас бородка стала короче. Позвольте мне за нее потрогать... Не больно?

— Нет, не больно.

— Отчего это, когда за один волосок тянешь, то больно, а когда тянешь за много волос, то ни капельки не больно? Ха, ха! А знаете, вы напрасно бакенов не носите. Тут вот пробрить, а с боков... вот тут вот оставить волосы...

Мальчик прижался к Беляеву и стал играть его цепочкой.

— Когда я поступлю в гимназию, — говорил он, — мама мне купит часы. Я ее попрошу, чтобы она мне такую же цепочку купила... Ка-кой ме-даль-он! У папы точно

такой же медальон, только у вас тут полосочки, а у него буквы... В середке у него портрет мамы. У папы теперь другая цепочка, не кольцами, а лентой...

— Откуда ты знаешь? Разве ты видаешь папу?

— Я? Мм... нет! Я...

Алеша покраснел и в сильном смущении, уличенный во лжи, стал усердно царапать ногтем медальон. Беляев пристально поглядел ему в лицо и спросил:

— Видаешь папу?

— Н... нет!..

— Нет, ты откровенно, по совести... По лицу ведь вижу, что говоришь неправду. Коли проболтался, так нечего уж тут вилять. Говори, видаешь? Ну, по-дружески!

Алеша задумался.

— А вы не скажете маме? — спросил он.

— Ну вот еще!

— Честное слово?

— Честное слово.

— Побожитесь!

— Ах, несносный какой! За кого ты меня принимаешь!

Алеша оглянулся, сделал большие глаза и зашептал:

— Только ради бога не говорите маме... Вообще никому не говорите, потому что тут секрет. Не дай бог, узнает мама, то достанется и мне, и Соне, и Пелагее... Ну, слушайте. С папой я и Соня видимся каждый вторник и пятницу. Когда Пелагея водит нас перед обедом гулять, то мы заходим в кондитерскую Апфеля, а там уж нас ждет папа... Он всегда в отдельной комнатке сидит, где, знаете, этакий мраморный стол и пепельница в виде гуся без спины...

— Что же вы там делаете?

— Ничего! Сначала здороваемся, потом все садимся за столик, и папа начинает угощать нас кофеем и пирожками. Соня, знаете, ест пирожки с мясом, а я терпеть не могу с мясом! Я люблю с капустой и с яйцами. Мы так наедаемся, что потом за обедом, чтобы мама не заметила, мы стараемся есть как можно больше.

— О чем же вы там говорите?

— С папой? Обо всем. Он нас целует, обнимает, рассказывает разные смешные остроты. Знаете, он говорит, что когда мы вырастем, то он возьмет нас к себе жить.

Соня не хочет, а я согласен. Конечно, без мамы будет скучно, но я ведь буду ей письма писать! Странное дело, можно будет даже по праздникам к ней с визитом приходить — не правда ли? Еще папа говорит, что он мне лошадь купит. Добрейший человек! Я не знаю, зачем это мама не позовет его к себе жить и запрещает нам видаться с ним. Ведь он очень любит маму. Всегда он нас спрашивает, как ее здоровье, что она делает. Когда она была больна, то он схватил себя за голову вот этак и... и все бегает, бегает. Все просит нас, чтоб мы слушались ее и почитали. Послушайте, правда, что мы несчастные?

— Гм... Почему же?

— Это папа говорит. Вы, говорит, несчастные дети. Даже слушать его странно. Вы, говорит, несчастные, я несчастный и мама несчастная. Молитесь, говорит, богу и за себя и за нее.

Алеша остановил свой взгляд на чучеле птицы и задумался.

— Так-с... — промычал Беляев. — Так вот вы, значит, как. В кондитерских конгрессы сочиняете. И мама не знает?

— Не-ет... Откуда же ей знать? Пелагея ведь ни за что не скажет. А позавчера папа нас грушами угощал. Сладкие, как варенье! Я две съел.

— Гм... Ну, а того... послушай, про меня папа ничего не говорит?

— Про вас? Как вам сказать?

Алеша пытливо поглядел в лицо Беляева и пожал плечами.

— Особенного ничего не говорит.

— Примерно, что говорит?

— А вы не обидитесь?

— Ну, вот еще! Разве он меня бранит?

— Он не бранит, но, знаете ли... сердится на вас. Он говорит, что через вас мама несчастна и что вы... погубили маму. Ведь он какой-то странный! Я ему растолковываю, что вы добрый, никогда не кричите на маму, а он только головой качает.

— Так-таки и говорит, что я ее погубил?

— Да. Вы не обижайтесь, Николай Ильич!

Беляев поднялся, постоял и заходил по гостиной.

— Это и странно и... смешно! — забормотал он, пожимая плечами и насмешливо улыбаясь. — Сам кругом

виноват, и я же погубил, а? Скажите, какой невинный барашек. Так-таки он тебе и говорил, что я погубил твою мать?

— Да, но... ведь вы же сказали, что не будете обижаться!

— Я не обижаюсь и... и не твое дело! Нет, это... это даже смешно! Я попал как кур во щи, и я же оказываюсь виноватым!

Послышался звонок. Мальчик рванулся с места и выбежал вон. Через минуту в гостиную вошла дама с маленькой девочкой — это была Ольга Ивановна, мать Алеши. За нею вприпрыжку, громко напевая и болтая руками, следовал Алеша. Беляев кивнул головой и продолжал ходить.

— Конечно, кого же теперь обвинять, как не меня?— бормотал он фыркая. — Он прав! Он оскорбленный муж!

— О чем ты это? — спросила Ольга Ивановна.

— О чем?.. А вот послушай-ка, какие штуки проповедует твой благоверный! Оказывается, что я подлец и злодей, я погубил и тебя и детей. Все вы несчастные, и один только я ужасно счастлив! Ужасно, ужасно счастлив!

— Я не понимаю, Николай! Что такое?

— А вот послушай сего юного сеньора! — сказал Беляев и указал на Алешу.

Алеша покраснел, потом вдруг побледнел, и все лицо его перекосило от испуга.

— Николай Ильич! — громко прошептал он. — Тссс!

Ольга Ивановна удивленно поглядела на Алешу, на Беляева, потом опять на Алешу.

— Спроси-ка! — продолжал Беляев. — Твоя Пелагея, этакая дура набитая, водит их по кондитерским и устраивает там свидания с папашенькой. Но не в этом дело, дело в том, что папашенька страдалец, а я злодей, я негодяй, разбивший вам обоим жизнь...

— Николай Ильич! — простонал Алеша. — Ведь вы дали честное слово!

— Э, отстань! — махнул рукой Беляев. — Тут поважнее всяких честных слов. Меня лицемерие возмущает, ложь!

— Не понимаю! — проговорила Ольга Ивановна, и слезы заблестели у нее на глазах. — Послушай, Лелька, — обратилась она к сыну, — ты видаешься с отцом?

Алеша не слышал ее и с ужасом глядел на Беляева.

— Не может быть! — сказала мать. — Пойду допрошу Пелагею.

Ольга Ивановна вышла.

— Послушайте, ведь вы честное слово дали! — проговорил Алеша, дрожа всем телом.

Беляев махнул на него рукой и продолжал ходить. Он был погружен в свою обиду и уже по-прежнему не замечал присутствия мальчика. Ему, большому и серьезному человеку, было совсем не до мальчиков. А Алеша уселся в угол и с ужасом рассказывал Соне, как его обманули. Он дрожал, заикался, плакал; это он первый раз в жизни лицом к лицу так грубо столкнулся с ложью; ранее же он не знал, что на этом свете, кроме сладких груш, пирожков и дорогих часов, существует еще и многое другое, чему нет названия на детском языке.

*1886*

## В СУДЕ

В уездном городе N-ске, в казенном коричневом доме, где, чередуясь, заседают земская управа, мировой съезд, крестьянское, питейное, воинское и многие другие присутствия, в один из пасмурных осенних дней разбирало наездом свои дела отделение окружного суда. Про названный коричневый дом один местный администратор сострил:

— Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция — совсем институт благородных девиц.

Но, вероятно, по пословице, что у семи нянек дитя бывает без глаза, этот дом поражает и гнетет свежего, нечиновного человека своим унылым казарменным видом, ветхостью и полным отсутствием какого бы то ни было комфорта как снаружи, так и внутри. Даже в самые яркие весенние дни он кажется покрытым густою тенью, а в светлые лунные ночи, когда деревья и обывательские домишки, слившись в одну сплошную тень, погружены в тихий сон, он один как-то нелепо и некстати, давящим камнем высится над скромным пейзажем, портит общую гармонию и не спит, точно не может отделаться от тяжелых воспоминаний о прошлых, непрощенных грехах. Внутри все сарайно и крайне непривлекательно. Странно бывает видеть, как все эти изящные прокуроры, члены, предводители, делающие у себя дома сцены из-за легкого чада или пятнышка на полу, легко мирятся здесь с жужжащими вентиляциями, противным запахом курительных свечек и с грязными, вечно потными стенами.

Заседание окружного суда началось в десятом часу. К разбирательству было приступлено немедленно, с за-

местной спешкой. Дела замелькали одно за другим и кончались быстро, как обедня без певчих, так что никакой ум не смог бы составить себе цельного, картинного впечатления от всей этой пестрой, бегущей, как полая вода, массы лиц, движений, речей, несчастий, правды, лжи... К двум часам было сделано многое: двоих присудили к арестантским ротам, одного привилегированного лишили прав и приговорили к тюрьме, одного оправдали, одно дело отложили.

Ровно в два часа председательствующий объявил к слушанию дело «по обвинению крестьянина Николая Харламова в убийстве своей жены». Состав суда остался тот же, что был и на предыдущем деле, только место защитника заняла новая личность — молодой, безбородый кандидат на судебные должности в сюртуке со светлыми пуговицами.

— Введите подсудимого! — распорядился председатель.

Но подсудимый, заранее приготовленный, уже шел к своей скамье. Это был высокий, плотный мужик лет пятидесяти пяти, совершенно лысый с апатичным волосатым лицом и с большой рыжей бородой. За ним следовал маленький тщедушный солдатик с ружьем.

Почти у самой скамьи с конвойным произошла маленькая неприятность. Он вдруг споткнулся и выронил из рук ружье, но тотчас же поймал его на лету, причем сильно ударился коленом о приклад. В публике послышался легкий смех. От боли или, быть может, от стыда за свою неловкость солдат густо покраснел.

После обычного опроса подсудимого, перетасовки присяжных, переклички и присяги свидетелей началось чтение обвинительного акта. Узкогрудый, бледнолицый секретарь, сильно похудевший для своего мундира и с пластырем на щеке, читал негромким, густым басом, быстро, по-дьячковски, не повышая и не понижая голоса, как бы боясь натрудить свою грудь; ему вторила вентиляция, неугомонно жужжавшая за судейским столом, и в общем получался звук, придававший зальной тишине усыпляющий, наркотический характер.

Председатель, не старый человек, с до крайности утомленным лицом и близорукий, сидел в своем кресле, не шевелясь и держа ладонь около лба, как бы заслоняя глаза от солнца. Под жужжанье вентиляции и

секретаря он о чем-то думал. Когда секретарь сделал маленькую передышку, чтобы начать с новой страницы, он вдруг встрепенулся и оглядел посовелыми глазами публику, потом нагнулся к уху своего соседа-члена и спросил со вздохом:

— Вы, Матвей Петрович, остановились у Демьянова?

— Да-с, у Демьянова, — ответил член, тоже встрепенувшись.

— В следующий раз, вероятно, и я у него остановлюсь. Помилуйте, у Типякова совсем нельзя останавливаться! Шум, гвалт всю ночь! Стучат, кашляют, детишки плачут... Невозможно!

Товарищ прокурора, полный упитанный брюнет, в золотых очках и с красивой, выхоленной бородой, сидел неподвижно, как статуя, и, подперев щеку кулаком, читал байроновского «Каина». Его глаза были полны жадного внимания, и брови удивленно приподнимались все выше и выше... Изредка он откидывался на спинку кресла, минуту безучастно глядел вперед себя и затем опять погружался в чтение. Защитник водил по столу тупым концом карандаша и, склонив голову набок, думал... Его молодое лицо не выражало ничего, кроме неподвижной, холодной скуки, какая бывает на лицах школьников и людей служащих, изо дня в день обязанных сидеть на одном и том же месте, видеть все те же лица, те же стены. Предстоящая речь его нисколько не волновала. Да и что такое эта речь? По приказанию начальства, по давно заведенному шаблону, чувствуя, что она бесцветна и скучна, без страсти и огня выпалит он ее перед присяжными, а там дальше — скакать по грязи и под дождем на станцию, оттуда в город, чтобы вскоре получить приказ опять ехать куда-нибудь в уезд, читать новую речь... скучно!

Подсудимый сначала нервно покашливал в рукав и бледнел, но скоро тишина, общая монотонность и скука сообщились и ему. Он тупо-почтительно глядел на судейские мундиры, на утомленные лица присяжных и покойно мигал глазами. Судебная обстановка и процедура, ожидание которых так томило его душу, когда он сидел в тюрьме, теперь подействовали на него самым успокаивающим образом. Он встретил здесь совсем не то, что мог ожидать. Над ним тяготело обвинение в убийстве, а между тем он не встретил здесь ни грозных лиц, ни не-

годующих взоров, ни громких фраз о возмездии, ни участия к своей необыкновенной судьбе; ни один из судящих не остановил на нем долгого, любопытного взгляда... Пасмурные окна, стены, голос секретаря, поза прокурора — все это было пропитано канцелярским равнодушием и дышало холодом, точно убийца составлял простую канцелярскую принадлежность или судили его не живые люди, а какая-то невидимая, бог знает кем заведенная машинка...

Успокоившийся мужик не понимал, что к житейским драмам и трагедиям здесь так же привыкли и присмотрелись, как в больнице к смертям, и что именно в этом-то машинном бесстрастии и кроется весь ужас и вся безвыходность его положения. Кажется, не сиди он смирно, а встань и начни умолять, взывать со слезами к милосердию, горько каяться, умри он с отчаяния — и все это разобьется о притупленные нервы и привычку, как волна о камень.

Когда секретарь кончил, председатель для чего-то погладил перед собою стол, долго щурил глаза на подсудимого и потом уж спросил, лениво двигая языком:

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновным в том, что в вечер девятого июня убили вашу жену?

— Никак нет, — ответил подсудимый, поднимаясь и придерживая на груди халат.

Вслед за этим суд торопливо приступил к допросу свидетелей. Были допрошены две бабы, пять мужиков и урядник, производивший дознание. Все они, обрызганные грязью, утомленные пешим хождением и ожиданием в свидетельской комнате, унылые и пасмурные, показали одно и то же. Они показали, что Харламов жил со своею старухой «хорошо», как все: бил ее только тогда, когда напивался. Девятого июня, когда село солнце, старуха была найдена в сенях с пробитым черепом; около нее в луже крови валялся топор. Когда хватились Николая, чтобы сообщить ему о несчастии, его не было ни в избе, ни на улице. Стали бегать по селу и искать, избегали все кабаки и избы, но его не нашли. Он исчез и дня через два сам явился в контору, бледный, оборванный, с дрожью во всем теле. Его связали и посадили в холодную.

— Подсудимый, — обратился председатель к Харламову, — не можете ли вы объяснить суду, где вы находились в эти два дня после убийства?

— По полю ходил... Не евши, не пивши...

— Зачем же вы скрылись, если не вы убивали?

— Испужался... Боялся, чтоб не засудили...

— Ага... Хорошо, садитесь!

Последним был допрошен уездный врач, вскрывавший покойную старуху. Он сообщил суду все, что помнил из своего протокола вскрытия и что успел придумать, идя утром в суд. Председатель щурил глаза на его новую, лоснящуюся черную пару, на щегольской галстук, на двигавшиеся губы, слушал, и в его голове как-то сама собою шевелилась ленивая мысль: «Теперь все ходят в коротких сюртуках, зачем же он сшил себе длинный? Почему именно длинный, а не короткий?»

Сзади председателя послышался осторожный скрип сапог. Это товарищ прокурора подошел к столу, чтобы взять какую-то бумагу.

— Михаил Владимирович, — нагнулся прокурор к уху председателя, — удивительно неряшливо этот Корейский вел следствие. Родной брат не допрошен, староста не допрошен, из описания избы ничего не поймешь...

— Что делать... что делать! — вздохнул председатель, откидываясь на спинку кресла. — Развалина... песочные часы!

— Кстати, — продолжал шептать товарищ прокурора, — обратите ваше внимание — в публике, на передней лавке, третий справа... актерская физиономия... Это местный денежный туз. Имеет около пятисот тысяч наличного капитала.

— Да? По фигуре незаметно... Что, голубушка, не сделать ли нам перерыв?

— Кончим следствие, тогда уж.

— Как знаете... Ну-с? — поднял председатель глаза на врача. — Так вы находите, что смерть была моментальная?

— Да, вследствие значительного повреждения мозгового вещества...

Когда врач кончил, председатель поглядел в пространство между прокурором и защитником и предложил:

— Не имеете ли что спросить?

Товарищ, не отрывая глаз от «Каина», отрицательно мотнул головой; защитник же неожиданно зашевелился и, откашлявшись, спросил:

— Скажите, доктор, по размерам раны можно ли бывает судить о... о душевном состоянии преступника? То есть я хочу спросить, размер повреждения дает ли право думать, что подсудимый находился в состоянии аффекта?

Председатель поднял свои сонные, равнодушные глаза на защитника. Прокурор оторвался от «Каина» и поглядел на председателя. Только поглядели, но ни улыбки, ни удивления, ни недоумения — ничего не выражали их лица.

— Пожалуй, — замялся врач, — если принимать в расчет силу, с какой... э-э-э... преступник наносит удар... Впрочем... извините, я не совсем понял ваш вопрос...

Защитник не получил ответа на свой вопрос, да и не чувствовал в нем надобности. Для него самого ясно было, что этот вопрос забрел в его голову и сорвался с языка только под влиянием тишины, скуки, жужжащей вентиляции.

Отпустив врача, суд занялся осмотром вещественных доказательств. Первым был осмотрен кафтан, на рукаве которого темнело бурое кровяное пятно. О происхождении этого пятна спрошенный Харламов показал:

— Дня за три до смерти старухи Пеньков своей лошади кровь бросал... Я там был, ну, известно, помогавши, и... и умазался...

— Однако Пеньков показал сейчас, что он не помнит, чтобы вы присутствовали при кровопускании...

— Не могу знать.

— Садитесь!

Приступили к осмотру топора, которым была убита старуха.

— Это не мой топор, — заявил подсудимый.

— Чей же?

— Не могу знать... У меня не было топора...

— Крестьянин одного дня не может обойтись без топора. И ваш сосед, Иван Тимофеич, с которым вы починяли сани, показал, что это именно ваш топор...

— Не могу знать, а только я, как перед богом (Харламов протянул вперед себя руку и растопырил пальцы)... как перед истинным создателем. И время

того не помню, чтобы у меня свой топор был. Был у меня такой же, словно как будто поменьше, да сын потерял, Прохор. Года за два перед тем, как ему на службу идтить, поехал за дровами, загулял с ребятами и потерял...

— Хорошо, садитесь!

Это систематическое недоверие и нежелание слушать, вероятно, раздражили и обидели Харламова. Он замигал глазами, и на скулах его выступили красные пятна.

— Как перед богом! — продолжал он, вытягивая шею. — Ежели не верите, то извольте сына Прохора спросить. Прошка, где топор? — вдруг спросил он грубым голосом, резко повернувшись к конвойному. — Где?

Это было тяжелое мгновение! Все как будто присели или стали ниже... Во всех головах, сколько их было в суде, молнией блеснула одна и та же страшная, невозможная мысль, мысль о могущей быть роковой случайности, и ни один человек не рискнул и не посмел взглянуть на лицо солдата. Всякий хотел не верить своей мысли и думал, что он ослышался.

— Подсудимый, говорить со стражей не дозволяется... — поспешил сказать председатель.

Никто не видел лица конвойного, и ужас пролетел по зале невидимкой, как бы в маске. Судебный пристав тихо поднялся с места и на цыпочках, балансируя рукой, вышел из залы. Через полминуты послышались глухие шаги и звуки, какие бывают при смене часовых.

Все подняли головы и, стараясь глядеть так, как будто бы ничего и не было, продолжали свое дело...

*1886*

## НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

Первый час ночи. Перед дверью Марьи Петровны Кошкиной, старой девы-акушерки, останавливается высокий господин в цилиндре и в шинели с капюшоном. В осенних потемках не отличишь ни лица, ни рук, но уже в манере покашливать и дергать за звонок слышится солидность, положительность и некоторая внушительность. После третьего звонка отворяется дверь и показывается сама Марья Петровна. На ней, поверх белой юбки, наброшено мужское пальто. Маленькая лампочка с зеленым колпаком, которую она держит в руках, красит в зелень ее заспанное, весноватое лицо, жилистую шею и жидкие рыжеватые волосики, выбивающиеся из-под чепца.

— Могу ли я видеть акушерку? — спрашивает господин.

— Я-с акушерка. Что вам угодно?

Господин входит в сени, и Марья Петровна видит перед собой высокого, стройного мужчину, уже не молодого, но с красивым, строгим лицом и с пушистыми бакенами.

— Я коллежский асессор Кирьяков, — говорит он. — Пришел я просить вас к своей жене. Только, пожалуйста, поскорее.

— Хорошо-с... — соглашается акушерка. — Я сейчас оденусь, а вы потрудитесь подождать меня в зале.

Кирьяков снимает шинель и входит в залу. Зеленый свет лампочки скудно ложится на дешевую мебель в белых заплатанных чехлах, на жалкие цветы, на косяки, по которым вьется плющ... Пахнет геранью и карболкой.

Стенные часики тикают робко, точно конфузясь перед посторонним мужчиной.

— Я готова-с! — говорит Марья Петровна, входя минут через пять в залу, уже одетая, умытая и бодрая. — Поедемте-с!

— Да, надо спешить... — говорит Кирьяков. — Между прочим, не лишний вопрос: сколько вы возьмете за труды?

— Я, право, не знаю... — конфузливо улыбается Марья Петровна. — Сколько дадите...

— Нет, я этого не люблю, — говорит Кирьяков, холодно и неподвижно глядя на акушерку. — Договор лучше денег. Мне не нужно вашего, вам не нужно моего. Во избежание недоразумений нам разумнее уговориться заранее.

— Я, право, не знаю... Определенной цены нет.

— Я сам тружусь и привык ценить чужой труд. Несправедливости я не люблю. Для меня одинаково будет неприятно, если я вам не доплачу или если вы с меня потребуете лишнее, а потому я настаиваю на том, чтобы вы назвали вашу цену.

— Ведь цены разные бывают!

— Гм!.. Ввиду ваших колебаний, которые мне непонятны, я сам должен назначить цену. Дать вам я могу два рубля.

— Что вы, помилуйте!.. — говорит Марья Петровна, краснея и пятясь назад. — Мне даже совестно... Чем два рубля брать, так я уж лучше даром. Извольте, за пять рублей...

— Два рубля, ни копейки больше. Вашего мне не нужно, но и лишнее платить я не намерен.

— Как вам угодно-с, но за два рубля я не поеду...

— Но по закону вы не имеете права отказываться.

— Извольте, я задаром поеду.

— Даром я не хочу. Каждый труд должен быть вознаграждаем. Я сам тружусь и понимаю...

— За два рубля не поеду-с... — кротко заявляет Марья Петровна. — Извольте, задаром...

— В таком случае очень жалею, что напрасно обеспокоил... Честь имею кланяться.

— Какие вы, право... — говорит акушерка, провожая Кирьякова в переднюю. — Если уж вам так угодно, то извольте, я за три рубля поеду.

Кирьяков хмурится и думает целых две минуты, сосредоточенно глядя на пол, потом говорит решительно «нет!» и выходит на улицу. Удивленная и сконфуженная акушерка запирает за ним дверь и идет к себе в спальню.

«Красивый, солидный, но какой странный, бог с ним...» — думает она, ложась.

Но не проходит и получаса, как опять звонок; она поднимается и видит в передней того же Кирьякова.

— Удивительные беспорядки! — говорит он. — Ни в аптеке, ни городовые, ни дворники — никто не знает адресов акушерок, и таким образом я поставлен в необходимость согласиться на ваши условия. Я дам вам три рубля, но... предупреждаю, что, нанимая прислугу и вообще пользуясь чьими-либо услугами, я заранее уславливаюсь, чтобы при расплате не было разговоров о прибавках, на чай и проч. Каждый должен получать свое.

Марья Петровна недолго слушала Кирьякова, но уже чувствует, что он надоел ей, опротивел, что его ровная, мерная речь тяжестью ложится ей на душу. Она одевается и выходит с ним на улицу. В воздухе тихо, но холодно и так пасмурно, что даже фонарные огни еле видны. Под ногами всхлипывает слякоть. Акушерка всматривается и не видит извозчика...

— Вероятно, недалеко? — спрашивает она.

— Недалеко, — угрюмо отвечает Кирьяков.

Проходят один переулок, другой, третий... Кирьяков шагает, и даже в походке его сказывается солидность и положительность.

— Какая ужасная погода! — заговаривает с ним акушерка.

Но он солидно молчит и заметно старается идти по гладким камням, чтобы не испортить калош. Наконец после долгой ходьбы акушерка входит в переднюю; оттуда видна большая, прилично убранная зала. В комнатах, даже в спальне, где лежит роженица, ни души... Родственников и старух, которыми на всяких родинах хоть пруд пруди, тут не видно. Мечется, как угорелая, одна только кухарка с тупым, испуганным лицом. Слышны громкие стоны.

Проходит три часа. Марья Петровна сидит у кровати роженицы и шепчет о чем-то. Обе женщины уже

успели познакомиться, узнали друг друга, посудачили, поахали...

— Вам нельзя говорить! — тревожится акушерка, а сама так и сыплет вопросами.

Но вот открывается дверь, и тихо, солидно входит в спальню сам Кирьяков. Он садится на стул и поглаживает бакены. Наступает молчание... Марья Петровна робко поглядывает на его красивое, но бесстрастное, деревянное лицо и ждет, когда он начнет говорить. Но он упорно молчит и о чем-то думает. Не дождавшись, акушерка решается сама начать разговор и произносит фразу, какую обыкновенно говорят на родинах:

— Ну, вот и слава богу, одним человеком на этом свете больше!

— Да, приятно, — говорит Кирьяков, сохраняя деревянное выражение лица, — хотя, впрочем, с другой стороны, чтобы иметь лишних детей, нужно иметь лишние деньги. Ребенок не родится сытым и одетым.

На лице у роженицы показывается виноватое выражение, точно она произвела на свет живое существо без позволения или из пустой прихоти. Кирьяков со вздохом поднимается и солидно выходит.

— Какой он у вас, бог с ним.... — говорит акушерка роженице. — Строгий такой и не улыбнется...

Роженица рассказывает, что *он* у нее всегда такой... Он честен, справедлив, рассудителен, разумно экономен, но все это в таких необыкновенных размерах, что простым смертным делается душно. Родня разошлась с ним, прислуга не живет больше месяца, знакомых нет, жена и дети вечно напряжены от страха за каждый свой шаг. Он не дерется, не кричит, добродетелей у него гораздо больше, чем недостатков, но когда он уходит из дому, все чувствуют себя здоровее и легче. Отчего это так, роженица и сама не может понять.

— Нужно тазы вычистить хорошенько и поставить их в кладовую, — говорит Кирьяков, опять входя в спальню. — Эти флаконы тоже нужно спрятать: пригодятся.

То, что он говорит, очень просто и обыкновенно, но акушерка почему-то чувствует оторопь. Она начинает бояться этого человека и вздрагивает всякий раз, когда слышит его шаги. Утром, собираясь уходить, она видит, как в столовой маленький сын Кирьякова, бледный,

стриженый гимназист, пьет чай... Против него стоит Кирьяков и говорит своим мерным, ровным голосом:

— Ты умеешь есть, умей же и работать. Ты вот сейчас глотнул, но не подумал, вероятно, что этот глоток стоит денег, а деньги добываются трудом. Ты ешь и думай...

Акушерка глядит на тупое лицо мальчика, и ей кажется, что даже воздуху тяжело, что еще немного — и стены упадут, не вынося давящего присутствия необыкновенного человека. Не помня себя от страха и уже чувствуя сильную ненависть к этому человеку, Марья Петровна берет свои узелки и торопливо уходит.

На полдороге она вспоминает, что забыла получить свои три рубля, но, постояв немного и подумав, машет рукой и идет дальше.

*1886*

## МЕЧТЫ

Двое сотских — один чернобородый, коренастый, на необыкновенно коротких ножках, так что если взглянуть на него сзади, то кажется, что у него ноги начинаются гораздо ниже, чем у всех людей; другой длинный, худой и прямой, как палка, с жидкой бороденкой темно-рыжего цвета — конвоируют в уездный город бродягу, не помнящего родства. Первый идет вразвалку, глядит по сторонам, жует то соломинку, то свой рукав, хлопает себя по бедрам и мурлычет, вообще имеет вид беспечный и легкомысленный; другой же, несмотря на свое тощее лицо и узкие плечи, выглядит солидным, серьезным и основательным, складом и выражением всей своей фигуры походит на старообрядческих попов или тех воинов, каких пишут на старинных образах; ему «за мудрость бог лба прибавил», то есть он плешив, что еще больше увеличивает помянутое сходство. Первого зовут Андрей Птаха, второго — Никандр Сапожников.

Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеется у каждого о бродягах. Это маленький тщедушный человек, слабосильный и болезненный, с мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами лица. Брови у него жиденькие, взгляд покорный и кроткий, усы еле пробиваются, хотя бродяга уже перевалил за тридцать. Он шагает несмело, согнувшись и засунув руки в рукава. Воротник его не мужицкого, драпового, с потертой ворсой пальтишка приподнят до самых краев фуражки, так что только один красный носик осмеливается глядеть на

свет божий. Говорит он заискивающим тенорком, то и дело покашливает. Трудно, очень трудно признать в нем бродягу, прячущего свое родное имя. Скорее это обнищавший, забытый богом попович-неудачник, прогнанный за пьянство писец, купеческий сын или племянник, попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой, чтобы разыграть последний акт из притчи о блудном сыне; быть может, судя по тому тупому терпению, с каким он борется с осеннею невылазной грязью, это фанатик — монастырский служка, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий «жития мирна и безгрешна» и не находящий...

Путники давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Впереди них сажен пять грязной, черно-бурой дороги, позади столько же, а дальше, куда ни взглянешь, непроглядная стена белого тумана. Они идут, идут, но земля все та же, стена не ближе, и клочок остается клочком. Мелькнет белый угловатый булыжник, буерак или охапка сена, оброненная проезжим, блеснет ненадолго большая мутная лужа, а то вдруг неожиданно впереди покажется тень с неопределенными очертаниями; чем ближе к ней, тем она меньше и темнее, еще ближе — и перед путниками вырастает погнувшийся верстовой столб с потертой цифрой или же жалкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев, один листок сорвется и лениво полетит к земле... А там опять туман, грязь, бурая трава по краям дороги. На траве виснут тусклые, недобрые слезы. Это не те слезы тихой радости, какими плачет земля, встречая и провожая летнее солнце, и какими поит она на заре перепелов, дергачей и стройных, длинноносых кроншнепов! Ноги путников вязнут в тяжелой, липкой грязи. Каждый шаг стоит напряжения.

Андрей Птаха несколько возбужден. Он оглядывает бродягу и силится понять, как это живой, трезвый человек может не помнить своего имени.

— Да ты православный? — спрашивает он.

— Православный, — кротко отвечает бродяга.

— Гм!.. стало быть, тебя крестили?

— А то как же? Я не турок. И в церковь я хожу, и говею, и скоромного не кушаю, когда не велено. Религию я исполняю в точности...

— Ну, так как же тебя звать?

— А зови, как хочешь, парень.

Птаха пожимает плечами и в крайнем недоумении хлопает себя по бедрам. Другой же сотский, Никандр Сапожников, солидно молчит. Он не так наивен, как Птаха, и, по-видимому, отлично знает причины, побуждающие православного человека скрывать от людей свое имя. Выразительное лицо его холодно и строго. Он шагает особняком, не снисходит до праздной болтовни с товарищами и как бы старается показать всем, даже туману, свою степенность и рассудительность.

— Бог тебя знает, как об тебе понимать надо, — продолжает приставать Птаха. — Мужик — не мужик, барин — не барин, а так, словно середка какая... Намеднись в пруде я решета мыл и поймал такую вот, с палец, гадючку с зебрами и хвостом. Спервоначалу думал, что оно рыба, потом гляжу — чтоб ты издохла! — лапки есть. Не то она рыбина, не то гадюка, не то черт его разберет, что оно такое... Так вот и ты... Какого ты звания?

— Я мужик, крестьянского рода, — вздыхает бродяга. — Моя маменька из крепостных дворовых были. С виду я не похож на мужика, это точно, потому мне такая судьба вышла, добрый человек. Моя маменька при господах в нянюшках жили и всякое удовольствие получали, ну, а я плоть и кровь ихняя, при них состоял в господском доме. Нежили они меня, баловали и на ту точку били, чтоб меня из простого звания в хорошие люди вывесть. Я на кровати спал, каждый день настоящий обед кушал, брюки и полусапожки носил на манер какого дворянчика. Что маменька сами кушали, тем и меня кормили; им господа на платье подарят, а оне меня одевают... Хорошо жилось! Сколько я конфетов и пряников на своем ребячьем веку перекушал, так это ежели теперь продать, можно хорошую лошадь купить. Грамоте меня маменька обучили, страх божий сызмальства внушили и так меня приспособили, что я теперя не могу никакого мужицкого, неделикатного слова сказать. И водки, парень, не пью, и одеваюсь чисто, и могу в хорошем обществе себя содержать в приличном виде. Коли еще живы, то дай бог им здоровья, а ежели померли, то упокой, господи, их душечку в царствии твоем, идеже праведные упокояются!

Бродяга обнажает голову с торчащей на ней редкой щетинкой, поднимает кверху глаза и осеняет себя дважды крестным знамением.

— Пошли ей, господи, место злачно, место покойно! — говорит он протяжным, скорее старушечьим, чем мужским, голосом. — Научи ее, господи, рабу твою Ксению, оправданием твоим! Ежели б не маменька любезная, быть бы мне в простых мужиках, без всякого понятия! Теперя, парень, о чем меня ни спроси, я все понимаю: и светское писание, и божественное, и всякие молитвы, и катихизиц. И живу по писанию... Людей не забижаю, плоть содержу в чистоте и целомудрии, посты соблюдаю, кушаю во благовремении. У другого какого человека только и есть удовольствия, что водка и горлобесие, а я, коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку. Читаю и все плачу, плачу...

— Чего ж ты плачешь?

— Пишут жалостно! За иную книжечку пятачок дашь, а плачешь и стенаешь до чрезвычайности.

— Отец твой помер? — спрашивает Птаха.

— Не знаю, парень. Не знаю я своего родителя, нечего греха таить. Я так об себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконнорожденное дите. Моя маменька весь свой век при господах жили и не желали за простого мужика выйтить...

— И на барина налетела, — усмехается Птаха.

— Не соблюли себя, это точно. Были они благочестивые, богобоязненные, но девства не сохранили. Оно, конечно, грех, великий грех, что и говорить, но зато, может, во мне дворянская кровь есть. Может, только по званию я мужик, а в естестве благородный господин.

Говорит все это «благородный господин» тихим, слащавым тенорком, морща свой узенький лобик и издавая красным озябшим носиком скрипящие звуки. Птаха слушает, удивленно косится на него и не перестает пожимать плечами.

Пройдя верст шесть, сотские и бродяга садятся на бугорке отдохнуть.

— Собака и то свою кличку помнит, — бормочет Птаха. — Меня звать Андрюшка, его — Никандра, у каждого человека свое святое имя есть, и никак это имя забыть нельзя! Никак!

— Кому какая надобность мое имя знать? — вздыхает бродяга, подпирая кулачком щеку. — И какая мне от этого польза? Ежели б мне дозволили идти, куда я хочу, а то ведь хуже теперешнего будет. Я, братцы православные, знаю закон. Теперя я бродяга, не помнящий родства, и самое большее, ежели меня в Восточную Сибирь присудят и тридцать не то сорок плетей дадут, а ежели я им свое настоящее имя и звание скажу, то опять они меня в каторжную работу пошлют. Я знаю!

— А нешто ты был в каторжной работе?

— Был, друг милый. Четыре года с бритой головой ходил и кандалы носил.

— За какое дело?

— За душегубство, добрый человек! Когда я еще мальчишком был, этак годов восемнадцати, маменька моя по нечаянности барину заместо соды и кислоты мышьяку в стакан всыпали. Коробок разных в кладовой много было, перепутать нетрудно...

Бродяга вздыхает, покачивает головой и говорит:

— Они благочестивые были, но кто их знает, чужая душа — дремучий лес! Может, по нечаянности, а может, не могли в душе своей той обиды стерпеть, что барин к себе новую слугу приблизил... Может, нарочно ему всыпали, бог знает! Мал я был тогда и не понимал всего... Теперь я помню, что барин действительно взял себе другую наложницу и маменька сильно огорчались. Почитай, нас потом года два судили... Маменьку осудили на каторгу на двадцать лет, меня за мое малолетство только на семь.

— А тебя за что?

— Как пособника. Стакан-то барину я подавал. Всегда так было: маменька приготовляли соду, а я подавал. Только, братцы, все это я вам по-христиански говорю, как перед богом, вы никому не рассказывайте...

— Ну, нас и спрашивать никто не станет, — говорит Птаха. — Так ты, значит, бежал с каторги, что ли?

— Бежал, друг милый. Нас человек четырнадцать бежало. Дай бог здоровья, люди и сами бежали и меня с собой прихватили. Теперь ты рассуди, парень, по совести, какой мне резон звание свое открывать? Ведь меня опять в каторгу пошлют! А какой я каторжник? Я человек нежный, болезненный, люблю в чистоте и поспать и покушать. Когда богу молюсь, я люблю лампа-

дочку или свечечку засветить, и чтоб кругом шуму не было. Когда земные поклоны кладу, чтоб на полу насорено и наплевано не было. А я за маменьку сорок поклонов кладу утром и вечером.

Бродяга снимает фуражку и крестится.

— А в Восточную Сибирь пущай ссылают, — говорит он, — я не боюсь!

— Нешто это лучше?

— Совсем другая статья! В каторге ты все равно, что рак в лукошке: теснота, давка, толчея, духу перевести негде — сущий ад, такой ад, что и не приведи царица небесная! Разбойник ты и разбойничья тебе честь, хуже собаки всякой. Ни покушать, ни поспать, ни богу помолиться. А на поселении не то. На поселении перво-наперво я к обществу припишусь на манер прочих. По закону начальство обязано мне пай дать... да-а! Земля там, рассказывают, нипочем, все равно как снег: бери, сколько желаешь! Дадут мне, парень, землю и под пашню, и под огород, и под жилье... Стану я, как люди, пахать, сеять, скот заведу и всякое хозяйство, пчелок, овечек, собак... Кота сибирского, чтоб мыши и крысы добра моего не ели... Поставлю сруб, братцы, образов накуплю... Бог даст, оженюсь, деточки у меня будут.

Бродяга бормочет и глядит не на слушателей, а куда-то в сторону. Как ни наивны его мечтания, но они высказываются таким искренним, задушевным тоном, что трудно не верить им. Маленький ротик бродяги перекосило улыбкой, а все лицо, и глаза, и носик застыли и отупели от блаженного предвкушения далекого счастья. Сотские слушают и глядят на него серьезно, не без участия. Они тоже верят.

— Не боюсь я Сибири, — продолжает бормотать бродяга. — Сибирь — такая же Россия, такой же бог и царь, что и тут, так же там говорят по-православному, как и я с тобой. Только там приволья больше и люди богаче живут. Все там лучше. Тамошние реки, к примеру взять, куда лучше тутошних! Рыбы, дичины этой самой — видимо-невидимо! А мне, братцы, наипервейшее удовольствие — рыбку ловить. Хлебом меня не корми, а только дай с удочкой посидеть. Ей-богу. Ловлю я и на удочку, и на жерлицу, и верши ставлю, а когда лед идет — наметкой ловлю. Силы-то у меня нету,

чтоб наметкой ловить, так я мужика за пятачок нанимаю. И господи, что оно такое за удовольствие! Поймаешь налима или голавля какого-нибудь, так словно брата родного увидел. И, скажи пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть: одну на живца ловишь, другую на выползка, третью на лягушку или кузнечика. Все ведь это понимать надо! К примеру сказать, налим. Налим рыба неделикатная, она и ерша хватит, щука — пескаря любит, шилишпер — бабочку. Голавля, ежели на бырком месте ловить, то нет лучше и удовольствия. Пустишь леску саженей в десять без грузила, с бабочкой или с жуком, чтоб приманка поверху плавала, стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению, а голавль — дерг! Только тут так норовить надо, чтоб он, проклятый, приманку не сорвал. Как только он джигнул тебе за леску, так и подсекай, нечего ждать. Страсть, сколько я на своем веку рыбы переловил! Когда вот в бегах были, прочие арестанты спят в лесу, а мне не спится, норовлю к реке. А реки там широкие, быстрые, берега крутые — страсть! По берегу все леса дремучие. Деревья такие, что взглянешь на маковку, и голова кружится. Ежели по тутошним ценам, то за каждую сосну можно рублей десять дать.

Под беспорядочным напором грез, художественных образов прошлого и сладкого предчувствия счастья жалкий человек умолкает и только шевелит губами, как бы шепчась с самим собой. Тупая, блаженная улыбка не сходит с его лица. Сотские молчат. Они задумались и поникли головами. В осеннюю тишину, когда холодный, суровый туман с земли ложится на душу, когда он тюремной стеною стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли, сладко бывает думать о широких, быстрых реках с привольными, крутыми берегами, о непроходимых лесах, безграничных степях. Медленно и покойно рисует воображение, как ранним утром, когда с неба еще не сошел румянец зари, по безлюдному, крутому берегу маленьким пятном пробирается человек; вековые мачтовые сосны, громоздящиеся террасами по обе стороны потока, сурово глядят на вольного человека и угрюмо ворчат; корни, громадные камни и колючий кустарник заграждают ему путь, но он силен плотью и бодр духом, не боится ни со-

сен, ни камней, ни своего одиночества, ни раскатистого эхо, повторяющего каждый его шаг.

Сотские рисуют себе картины вольной жизни, какою они никогда не жили; смутно ли припоминают они образы давно слышанного, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далеких вольных предков, бог знает!

Первый прерывает молчание Никандр Сапожников, который доселе не проронил еще ни одного слова. Позавидовал ли он призрачному счастью бродяги, или, может быть, в душе почувствовал, что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью, но только он сурово глядит на бродягу и говорит:

— Так-то оно так, все оно хорошо, только, брат, не доберешься ты до привольных местов. Где тебе? Верст триста пройдешь и богу душу отдашь. Вишь, ты какой дохлый! Шесть верст прошел только, а никак отдышаться не можешь!

Бродяга медленно поворачивается в сторону Никандра, и блаженная улыбка исчезает с его лица. Он глядит испуганно и виновато на степенное лицо сотского, по-видимому, припоминает что-то и поникает головой. Опять наступает молчание... Все трое думают. Сотские напрягают ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве один только бог, а именно то страшное пространство, которое отделяет их от вольного края. В голове же бродяги теснятся картины ясные, отчетливые и более страшные, чем пространство. Перед ним живо вырастают судебная волокита, пересыльные и каторжные тюрьмы, арестантские барки, томительные остановки на пути, студеные зимы, болезни, смерти товарищей...

Бродяга виновато моргает глазами, вытирает рукавом лоб, на котором выступают мелкие капли, и отдувается, как будто только что выскочил из жарко натопленной бани, потом вытирает лоб другим рукавом и боязливо оглядывается.

— И впрямь тебе не дойтить! — соглашается Птаха. — Какой ты ходок? Погляди на себя: кожа да кости! Умрешь, брат!

— Известно, помрет! Где ему! — говорит Никандр. — Его и сейчас в гошпиталь положут... Верно!

Не помнящий родства с ужасом глядит на строгие, бесстрастные лица своих зловещих спутников и, не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится... Он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили...

— Ну, пора идти, — говорит Никандр, поднимаясь. — Отдохнули!

Через минуту путники уже шагают по грязной дороге. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Птаха молчит.

*1886*

## ОРАТОР

В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершего от двух болезней, столь распространенных в нашем отечестве: от злой жены и алкоголизма. Когда погребальная процессия двинулась от церкви к кладбищу, один из сослуживцев покойного, некто Поплавский, сел на извозчика и поскакал к своему приятелю Григорию Петровичу Запойкину, человеку молодому, но уже достаточно популярному. Запойкин, как известно многим читателям, обладает редким талантом произносить экспромтом свадебные, юбилейные и похоронные речи. Он может говорить когда угодно: спросонок, натощак, в мертвецки пьяном виде, в горячке. Речь его течет гладко, ровно, как вода из водосточной трубы, и обильно; жалких слов в его ораторском словаре гораздо больше, чем в любом трактире тараканов. Говорит он всегда красноречиво и длинно, так что иногда, в особенности на купеческих свадьбах, чтобы остановить его, приходится прибегать к содействию полиции.

— А я, братец, к тебе! — начал Поплавский, застав его дома. — Сию же минуту одевайся и едем. Умер один из наших, сейчас его на тот свет отправляем, так надо, братец, сказать на прощанье какую-нибудь чепуховину... На тебя вся надежда. Умри кто-нибудь из маленьких, мы не стали бы тебя беспокоить, а то ведь секретарь... канцелярский столп, некоторым образом. Неловко такую шишку без речи хоронить.

— А, секретарь! — зевнул Запойкин. — Это пьяница-то?

— Да, пьяница. Блины будут, закуска... на извозчика получишь. Поедем, душа! Разведи там на могиле какую-нибудь мантифолию поцицеронистей, а уж какое спасибо получишь!

Запойкин охотно согласился. Он взъерошил волосы, напустил на лицо меланхолию и вышел с Поплавским на улицу.

— Знаю я вашего секретаря, — сказал он, садясь на извозчика. — Пройдоха и бестия, царство ему небесное, каких мало.

— Ну, не годится, Гриша, ругать покойников.

— Оно конечно, aut mortuis nihil bene [1], но все-таки он жулик.

Приятели догнали похоронную процессию и присоединились к ней. Покойника несли медленно, так что до кладбища они успели раза три забежать в трактир и пропустить за упокой души по маленькой.

На кладбище была отслужена лития. Теща, жена и свояченица, покорные обычаю, много плакали. Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула: «Пустите меня к нему!» — но в могилу за мужем не пошла, вероятно, вспомнив о пенсии. Дождавшись, когда все утихло, Запойкин выступил вперед, обвел всех глазами и начал:

— Верить ли глазам и слуху? Не страшный ли сон сей гроб, эти заплаканные лица, стоны и вопли! Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас! Тот, которого мы еще так недавно видели столь бодрым, столь юношески свежим и чистым, который так недавно на наших глазах, наподобие неутомимой пчелы, носил свой мед в общий улей государственного благоустройства, тот, который... этот самый обратился теперь в прах, в вещественный мираж. Неумолимая смерть наложила на него коснеющую руку в то время, когда он, несмотря на свой согбенный возраст, был еще полон расцвета сил и лучезарных надежд. Незаменимая потеря! Кто заменит нам его? Хороших чиновников у нас много, но Прокофий Осипыч был единственный. Он до глубины души был предан своему честному долгу, не щадил сил, не спал ночей, был бескорыстен, неподкупен...

---

[1] Искаженное латинское выражение de mortuis aut bene aut nihil — о мертвых либо ничего, либо хорошо.

Как презирал он тех, кто старался в ущерб общим интересам подкупить его, кто соблазнительными благами жизни пытался вовлечь его в измену своему долгу! Да, на наших глазах Прокофий Осипыч раздавал свое небольшое жалованье своим беднейшим товарищам, и вы сейчас сами слышали вопли вдов и сирот, живших его подаяниями. Преданный служебному долгу и добрым делам, он не знал радостей в жизни и даже отказал себе в счастии семейного бытия; вам известно, что до конца дней своих он был холост! А кто нам заменит его как товарища? Как сейчас вижу бритое умиленное лицо, обращенное к нам с доброй улыбкой, как сейчас слышу его мягкий, нежно-дружеский голос. Мир праху твоему, Прокофий Осипыч! Покойся, честный, благородный труженик!

Запойкин продолжал, а слушатели стали шушукаться. Речь понравилась всем, выжала несколько слез, но многое показалось в ней странным. Во-первых, непонятно было, почему оратор называл покойника Прокофием Осиповичем, в то время когда того звали Кириллом Ивановичем. Во-вторых, всем известно было, что покойный всю жизнь воевал со своей законной женой, а стало быть, не мог называться холостым; в-третьих, у него была густая рыжая борода, отродясь он не брился, а потому непонятно, чего ради оратор назвал его лицо бритым. Слушатели недоумевали, переглядывались и пожимали плечами.

— Прокофий Осипыч! — продолжал оратор вдохновенно, глядя в могилу. — Твое лицо было некрасиво, даже безобразно, ты был угрюм и суров, но все мы знали, что под сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце!

Скоро слушатели стали замечать нечто странное и в самом ораторе. Он уставился в одну точку, беспокойно задвигался и стал сам пожимать плечами. Вдруг он умолк, разинул удивленно рот и обернулся к Поплавскому.

— Послушай, он жив! — сказал он, глядя с ужасом.

— Кто жив?

— Да Прокофий Осипыч! Вон он стоит около памятника!

— Он и не умирал! Умер Кирилл Иваныч!

— Да ведь ты же сам сказал, что у вас секретарь помер!

— Кирилл Иваныч и был секретарь. Ты, чудак, перепутал! Прокофий Осипыч, это верно, был у нас прежде секретарем, но его два года назад во второе отделение перевели столоначальником.

— А, черт вас разберет!

— Что же остановился? Продолжай, неловко!

Запойкин обернулся к могиле и с прежним красноречием продолжал прерванную речь. У памятника действительно стоял Прокофий Осипыч, старый чиновник с бритой физиономией. Он глядел на оратора и сердито хмурился.

— И как это тебя угораздило! — смеялись чиновники, когда вместе с Запойкиным возвращались с похорон. — Живого человека похоронил.

— Нехорошо-с, молодой человек! — ворчал Прокофий Осипыч. — Ваша речь, может быть, годится для покойника, но в отношении живого она — одна насмешка-с! Помилуйте, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взяток не берет! Ведь про живого человека это можно говорить только в насмешку-с. И никто вас, сударь, не просил распространяться про мое лицо. Некрасив, безобразен, так тому и быть, но зачем всенародно мою физиономию на вид выставлять? Обидно-с!

*1886*

## ВАНЬКА

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно

почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость,

возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда выросту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

*На деревню дедушке.*

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

*1886*

## ШАМПАНСКОЕ

*Рассказ проходимца*

В тот год, с которого начинается мой рассказ, я служил начальником полустанка на одной из наших юго-западных железных дорог. Весело мне жилось на полустанке или скучно, вы можете видеть из того, что на двадцать верст вокруг не было ни одного человеческого жилья, ни одной женщины, ни одного порядочного кабака, а я в те поры был молод, крепок, горяч, взбалмошен и глуп. Единственным развлечением могли быть только окна пассажирских поездов да поганая водка, в которую жиды подмешивали дурман. Бывало, мелькнет в окне вагона женская головка, а ты стоишь, как статуя, не дышишь и глядишь до тех пор, пока поезд не обратится в едва видимую точку; или же выпьешь, сколько влезет, противной водки, очертенеешь и не чувствуешь, как бегут длинные часы и дни. На меня, уроженца севера, степь действовала, как вид заброшенного татарского кладбища. Летом она со своим торжественным покоем — этот монотонный треск кузнечиков, прозрачный лунный свет, от которого никуда не спрячешься, — наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная белизна степи, ее холодная даль, длинные ночи и волчий вой давили меня тяжелым кошмаром.

На полустанке жило несколько человек: я с женой, глухой и золотушный телеграфист да три сторожа. Мой помощник, молодой чахоточный человек, ездил лечиться

в город, где жил по целым месяцам, предоставляя мне свои обязанности вместе с правом пользоваться его жалованьем. Детей у меня не было, гостей, бывало, ко мне никаким калачом не заманишь, а сам я мог ездить в гости только к сослуживцам по линии, да и то не чаще одного раза в месяц. Вообще прескучнейшая жизнь.

Помню, встречал я с женою Новый год. Мы сидели за столом, лениво жевали и слушали, как в соседней комнате монотонно постукивал на своем аппарате глухой телеграфист. Я уже выпил рюмок пять водки с дурманом и, подперев свою тяжелую голову кулаком, думал о своей непобедимой, невылазной скуке, а жена сидела рядом и не отрывала от моего лица глаз. Глядела она на меня так, как может глядеть только женщина, у которой на этом свете нет ничего, кроме красивого мужа. Любила она меня безумно, рабски и не только мою красоту или душу, но мои грехи, мою злобу и скуку и даже мою жестокость, когда я в пьяном исступлении, не зная, на ком излить свою злобу, терзал ее попреками.

Несмотря на скуку, которая ела меня, мы готовились встретить Новый год с необычайной торжественностью и ждали полночи с некоторым нетерпением. Дело в том, что у нас были припасены две бутылки шампанского, самого настоящего, с ярлыком вдовы Клико; это сокровище я выиграл на пари еще осенью у начальника дистанции, гуляя у него на крестинах. Бывает, что во время урока математики, когда даже воздух стынет от скуки, в класс со двора влетает бабочка; мальчуганы встряхивают головами и начинают с любопытством следить за полетом, точно видят перед собой не бабочку, а что-то новое, странное; так точно и обыкновенное шампанское, попав случайно в наш скучный полустанок, забавляло нас. Мы молчали и поглядывали то на часы, то на бутылки.

Когда стрелка показывала без пяти двенадцать, я стал медленно раскупоривать бутылку. Не знаю, ослабел ли я от водки, или же бутылка была слишком влажна, но только помню, когда пробка с треском полетела к потолку, моя бутылка выскользнула у меня из рук и упала на пол. Пролилось вина не более стакана, так как я успел подхватить бутылку и заткнуть ей шипящее горло пальцем.

— Ну, с Новым годом, с новым счастьем! — сказал я, наливая два стакана. — Пей!

Жена взяла свой стакан и уставилась на меня испуганными глазами. Лицо ее побледнело и выражало ужас.

— Ты уронил бутылку? — спросила она.

— Да, уронил. Ну, так что же из этого?

— Нехорошо, — сказала она, ставя свой стакан и еще больше бледнея.— Нехорошая примета. Это значит, что в этом году с нами случится что-нибудь недоброе.

— Какая ты баба! — вздохнул я.— Умная женщина, а бредишь, как старая нянька. Пей.

— Дай бог, чтоб я бредила, но... непременно случится что-нибудь! Вот увидишь!

Она даже не пригубила своего стакана, отошла в сторону и задумалась. Я сказал несколько старых фраз насчет предрассудков, выпил полбутылки, пошагал из угла в угол и вышел.

На дворе во всей своей холодной нелюдимой красе стояла тихая морозная ночь. Луна и около нее два белых пушистых облачка неподвижно, как приклеенные, висели в вышине над самым полустанком и как будто чего-то ждали. От них шел легкий прозрачный свет и нежно, точно боясь оскорбить стыдливость, касался белой земли, освещая все: сугробы, насыпь... Было тихо.

Я шел вдоль насыпи.

«Глупая женщина! — Думал я, глядя на небо, усыпанное яркими звездами. — Если даже допустить, что приметы иногда говорят правду, то что же недоброе может случиться с нами? Те несчастья, которые уже испытаны и которые есть теперь налицо, так велики, что трудно придумать что-нибудь еще хуже. Какое еще зло можно причинить рыбе, которая уже поймана, изжарена и подана на стол под соусом?»

Тополь, высокий, покрытый инеем, показался в синеватой мгле, как великан, одетый в саван. Он поглядел на меня сурово и уныло, точно, подобно мне, понимал свое одиночество. Я долго глядел на него.

«Молодость моя погибла ни за грош, как ненужный окурок,— продолжал я думать.— Родители мои умерли, когда я был еще ребенком, из гимназии меня выгнали. Родился я в дворянской семье, но не получил ни воспитания, ни образования, и знаний у меня не больше, чем у любого смазчика. Нет у меня ни приюта, ни близких,

ни друзей, ни любимого дела. Ни на что я не способен и в расцвете сил сгодился только на то, чтобы мною заткнули место начальника полустанка. Кроме неудач и бед, ничего другого не знал я в жизни. Что же еще недоброе может случиться?»

Вдали показались красные огни. Мне навстречу шел поезд. Уснувшая степь слушала его шум. Мои мысли были так горьки, что мне казалось, что я мыслил вслух, что стон телеграфа и шум поезда передают мои мысли.

«Что же еще недоброе может случиться? Потеря жены? — спрашивал я себя. — И это не страшно. От своей совести нельзя прятаться: не люблю я жены! Женился я на ней, когда еще был мальчишкой. Теперь я молод, крепок, а она осунулась, состарилась, поглупела, от головы до пят набита предрассудками. Что хорошего в ее приторной любви, впалой груди, в вялом взгляде? Я терплю ее, но не люблю. Что же может случиться? Молодость моя пропадает, как говорится, ни за понюшку табаку. Женщины мелькают передо мной только в окнах вагонов, как падающие звезды. Любви не было и нет. Гибнет мое мужество, моя смелость, сердечность... Все гибнет, как сор, и мои богатства здесь, в степи, не стоят гроша медного».

Поезд с шумом пролетел мимо меня и равнодушно посветил меня своими красными окнами. Я видел, как он остановился у зеленых огней полустанка, постоял минуту и покатил далее. Пройдя версты две, я вернулся назад. Печальные мысли не оставляли меня. Как ни горько было мне, но, помнится, я как будто старался, чтобы мои мысли были печальнее и мрачнее. Знаете, у недалеких и самолюбивых людей бывают моменты, когда сознание, что они несчастны, доставляет им некоторое удовольствие, и они даже кокетничают перед самими собой своими страданиями. Много в моих мыслях было правды, но много и нелепого, хвастливого, и что-то мальчишески вызывающее было в моем вопросе: — «Что же может случиться недоброе?»

«Да, что же случится? — спрашивал я себя, возвращаясь. — Кажется, все пережито. И болел я, и деньги терял, и выговоры каждый день от начальства получаю, и голодаю, и волк бешеный забегал во двор полустанка. Что еще? Меня оскорбляли, унижали... и я оскорблял

на своем веку. Вот разве только преступником никогда не был, но на преступление, я, кажется, не способен, суда же не боюсь».

Два облачка уже отошли от луны и стояли поодаль с таким видом, как будто шептались о чем-то таком, чего не должна знать луна. Легкий ветерок пробежал по степи, неся глухой шум ушедшего поезда.

У порога дома встретила меня жена. Глаза ее весело смеялись, и все лицо дышало удовольствием.

— А у нас новость! — зашептала она. — Ступай скорее в свою комнату и надень новый сюртук: у нас гостья!

— Какая гостья?

— Сейчас с поездом приехала тетя Наталья Петровна.

— Какая Наталья Петровна?

— Жена моего дяди Семена Федорыча. Ты ее не знаешь. Она очень добрая и хорошая...

Вероятно, я нахмурился, потому что жена сделала серьезное лицо и зашептала быстро:

— Конечно, странно, что она приехала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она ведь несчастная. Дядя Семен Федорыч в самом деле деспот и злой, с ним трудно ужиться. Она говорит, что только три дня у нас проживет, пока не получит письма от своего брата.

Жена долго еще шептала мне какую-то чепуху про деспота-дядюшку, про слабость человеческую вообще и молодых жен в частности, про обязанность нашу давать приют всем, даже большим грешникам, и проч. Не понимая ровно ничего, я надел новый сюртук и пошел знакомиться с «тетей».

За столом сидела маленькая женщина с большими черными глазами. Мой стол, серые стены, топорный диван... кажется, все до малейшей пылинки помолодело и повеселело в присутствии этого существа, нового, молодого, издававшего какой-то мудреный запах, красивого и порочного. А что гостья была порочна, я понял по улыбке, по запаху, по особой манере глядеть и играть ресницами, по тону, с каким она говорила с моей женой — порядочной женщиной... Не нужно ей было рассказывать мне, что она бежала от мужа, что муж ее стар и деспот, что она добра и весела. Я все понял с первого взгляда, да едва ли в Европе есть еще

мужчины, которые не умеют отличить с первого взгляда женщину известного темперамента.

— А я не знала, что у меня есть такой крупный племянничек! — сказала тетя, протягивая мне руку и улыбаясь.

— А я не знал, что у меня есть такая хорошенькая тетя! — сказал я.

Снова начался ужин. Пробка с треском вылетела из второй бутылки, и моя тетя залпом выпила полстакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила целый стакан. Опьянел я и от вина и от присутствия женщины. Вы помните романс?

Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные,
Как люблю я вас,
Как боюсь я вас!

Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, тот пусть читает романы и длинные повести, а я скажу только немного и словами все того же глупого романса:

Знать, увидел вас
Я не в добрый час...

Все полетело к черту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня, как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и самую тетю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту темную улицу.

Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться?

*1887*

## НИЩИЙ

— Милостивый государь! Будьте добры, обратите внимание на несчастного голодного человека. Три дня не ел... не имею пятака на ночлег... клянусь богом! Восемь лет служил сельским учителем и потерял место по интригам земства. Пал жертвою доноса. Вот уж год, как хожу без места.

Присяжный поверенный Скворцов поглядел на сизое дырявое пальто просителя, на его мутные пьяные глаза, красные пятна на щеках, и ему показалось, что он раньше уже видел где-то этого человека.

— Теперь мне предлагают место в Калужской губернии,— продолжал проситель,— но у меня нет средств, чтобы поехать туда. Помогите, сделайте милость! Стыдно просить, но... вынуждают обстоятельства.

Скворцов поглядел на калоши, из которых одна была глубокая, а другая мелкая, и вдруг вспомнил.

— Послушайте, третьего дня, кажется, я встретил вас на Садовой, — сказал он, — но тогда вы говорили мне, что вы не сельский учитель, а студент, которого исключили. Помните?

— Не... нет, не может быть! — пробормотал проситель, смущаясь. — Я сельский учитель и, ежели желаете, могу документы показать.

— Будет вам лгать! Вы называли себя студентом и даже рассказали мне, за что вас исключили. Помните?

Скворцов покраснел и с выражением гадливости на лице отошел от оборвыша.

— Это подло, милостивый государь! — крикнул он сердито. — Это мошенничество! Я вас в полицию отправлю, черт бы вас взял! Вы бедны, голодны, но это не дает вам права так нагло, бессовестно лгать!

Оборвыш взялся за ручку двери и растерянно, как пойманный вор, оглядел переднюю.

— Я... я не лгу-с... — пробормотал он. — Я могу документы показать.

— Кто вам поверит? — продолжал возмущаться Скворцов. — Эксплуатировать симпатии общества к сельским учителям и студентам — ведь это так низко, подло, грязно! Возмутительно!

Скворцов разошелся и самым безжалостным образом распек просителя. Своею наглою ложью оборвыш возбудил в нем гадливость и отвращение, оскорбил то, что он, Скворцов, так любил и ценил в себе самом: доброту, чувствительное сердце, сострадание к несчастным людям; своею ложью, покушением на милосердие «субъект» точно осквернил ту милостыню, которую он от чистого сердца любил подавать беднякам. Оборвыш сначала оправдывался, божился, но потом умолк и, пристыженный, поник головой.

— Сударь! — сказал он, прикладывая руку к сердцу. — Действительно я... солгал! Я не студент и не сельский учитель. Все это одна выдумка! Я в русском хоре служил, и оттуда меня за пьянство выгнали. Но что же мне делать? Верьте богу, нельзя без лжи! Когда я говорю правду, мне никто не подает. С правдой умрешь с голоду и замерзнешь без ночлега! Вы верно рассуждаете, я понимаю, но... что же мне делать?

— Что делать? Вы спрашиваете, что вам делать? — крикнул Скворцов, подходя к нему близко. — Работайте, вот что делать! Работать нужно!

— Работать... Я и сам это понимаю, но где же работы взять?

— Вздор! Вы молоды, здоровы, сильны и всегда найдете работу, была бы лишь охота. Но ведь вы ленивы, избалованы, пьяны! От вас, как из кабака, разит водкой! Вы изолгались и истрепались до мозга костей и способны только на попрошайничество и ложь! Если вы и соблаговолите когда-нибудь снизойти до работы, то подавай вам канцелярию, русский хор, маркерство, где бы вы ничего не делали и получали бы деньги! А не угодно

ли вам заняться физическим трудом? Небось не пойдете в дворники или фабричные! Вы ведь с претензиями!

— Как вы рассуждаете, ей-богу... — проговорил проситель и горько усмехнулся. — Где же мне взять физического труда? В приказчики мне уже поздно, потому что в торговле с мальчиков начинать надо, в дворники никто меня не возьмет, потому что на меня тыкать нельзя... а на фабрику не примут, надо ремесло знать, а я ничего не знаю.

— Вздор! Вы всегда найдете оправдание! А не угодно ли вам дрова колоть?

— Я не отказываюсь, но нынче и настоящие дровоколы сидят без хлеба.

— Ну, все тунеядцы так рассуждают. Предложи вам, так откажетесь. Не хотите ли у меня поколоть дрова?

— Извольте, поколю...

— Хорошо, посмотрим... Отлично... Увидим!

Скворцов заторопился и, не без злорадства, потирая руки, вызвал из кухни кухарку.

— Вот, Ольга, — обратился он к ней, — поведи этого господина в сарай, и пусть он дрова поколет.

Оборвыш пожал плечами, как бы недоумевая, и нерешительно пошел за кухаркой. По его походке видно было, что согласился он идти колоть дрова не потому, что был голоден и хотел заработать, а просто из самолюбия и стыда, как пойманный на слове. Заметно было также, что он сильно ослабел от водки, был нездоров и не чувствовал ни малейшего расположения к работе.

Скворцов поспешил в столовую. Там из окон, выходивших на двор, виден был дровяной сарай и все, что происходило на дворе. Стоя у окна, Скворцов видел, как кухарка и оборвыш вышли черным ходом на двор и по грязному снегу направились к сараю. Ольга, сердито оглядывая своего спутника и тыча в стороны локтями, отперла сарай и со злобой хлопнула дверью.

«Вероятно, мы помешали бабе кофе пить, — подумал Скворцов. — Экое злое создание!»

Далее он видел, как лжеучитель и лжестудент уселся на колоду и, подперев кулаками свои красные щеки, о чем-то задумался. Баба швырнула к его ногам топор, со злобой плюнула и, судя по выражению губ, стала браниться. Оборвыш нерешительно потянул к себе одно

полено, поставил его между ног и несмело тяпнул по нем топором. Полено закачалось и упало. Оборвыш потянул его к себе, подул на свои озябшие руки и опять тяпнул топором с такою осторожностью, как будто боялся хватить себя по калоше или обрубить пальцы. Полено опять упало.

Гнев Скворцова уже прошел, и ему стало немножко больно и стыдно за то, что он заставил человека, избалованного, пьяного и, быть может, больного, заниматься на холоде черной работой.

«Ну, ничего, пусть... — подумал он, идя из столовой в кабинет. — Это я для его же пользы».

Через час явилась Ольга и доложила, что дрова уже порублены.

— На, отдай ему полтинник, — сказал Скворцов. — Если он хочет, то пусть приходит колоть дрова каждое первое число... Работа всегда найдется.

Первого числа явился оборвыш и опять заработал полтинник, хотя едва стоял на ногах. С этого раза он стал часто показываться на дворе, и всякий раз для него находили работу: то он снег сгребал в кучи, то прибирал в сарае, то выбивал пыль из ковров и матрацев. Всякий раз он получал за свои труды копеек двадцать — сорок, и раз даже ему были высланы старые брюки.

Перебираясь на другую квартиру, Скворцов нанял его помогать при укладке и перевозке мебели. В этот раз оборвыш был трезв, угрюм и молчалив; он едва прикасался к мебели, ходил, понуря голову, за возами и даже не старался казаться деятельным, а только пожимался от холода и конфузился, когда извозчики смеялись над его праздностью, бессилием и рваным благородным пальто. После перевозки Скворцов велел позвать его к себе.

— Ну, я вижу, мои слова на вас подействовали, — сказал он, подавая ему рубль. — Вот вам за труды. Я вижу, вы трезвы и не прочь поработать. Как вас зовут?

— Лушков.

— Я, Лушков, могу теперь предложить вам другую работу, почище. Вы можете писать?

— Могу-с.

— Так вот с этим письмом вы завтра отправитесь к моему товарищу и получите от него переписку. Рабо-

тайте, не пьянствуйте, не забывайте того, что я говорил вам. Прощайте!

Скворцов, довольный тем, что поставил человека на путь истины, ласково потрепал Лушкова по плечу и даже подал ему на прощанье руку. Лушков взял письмо, ушел и уж больше не приходил на двор за работой.

Прошло два года. Однажды, стоя у театральной кассы и расплачиваясь за билет, Скворцов увидел рядом с собой маленького человечка с барашковым воротником и в поношенной котиковой шапке. Человечек робко попросил у кассира билет на галерку и заплатил медными пятаками.

— Лушков, это вы? — спросил Скворцов, узнав в человечке своего давнишнего дровокола. — Ну как? Что поделываете? Хорошо живется?

— Ничего... Служу теперь у нотариуса, получаю тридцать пять рублей-с.

— Ну, и слава богу. И отлично! Радуюсь за вас. Очень, очень рад, Лушков! Ведь вы некоторым образом мой крестник. Ведь это я вас на настоящую дорогу толкнул. Помните, как я вас распекал, а? Чуть вы у меня тогда сквозь землю не провалились. Ну, спасибо, голубчик, что моих слов не забывали.

— Спасибо и вам, — сказал Лушков. — Не приди я к вам тогда, пожалуй до сих пор назывался бы учителем или студентом. Да, у вас спасся, выскочил из ямы.

— Очень, очень рад.

— Спасибо за ваши добрые слова и за дела. Вы отлично тогда говорили. Я благодарен и вам и вашей кухарке, дай бог здоровья этой доброй, благородной женщине. Вы отлично говорили тогда, я вам обязан, конечно, по гроб жизни, но спасла-то меня, собственно, ваша кухарка Ольга.

— Каким это образом?

— А таким образом. Бывало, придешь к вам дрова колоть, она и начнет: «Ах ты, пьяница! Окаянный ты человек! И нет на тебя погибели!» А потом сядет против, пригорюнится, глядит мне в лицо и плачется: «Несчастный ты человек! Нет тебе радости на этом свете, да и на том свете, пьяница, в аду гореть будешь! Горемычный ты!» И все в таком роде, знаете. Сколько она себе крови испортила и слез пролила ради меня, я вам и сказать не могу. Но главное — вместо меня дрова колола!

Ведь я, сударь, у вас ни одного полена не расколол, а все она! Почему она меня спасла, почему я изменился, глядя на нее, и пить перестал, не могу вам объяснить. Знаю только, что от ее слов и благородных поступков в душе моей произошла перемена, она меня исправила, и никогда я этого не забуду. Одначе пора, уже звонок подают.

Лушков поклонился и отправился на галерку.

*1887*

## ВРАГИ

В десятом часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кирилова скончался от дифтерита его единственный сын, шестилетний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок.

По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кирилов, как был, без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. В передней было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что казалось, от появления этого лица в передней стало светлее...

— Доктор у себя? — быстро спросил вошедший.

— Я дома, — ответил Кирилов. — Что вам угодно?

— А, это вы? Очень рад! — обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора, нашел ее и крепко стиснул в своих руках. — Очень... очень рад! Мы с вами знакомы!.. Я — Абогин... имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал... Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной... У меня опасно заболела жена... И экипаж со мной...

По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро,

дрожащим голосом, и что-то неподдельно искреннее, детски-малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими, отрывистыми фразами и произносил много лишних, совсем не идущих к делу слов.

— Я боялся не застать вас, — продолжал он. — Пока ехал к вам, исстрадался душой... Одевайтесь и едемте, ради бога... Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Папчинский, Александр Семенович, которого вы знаете... Поговорили мы... потом сели чай пить; вдруг жена вскрикивает, хватает себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать, и... я уж и нашатырным спиртом тер ей виски и водой брызгал... лежит, как мертвая... Боюсь, что это аневризма. Поедемте... У нее и отец умер от аневризмы...

Кирилов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи.

Когда Абогин еще раз упомянул про Папчинского и про отца своей жены и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично растягивая каждое слово:

— Извините, я не могу ехать... Минут пять назад у меня... умер сын...

— Неужели? — прошептал Абогин, делая шаг назад. — Боже мой, в какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день... удивительно! Какое совпадение... и как нарочно!

Абогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать: уходить или продолжать просить доктора.

— Послушайте, — горячо сказал он, хватая Кирилова за рукав, — я отлично понимаю ваше положение! Видит бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием, но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь, кроме вас, здесь нет другого врача. Поедемте ради бога! Не за себя я прошу... Не я болен!

Наступило молчание. Кирилов повернулся спиной к Абогину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на негоревшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и, вероятно,

уже не помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из залы к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение, точно он попал в чужую квартиру или же первый раз в жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета, через шкафы с книгами, тянулась широкая полоса света; вместе с тяжелым, спертым запахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета в спальню... Доктор опустился в кресло перед столом; минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню.

Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Все до последней мелочи красноречиво говорило о недавно пережитой буре, об утомлении, и все отдыхало. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе стклянок, коробок и баночек, и большая лампа на комоде ярко освещали всю комнату. На кровати, у самого окна лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица. Он не двигался, но открытые глаза его, казалось, с каждым мгновением все более темнели и уходили во внутрь черепа. Положив руки на его туловище и спрятав лицо в складки постели, перед кроватью стояла на коленях мать. Подобно мальчику, она не шевелилась, но сколько живого движения чувствовалось в изгибах ее тела и в руках! Припадала она к кровати всем своим существом, с силой и жадностью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую наконец нашла для своего утомленного тела. Одеяла, тряпки, тазы, лужи на полу, разбросанные повсюду кисточки и ложки, белая бутыль с известковой водой, самый воздух, удушливый и тяжелый — все замерло и казалось погруженным в покой.

Доктор остановился около жены, засунул руки в карманы брюк и, склонив голову набок, устремил взгляд на сына. Лицо его выражало равнодушие, только по росинкам, блестевшим на его бороде, и заметно было, что он недавно плакал.

Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеобщем

столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине; Кирилов и его жена молчали, не плакали, как будто, кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения: как когда-то, в свое время, прошла их молодость, так теперь, вместе с этим мальчиком, уходило навсегда в вечность и их право иметь детей! Доктору сорок четыре года, он уже сед и выглядит стариком; его поблекшей и больной жене тридцать пять лет. Андрей был не только единственным, но и последним.

В противоположность своей жене доктор принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут пять, он, высоко поднимая правую ногу, из спальни прошел в маленькую комнату, наполовину занятую большим широким диваном; отсюда прошел в кухню. Поблуждав около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в переднюю.

Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо.

— Наконец-то! — вздохнул Абогин, берясь за ручку двери. — Едемте, пожалуйста!

Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил...

— Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзя ехать! — сказал он оживляясь. — Как странно!

— Доктор, я не истукан, отлично понимаю ваше положение... сочувствую вам! — сказал умоляющим голосом Абогин, прикладывая к своему кашне руку. — Но ведь я не за себя прошу... Умирает моя жена! Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то поняли бы мою настойчивость! Боже мой, а уж я думал, что вы пошли одеваться! Доктор, время дорого! Едемте, прошу вас!

— Ехать я не могу! — сказал с расстановкой Кирилов и шагнул в залу.

Абогин пошел за ним и схватил его за рукав.

— У вас горе, я понимаю, но ведь приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперты, а спасать жизнь человеческую! — продолжал он умолять, как нищий. — Эта

жизнь выше всякого личного горя! Ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человеколюбия!

— Человеколюбие — палка о двух концах, — раздраженно сказал Кирилов. — Во имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня. И как странно, ейбогу! Я едва на ногах стою, а вы человеколюбием пугаете! Никуда я сейчас не годен... не поеду ни за что, да и на кого я жену оставлю? Нет, нет...

Кирилов замахал кистями рук и попятился назад.

— И... и не просите! — продолжал он испуганно. — Извините меня... По тринадцатому тому законов я обязан ехать, и вы имеете право тащить меня за шиворот... Извольте, тащите, но... я не годен... Даже говорить не в состоянии... Извините...

— Напрасно, доктор, вы говорите со мной таким тоном! — сказал Абогин, опять беря доктора за рукав. — Бог с ним, с тринадцатым томом! Насиловать вашей воли я не имею никакого права. Хотите — поезжайте, не хотите — бог с вами, но я не к воле вашей обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина! Сейчас, вы говорите, у вас умер сын, кому же, как не вам, понять мой ужас?

Голос Абогина дрожал от волнения; в этой дрожи и в тоне было гораздо больше убедительности, чем в словах. Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры и умирающую где-то женщину. Он и сам это чувствовал, а потому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался придать своему голосу мягкость и нежность, чтобы взять если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообще фраза, как бы она ни была красива и глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив; потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие; влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая, страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних, вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной.

Кирилов стоял и молчал. Когда Абогин сказал еще несколько фраз о высоком призвании врача, о самопожертвовании и проч., доктор спросил угрюмо:

— Далеко ехать?

— Что-то около тринадцати — четырнадцати верст. У меня отличные лошади, доктор! Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час!

Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на человеколюбие или призвание врача. Он подумал и сказал со вздохом:

— Хорошо, едемте!

Он быстро, уже верною походкой пошел к своему кабинету и немного погодя вернулся в длинном сюртуке. Мелко семеня возле него и шаркая ногами, обрадованный Абогин помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома.

На дворе было темно, но светлее, чем в передней. В темноте уже ясно вырисовывалась высокая сутуловатая фигура доктора с длинной узкой бородой и с орлиным носом. У Абогина, кроме бледного лица, теперь видна была его большая голова и маленькая студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашне белело только спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами.

— Верьте, я сумею оценить ваше великодушие, — бормотал Абогин, подсаживая доктора в коляску. — Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчик, поезжай как можно скорее! Пожалуйста!

Кучер ехал быстро. Сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоявших вдоль больничного двора; всюду было темно, только в глубине двора из чьего-то окна, сквозь палисадник, пробивался яркий свет, да три окна верхнего этажа больничного корпуса казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки; тут пахло грибной сыростью и слышался шепот деревьев; вороны, разбуженные шумом колес, закопошились в листве и подняли тревожный жалобный крик, как будто знали, что у доктора умер сын, а у Абогина больна жена. Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник; сверкнул угрюмо пруд, на котором спали большие черные тени, — и коляска покатила по гладкой равнине. Крик ворон слышался уже глухо, далеко сзади и скоро совсем умолк.

Почти всю дорогу Кирилов и Абогин молчали. Только раз Абогин глубоко вздохнул и пробормотал:

— Мучительное состояние! Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их.

И когда коляска тихо переезжала реку, Кирилов вдруг встрепенулся, точно его испугал плеск воды, и задвигался.

— Послушайте, отпустите меня, — сказал он тоскливо. — Я к вам потом приеду. Мне бы только фельдшера к жене послать. Ведь она одна!

Абогин молчал. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проехала песочный берег и покатила далее. Кирилов заметался в тоске и поглядел вокруг себя. Позади сквозь скудный свет звезд видна была дорога и исчезавшие в потемках прибрежные ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, как небо; далеко на ней там и сям, вероятно на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не ушел.

Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, больное; земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумесяцу...

Чем ближе к цели была коляска, тем нетерпеливее становился Абогин. Он двигался, вскакивал, вглядывался через плечо кучера вперед. А когда наконец коляска остановилась у крыльца, красиво задрапированного полосатой холстиной, и когда он поглядел на освещенные окна второго этажа, слышно было, как дрожало его дыхание.

— Если что случится, то... я не переживу, — сказал он, входя с доктором в переднюю и в волнении потирая руки. — Но не слышно суматохи, значит пока еще благополучно, — прибавил он, вслушиваясь в тишину.

В передней не слышно было ни голосов, ни шагов, и весь дом казался спавшим, несмотря на яркое освещение. Теперь уж доктор и Абогин, бывшие до сего

времени в потемках, могли разглядеть друг друга. Доктор был высок, сутуловат, одет неряшливо и лицо имел некрасивое. Что-то неприятно резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы, орлиный нос и вялый, равнодушный взгляд. Его нечесаная голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной, узкой бороде, сквозь которую просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные угловатые манеры — все это своею черствостью наводило на мысль о пережитой нужде, бездолье, об утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верилось, чтобы у этого человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. Абогин же изображал из себя нечто другое. Это был плотный солидный блондин, с большой головой и крупными, но мягкими чертами лица, одетый изящно по самой последней моде. В его осанке, в плотно застегнутом сюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное; ходил он, держа прямо голову и выпятив вперед грудь, говорил приятным баритоном, и в манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество. Даже бледность и детский страх, с какими он, раздеваясь, поглядывал вверх на лестницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура.

— Никого нет и ничего не слышно, — сказал он, идя по лестнице. — Суматохи нет. Дай-то бог!

Он провел доктора через переднюю в большую залу, где темнел черный рояль и висела люстра в белом чехле; отсюда оба они прошли в маленькую, очень уютную и красивую гостиную, полную приятного розового полумрака.

— Ну, посидите тут, доктор, — сказал Абогин, — а я... сейчас. Я пойду погляжу и предупрежу.

Кирилов остался один. Роскошь гостиной, приятный полумрак и само его присутствие в чужом, незнакомом доме, имевшее характер приключения, по-видимому, не трогали его. Он сидел в кресле и разглядывал свои обожженные карболкой руки. Только мельком увидел он ярко-красный абажур, футляр от виолончели, да, покосившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного и сытого, как сам Абогин.

Было тихо... Где-то далеко в соседних комнатах кто-то громко произнес звук «а!», прозвенела стеклянная дверь, вероятно, шкафа, и опять все стихло. Подождав минут пять, Кирилов перестал оглядывать свои руки и поднял глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогин.

У порога этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости и тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отвратительным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его нос, губы, усы, все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица, глаза же как будто смеялись от боли...

Абогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной, согнулся, простонал и потряс кулаками.

— Обманула! — крикнул он, сильно напирая на слог *ну*. — Обманула! Ушла! Заболела и услала меня за доктором для того только, чтобы бежать с этим шутом Папчинским! Боже мой!

Абогин тяжело шагнул к доктору, протянул к его лицу свои белые мягкие кулаки и, потрясая ими, продолжал вопить:

— Ушла!! Обманула! Ну, к чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! К чему этот грязный, шулерский фокус, эта дьявольская, змеиная игра? Что я ей сделал? Ушла!

Слезы брызнули у него из глаз. Он перевернулся на одной ноге и зашагал по гостиной. Теперь в своем коротком сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно походил на льва. На равнодушном лице доктора засветилось любопытство. Он поднялся и оглядел Абогина.

— Позвольте, где же больная? — спросил он.

— Больная! Больная! — крикнул Абогин, смеясь, плача и все еще потрясая кулаками. — Это не больная, а проклятая! Низость! Подлость, гаже чего не придумал бы, кажется, сам сатана! Услала затем, чтобы бежать, бежать с шутом, тупым клоуном, альфонсом! О боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!

Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами, узкая борода задвигалась направо и налево вместе с челюстью.

— Позвольте, как же это? — спросил он, с любопытством оглядываясь. — У меня умер ребенок, жена в

тоске, одна на весь дом... сам я едва стою на ногах, три ночи не спал... и что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи! Не... не понимаю!

Абогин разжал один кулак, швырнул на пол скомканную записку и наступил на нее, как на насекомое, которое хочется раздавить.

— И я не видел... не понимал! — говорил он сквозь сжатые зубы, потрясая около своего лица одним кулаком, и с таким выражением, как будто ему наступили на мозоль. — Я не замечал, что он ездит каждый день, не заметил, что он сегодня приехал в карете! Зачем в карете? И я не видел! Колпак!

— Не... не понимаю! — бормотал доктор. — Ведь это что же такое! Ведь это глумление над личностью, издевательство над человеческими страданиями! Это что-то невозможное... первый раз в жизни вижу!

С тупым удивлением человека, который только что стал понимать, что его тяжело оскорбили, доктор пожал плечами, развел руками и, не зная, что говорить, что делать, в изнеможении опустился в кресло.

— Ну, разлюбила, полюбила другого — бог с тобой, но к чему же обман, к чему этот подлый, изменнический фортель? — говорил плачущим голосом Абогин. — К чему? И за что? Что я тебе сделал? Послушайте, доктор,— горячо сказал он, подходя к Кирилову. — Вы были невольным свидетелем моего несчастья, и я не стану скрывать от вас правды. Клянусь вам, что я любил эту женщину, любил набожно, как раб! Для нее я пожертвовал всем: поссорился с родней, бросил службу и музыку, прощал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре... Ни разу я не поглядел на нее косо... не подавал никакого повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Не любишь, так скажи прямо, честно, тем более что знаешь мои взгляды на этот счет...

Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренне изливал перед доктором свою душу. Он говорил горячо, прижимая обе руки к сердцу, разоблачал свои семейные тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что наконец эти тайны вырвались наружу из его груди. Поговори он таким образом час, другой, вылей свою душу, и, несомненно, ему стало бы легче.

Кто знает, выслушай его доктор, посочувствуй ему дружески, быть может, он, как это часто случается, примирился бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей... Но случилось иначе. Пока Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушие и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда Абогин поднес к его глазам карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным, как у монашенки, лицом и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово:

— Зачем вы все это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю! — крикнул он и стукнул кулаком по столу. — Не нужны мне ваши пошлые тайны, черт бы их взял! Не смеете вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?

Абогин попятился от Кирилова и изумленно уставился на него.

— Зачем вы меня сюда привезли? — продолжал доктор, тряся бородой. — Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйтесь гуманными идеями, играйте (доктор покосился на футляр с виолончелью) — играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью! Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания!

— Позвольте, что это все значит? — спросил Абогин краснея.

— А то значит, что низко и подло играть так людьми! Я врач, вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами[1], ну и считайте, но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!

---

[1] людьми дурного тона (от *франц.* mauvais ton).

— Как вы смеете говорить мне это? — спросил тихо Абогин, и его лицо опять запрыгало и на этот раз уже ясно от гнева.

— Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привезти меня сюда выслушивать пошлости? — крикнул доктор и опять стукнул кулаком по столу. — Кто вам дал право так издеваться над чужим горем?

— Вы с ума сошли! — крикнул Абогин. — Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив и... и...

— Несчастлив, — презрительно ухмыльнулся доктор. — Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!

— Милостивый государь, вы забываетесь! — взвизгнул Абогин. — За такие слова... бьют! Понимаете?

Абогин торопливо полез в боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав две бумажки, швырнул их на стол.

— Вот вам за ваш визит! — сказал он, шевеля ноздрями. — Вам заплачено!

— Не смеете вы предлагать мне деньги! — крикнул доктор и смахнул со стола на пол бумажки. — За оскорбление деньгами не платят!

Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, проделывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной.

— Извольте отправить меня домой! — крикнул доктор задыхаясь.

Абогин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился, он еще раз позвонил и сердито швырнул колокольчик на пол; тот глухо ударился о ковер и издал жалобный, точно предсмертный стон. Явился лакей.

— Где вы попрятались, черт бы вас взял?! — набросился на него хозяин, сжимая кулаки. — Где ты был

сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету! Постой! — крикнул он, когда лакей повернулся уходить. — Завтра чтоб ни одного предателя не оставалось в доме! Все вон! Нанимаю новых! Гадины!

В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали. К первому уже вернулись и выражение сытости и тонкое изящество. Он шагал по гостиной, изящно встряхивал головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага... Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество.

Когда немного погодя доктор сел в коляску и поехал, глаза его все еще продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятнами лежали около звезд. Карета с красными огнями застучала по дороге и перегнала доктора. Это ехал Абогин протестовать, делать глупости...

Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского, и всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях.

Пройдет время, пройдет и горе Кирилова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы.

*1887*

## ТЕМНОТА

Молодой парень, белобрысый и скуластый, в рваном тулупчике и в больших черных валенках, выждал, когда земский доктор, кончив приемку, возвращался из больницы к себе на квартиру, и подошел к нему несмело.

— К вашей милости, — сказал он.

— Что тебе?

Парень ладонью провел себе по носу снизу вверх, поглядел на небо и потом уже ответил:

— К вашей милости... Тут у тебя, вашескоблородие, в арестантской палате мой брат Васька, кузнец из Варварина...

— Да, так что же?

— Я, стало быть, Васькин брат... У отца нас двое: он — Васька, да я — Кирила. Акроме нас, три сестры, а Васька женатый, и ребятенок есть... Народу много, а работать некому... В кузнице, почитай, уже два года огня не раздували. Сам я на ситцевой фабрике, кузнечить не умею, а отец какой работник? Не токмо, скажем, работать, путем есть не может, ложку мимо рта несет.

— Что же тебе от меня нужно?

— Сделай милость, отпусти Ваську!

Доктор удивленно поглядел на Кирилу и, ни слова не сказавши, пошел дальше. Парень забежал вперед и бухнул ему в ноги.

— Доктор, господин хороший! — взмолился он, моргая глазами и опять проводя ладонью по носу. — Яви божескую милость, отпусти ты Ваську домой! Заставь

вечно бога молить! Ваше благородие, отпусти! С голоду все дохнут! Мать день-деньской ревет, Васькина баба ревет... просто смерть! На свет белый не глядел бы! Сделай милость, отпусти его, господин хороший!

— Да ты глуп или с ума сошел? — спросил доктор, глядя на него сердито. — Как же я могу его отпустить? Ведь он арестант!

Кирила заплакал.

— Отпусти!

— Тьфу, чудак! Какое же я имею право? Тюремщик я, что ли? Привели его ко мне в больницу лечиться, я лечу, а отпускать его я имею такое же право, как тебя засадить в тюрьму. Глупая голова!

— Да ведь его задаром посадили! Покеда до суда он, почитай, год в остроге сидел, а теперь, спрашивается, за что сидит? Добро бы, убивал, скажем, или коней крал, а то так попал, здорово живешь.

— Верно, но я-то тут при чем?

— Посадили мужика и сами не знают за что. Был он выпивши, ваше благородие, ничего не помнил и даже отца по уху урезал, щеку себе напорол на сук спьяна-то, а двое наших ребят — захотелось им, видишь, турецкого табаку — стали ему говорить, чтобы он с ними ночью в армяшкину лавку забрался, за табаком. Он спьяна-то послушался, дурак. Сломали они это, знаешь, замок, забрались и давай чертить. Все разворочали, стекла побили, муку рассыпали. Пьяные — одно слово. Ну, сейчас урядник... то да сё, к следователю. Год цельный в остроге сидели, а неделю назад, в среду, судили всех трех, в городе. Солдат сзади с ружьем... присягал народ. Васька-то всех меньше виноват, а господа так рассудили, что он первый коновод. Обоих ребят в острог, а Ваську в арестантскую роту на три года. А за что? Рассуди по-божецки!

— Опять-таки я тут ни при чем. Ступай к начальству.

— Я уже был у начальства. Ходил в суд, хотел прошение подать, они и прошение не взяли. Был я и у станового, и у следователя был, и всякий говорит: не мое дело! Чье ж дело? А в больнице тут старшей тебя нет. Что хочешь, ваше благородие, то и делаешь.

— Дурак ты! — вздохнул доктор. — Раз присяжные обвинили, то уж тут не может ничего поделать ни

губернатор, ни даже министр, а не то что становой. Напрасно хлопочешь!

— А судил-то кто?

— Господа присяжные заседатели...

— Какие же это господа? Наши же мужики были! Андрей Гурьев был, Алешка Хук был.

— Ну, мне холодно с тобой разговаривать...

Доктор махнул рукой и быстро пошел к своей двери. Кирила хотел было пойти за ним, но, увидев, как хлопнула дверь, остановился. Минут десять стоял он неподвижно среди больничного двора и, не надевая шапки, глядел на докторскую квартиру, потом глубоко вздохнул, медленно почесался и пошел к воротам.

— К кому же идти? — бормотал он, выходя на дорогу. — Один говорит — не мое дело, другой говорит — не мое дело. Чье же дело? Нет, верно, пока не подмажешь, ничего не поделаешь. Доктор-то говорит, а сам все время на кулак мне глядит: не дам ли синенькую? Ну, брат, я и до губернатора дойду.

Переминаясь с ноги на ногу, то и дело оглядываясь без всякой надобности, он лениво плелся по дороге и, по-видимому, раздумывал, куда идти... Было не холодно, и снег слабо поскрипывал у него под ногами. Перед ним, не дальше как в полуверсте, расстилался на холме уездный городишко, в котором недавно судили его брата. Направо темнел острог с красной крышей и с будками по углам, налево была большая городская роща, теперь покрытая инеем. Было тихо, только какой-то старик в бабьей кацавейке и в громадном картузе шел впереди, кашлял и покрикивал на корову, которую гнал к городу.

— Дед, здорово! — проговорил Кирила, поравнявшись со стариком.

— Здорово...

— Продавать гонишь?

— Нет, так... — лениво ответил старик.

— Мещанин, что ли?

Разговорились. Кирила рассказал, зачем он был в больнице и о чем говорил с доктором.

— Оно, конечно, доктор этих делов не знает, — говорил ему старик, когда оба они вошли в город. — Он хоть и барин, но обучен лечить всякими средствиями, а чтоб совет настоящий тебе дать или, скажем, протокол написать, — он этого не может. На то особое начальство

есть. У мирового и станового ты был. Эти тоже в твоем деле не способны.

— Куда ж идти?

— По вашим крестьянским делам самый главный и к этому приставлен непременный член. К нему и иди. Господин Синеоков.

— Это что в Золотове?

— Ну да, в Золотове. Он у вас главный. Ежели что по вашим делам касающее, то супротив него даже исправник не имеет полного права.

— Далече, брат, идти!.. Чай, верст пятнадцать, а то и больше.

— Кому надобность, тот и сто верст пройдет.

— Оно так... Прошение ему подать, что ли?

— Там узнаешь. Коли прошение, писарь тебе живо напишет. У непременного члена есть писарь.

Расставшись с дедом, Кирила постоял среди площади, подумал и пошел назад из города. Он решил сходить в Золотово.

Дней через пять, возвращаясь после приемки больных к себе на квартиру, доктор опять увидел у себя на дворе Кирилу. На этот раз парень был не один, а с каким-то тощим, очень бледным стариком, который не переставая кивал головой, как маятником, и шамкал губами.

— Ваше благородие, я опять к твоей милости! — начал Кирила. — Вот с отцом пришел, сделай милость, отпусти Ваську! Непременный член разговаривать не стал. Говорит: «Пошел вон!»

— Ваше высокородие! — зашипел горлом старик, поднимая дрожащие брови, — будьте милостивы! Мы люди бедные, благодарить не можем вашу честь, но, ежели угодно вашей милости, Кирюшка или Васька отработать могут. Пущай работают.

— Отработаем! — сказал Кирила и поднял руку, точно желая принести клятву. — Отпусти! С голоду дохнут! Ревмя ревут, ваше благородие!

Парень быстро взглянул на отца, дернул его за рукав, и оба они, как по команде, повалились доктору в ноги. Тот махнул рукой и, не оглядываясь, быстро пошел к своей двери.

*1887*

## ВЕРОЧКА

Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский вечер он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на террасу. На нем была тогда легкая крылатка и широкополая соломенная шляпа, та самая, которая вместе с ботфортами валяется теперь в пыли под кроватью. В одной руке он держал большую вязку книг и тетрадей, в другой — толстую суковатую палку.

За дверью, освещая ему путь лампой, стоял хозяин дома, Кузнецов, лысый старик с длинной седой бородой и в белом, как снег, пикейном пиджаке. Старик благодушно улыбался и кивал головой.

— Прощайте, старче! — крикнул ему Огнев.

Кузнецов поставил лампу на столик и вышел на террасу. Две длинные узкие тени шагнули через ступени к цветочным клумбам, закачались и уперлись головами в стволы лип.

— Прощайте и еще раз спасибо, голубчик! — сказал Иван Алексеич. — Спасибо вам за ваше радушие, за ваши ласки, за вашу любовь... Никогда, во веки веков не забуду вашего гостеприимства. И вы хороший, и дочка ваша хорошая, и все у вас тут добрые, веселые, радушные... Такая великолепная публика, что и сказать не умею!

От избытка чувств и под влиянием только что выпитой наливки Огнев говорил певучим семинарским голосом и был так растроган, что выражал свои чувства не столько словами, сколько морганьем глаз и подергиваньем плеч. Кузнецов, тоже подвыпивший и растро-

ганный, потянулся к молодому человеку и поцеловался с ним.

— Привык я к вам, как лягавый! — продолжал Огнев. — Почти каждый день к вам шлялся, раз десять ночевал, а наливки выпил столько, что теперь вспоминать страшно. А главное, за что спасибо, Гавриил Петрович, так это за ваше содействие и помощь. Без вас я со своей статистикой до октября бы тут возился. Так и напишу в предисловии: считаю долгом выразить мою благодарность председателю N-ской уездной земской управы Кузнецову за его любезное содействие. У статистики блестящая будущность! Вере Гавриловне нижайший поклон, а докторам, обоим следователям и вашему секретарю передайте, что никогда не забуду их помощи! А теперь, старче, обымем друг друга и сотворим последнее лобзание.

Раскисший Огнев еще раз поцеловался со стариком и стал спускаться вниз. На последней ступени он оглянулся и спросил:

— Увидимся еще когда-нибудь?

— Бог знает! — ответил старик. — Вероятно, никогда!

— Да, правда! В Питер вас и калачом не заманишь, а я едва ли еще попаду когда-нибудь в этот уезд. Ну, прощайте!

— Вы бы книги тут оставили! — крикнул ему вслед Кузнецов. — Что вам за охота тащить такую тяжесть? Я вам завтра их с человеком прислал бы.

Но Огнев уже не слышал и быстро удалялся от дома. На душе его, подогретой вином, было и весело, и тепло, и грустно... Он шел и думал о том, как часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми и как жаль, что от этих встреч не остается ничего больше, кроме воспоминаний. Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно-восторженный крик, а через минуту, с какою жадностью ни вглядывайся в синюю даль, не увидишь ни точки, не услышишь ни звука — так точно люди с их лицами и речами мелькают в жизни и утопают в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти. Живя с самой весны в N-ском уезде и бывая почти каждый день у радушных Кузнецовых, Иван Алексеич привык, как к родным, к старику, к его

дочери, к прислуге, изучил до тонкостей весь дом, уютную террасу, изгибы аллей, силуэты деревьев над кухней и баней; но выйдет он сейчас за калитку, и все это обратится в воспоминание и утеряет для него навсегда свое реальное значение, а пройдет год-два, и все эти милые образы потускнеют в сознании наравне с вымыслами и плодами фантазии.

«В жизни ничего нет дороже людей! — думал растроганный Огнев, шагая по аллее к калитке. — Ничего!»

В саду было тихо и тепло. Пахло резедой, табаком и гелиотропом, которые еще не успели отцвести на клумбах. Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, негустого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом, и, что надолго осталось в памяти Огнева, клочья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за дружкой поперек аллей. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней, а Огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер, чуть ли не в первый раз в жизни думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад белым бенгальским огнем, засели под кусты и вместе со светом напустили в воздух и белого дыма.

Когда Огнев подходил к садовой калитке, от невысокого палисадника отделилась темная тень и пошла к нему навстречу.

— Вера Гавриловна! — обрадовался он. — Вы тут? А я искал-искал, хотел проститься... — Прощайте, я ухожу!

— Так рано? Ведь еще одиннадцать часов.

— Нет, пора! Идти пять верст, да еще укладываться нужно. Завтра рано вставать...

Перед Огневым стояла дочь Кузнецова, Вера, девушка двадцати одного года, по обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная. Девушки, которые много мечтают и по целым дням читают лежа и лениво все, что попадается им под руки, которые скучают и грустят, одеваются вообще небрежно. Тем из них, которых природа одарила вкусом и инстинктом красоты, эта легкая небрежность в одежде придает особую пре-

лесть. По крайней мере Огнев, вспоминая впоследствии о хорошенькой Верочке, не мог себе представить ее без просторной кофточки, которая мялась у талии в глубокие складки и все-таки не касалась стана, без локона, выбившегося на лоб из высокой прически, без того красного вязаного платка с мохнатыми шариками по краям, который вечерами, как флаг в тихую погоду, уныло виснул на плече Верочки, а днем валялся скомканный в передней около мужских шапок или же в столовой на сундуке, где бесцеремонно спала на нем старая кошка. От этого платка и от складок кофточки так и веяло свободною ленью, домоседством, благодушием. Быть может, оттого, что Вера нравилась Огневу, он в каждой пуговке и оборочке умел читать что-то теплое, уютное, наивное, что-то такое хорошее и поэтичное, чего именно не хватает у женщин неискренних, лишенных чувства красоты и холодных.

Верочка была хорошо сложена, имела правильный профиль и красивые вьющиеся волосы. Огневу, который на своем веку мало видел женщин, она казалась красавицей.

— Уезжаю! — говорил он, прощаясь с нею около калитки. — Не поминайте лихом! Спасибо за все!

Тем же певучим семинарским голосом, каким он беседовал со стариком, так же моргая и подергивая плечами, стал он благодарить Веру за гостеприимство, ласки и радушие.

— О вас писал я матери в каждом письме, — говорил он. — Если бы все такие были, как вы да ваш батька, то не житье было бы на свете, а масленая. У вас вся публика великолепная! Народ все простой, сердечный, искренний.

— Вы теперь куда едете? — спросила Вера.

— Теперь еду к матери в Орел, побуду у нее недельки две, а там — в Питер на работу.

— А потом?

— Потом? Всю зиму проработаю, а весной опять куда-нибудь в уезд материалы собирать. Ну, будьте счастливы, живите сто лет... не поминайте лихом. Больше не увидимся.

Огнев нагнулся и поцеловал Верочкину руку. Затем в молчаливом волнении он поправил на себе крылатку, взял поудобнее вязку книг, помолчал и сказал:

— Туману-то сколько навалило!

— Да. Вы у нас ничего не забыли?

— Что же? Кажется, ничего...

Несколько секунд Огнев постоял молча, потом неуклюже повернулся к калитке и вышел из сада.

— Постойте, я вас до нашего леса провожу, — сказала Вера, выходя за ним.

Они пошли по дороге. Теперь уже деревья не заслоняли простора, и можно было видеть небо и даль. Точно прикрытая вуалью, вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь которую весело смотрела ее красота; туман, что погуще и побелее, неравномерно ложился около копен и кустов или клочьями бродил через дорогу, жался к земле и как будто старался не заслонять собой простора. Сквозь дымку видна была вся дорога до леса с темными канавами по бокам и мелкими кустами, которые росли в канавах и мешали бродить туманным клочьям. В полуверсте от калитки темнела полоса кузнецовского леса.

«Зачем она со мной пошла? Ведь ее придется провожать назад!» — подумал Огнев, но, поглядев на профиль Веры, он ласково улыбнулся и сказал:

— Не хочется уезжать в такую хорошую погоду! Вечер настоящий романический, с луной, с тишиной и со всеми онерами. Знаете что, Вера Гавриловна? Живу я на свете двадцать девять лет, но у меня в жизни ни разу романа не было. Во всю жизнь ни одной романической истории, так что с рандеву, с аллеями вздохов и поцелуями я знаком только понаслышке. Ненормально! В городе, когда сидишь у себя в номере, не замечаешь этого пробела, но тут, на свежем воздухе, он сильно чувствуется... Как-то обидно делается!

— Отчего же вы так?

— Не знаю. Вероятно, всю жизнь некогда было, а может быть, просто встречаться не приходилось с такими женщинами, которые... Вообще у меня мало знакомых, и я нигде не бываю.

Шагов триста молодые люди прошли молча. Огнев поглядывал на открытую голову и платок Верочки, и в душе его один за другим воскресали весенние и летние дни; то было время, когда вдали от своего серого петербургского номера, наслаждаясь ласками хороших людей, природой и любимым трудом, не успевал он заме-

чать, как утренние зори сменялись вечерними и как один за другим, пророча конец лета, переставали петь сначала соловей, потом перепел, а немного позже коростель... Время летело незаметно, значит жилось хорошо и легко... Стал он припоминать вслух о том, с какою неохотою он, небогатый, непривычный к движениям и людям, в конце апреля ехал сюда в N-ский уезд, где ожидал встретить скуку, одиночество и равнодушие к статистике, которая, по его мнению, среди наук занимает теперь самое видное место. Приехав апрельским утром в уездный городишко N., он остановился на постоялом дворе старовера Рябухина, где за двугривенный в сутки ему дали светлую и чистую комнату с условием, что курить он будет на улице. Отдохнув и справившись, кто в уезде состоит председателем земской управы, он немедля пошел пешком к Гавриилу Петровичу. Пришлось идти четыре версты роскошными лугами и молодыми рощами. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки, а над зеленеющими пашнями, солидно и чинно взмахивая крыльями, носились грачи.

— Господи, — удивлялся тогда Огнев, — неужели тут всегда дышат таким воздухом, или это так пахнет только сегодня, ради моего приезда?

Ожидая сухого делового приема, к Кузнецовым вошел он несмело, глядя исподлобья и застенчиво теребя свою бородку. Старик сначала морщил лоб и не понимал, зачем это молодому человеку и его статистике могла понадобиться земская управа, но когда тот пространно объяснил ему, что такое статистический материал и где он собирается, Гавриил Петрович оживился, заулыбался и с ребяческим любопытством стал заглядывать в его тетрадки... Вечером того же дня Иван Алексеич уже сидел у Кузнецовых за ужином, быстро хмелел от крепкой наливки и, глядя на покойные лица и ленивые движения своих новых знакомых, чувствовал во всем своем теле сладкую, дремотную лень, когда хочется спать, потягиваться, улыбаться. А новые знакомые благодушно оглядывали его и спрашивали, живы ли у него отец и мать, сколько он зарабатывает в месяц, часто ли бывает в театрах...

Припомнил Огнев свои разъезды по волостям, пикники, рыбные ловли, поездку всем обществом в девичий

монастырь к игуменье Марфе, которая каждому из гостей подарила по бисерному кошельку, припомнил горячие, нескончаемые, чисто русские споры, когда спорщики, брызжа и стуча кулаками по столу, не понимают и перебивают друг друга, сами того не замечая, противоречат себе в каждой фразе, то и дело меняют тему и, поспорив часа два-три, смеются:

— Черт знает, из-за чего мы спор подняли! Начали о здравии, а кончили за упокой!

— А помните, как я, вы и доктор ездили верхом в Шестово? — говорил Иван Алексеич Вере, подходя с нею к лесу. — Тогда еще нам юродивый встретился. Я дал ему пятак, а он три раза перекрестился и бросил мой пятак в рожь. Господи, столько я увожу с собой впечатлений, что если бы можно было собрать их в компактную массу, то получился бы хороший слиток золота! Не понимаю, зачем это умные и чувствующие люди теснятся в столицах и не идут сюда? Разве на Невском и в больших сырых домах больше простора и правды, чем здесь? Право, мне мои меблированные комнаты, сверху донизу начиненные художниками, учеными и журналистами, всегда казались предрассудком.

В двадцати шагах от леса через дорогу лежал небольшой узкий мостик со столбиками по углам, который всегда во время вечерних прогулок служил Кузнецовым и их гостям маленькой станцией. Отсюда желающие могли дразнить лесное эхо, и видно было, как дорога исчезала в черной просеке.

— Ну, вот и мостик! — сказал Огнев. — Тут вам поворачивать назад...

Вера остановилась и перевела дух.

— Давайте посидим, — сказала она, садясь на один из столбиков. — Перед отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся.

Огнев примостился возле нее на своей вязке книг и продолжал говорить. Она тяжело дышала от ходьбы и глядела не на Ивана Алексеича, а куда-то в сторону, так что ему не видно было ее лица.

— И вдруг лет через десять мы встретимся, — говорил он. — Какие мы тогда будем? Вы будете уже почтенною матерью семейства, а я автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сбор-

ника, толстого, как сорок тысяч сборников. Встретимся и вспомянем старину... Теперь мы чувствуем настоящее, оно нас наполняет и волнует, а тогда, при встрече, мы уж не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда виделись в последний раз на этом мостике. Вы, пожалуй, изменитесь... Послушайте, вы изменитесь?

Вера вздрогнула и повернулась к нему лицом.

— Что? — спросила она.

— Я вас спрашивал сейчас...

— Простите, я не слышала, что вы говорили.

Тут только Огнев заметил в Вере перемену. Она была бледна, задыхалась, и дрожь ее дыхания сообщалась и рукам, и губам, и голове, и из прически выбивался на лоб не один локон, как всегда, а два... Видимо, она избегала глядеть прямо в глаза и, стараясь замаскировать волнение, то поправляла воротничок, который как будто резал ей шею, то перетаскивала свой красный платок с одного плеча на другое...

— Вам, кажется, холодно, — сказал Огнев. — Сидеть в тумане не совсем-то здорово. Давайте-ка я провожу вас на гауз [1].

Вера молчала.

— Что с вами? — улыбнулся Иван Алексеич. — Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Нездоровы вы или сердитесь? А?

Вера крепко прижала ладонь к щеке, обращенной в сторону Огнева, и тотчас же резко отдернула ее.

— Ужасное положение... — прошептала она с выражением сильной боли на лице. — Ужасное!

— Чем оно ужасное? — спросил Огнев, пожимая плечами и не скрывая своего удивления. — В чем дело?

Все еще тяжело дыша и вздрагивая плечами, Вера повернулась к нему спиной, полминуты глядела на небо и сказала:

— Мне нужно поговорить с вами, Иван Алексеич...

— Я слушаю.

— Вам, может быть, покажется странным... вы удивитесь, но мне все равно...

Огнев еще раз пожал плечами и приготовился слушать.

---

[1] домой (от *нем.* nach Hause).

— Вот что... — начала Верочка, наклоняя голову и теребя пальцами шарик платка. — Видите ли, я вам вот что... хотела сказать... Вам покажется странным и глупым, а я... я больше не могу.

Речь Веры перешла в неясное бормотанье и вдруг оборвалась плачем. Девушка закрыла лицо платком, еще ниже нагнулась и горько заплакала. Иван Алексеич смущенно крякнул и, изумляясь, не зная, что говорить и делать, безнадежно поглядел вокруг себя. От непривычки к плачу и слезам у него самого зачесались глаза.

— Ну, вот еще! — забормотал он растерянно. — Вера Гавриловна, ну к чему это, спрашивается? Голубушка, вы... вы больны? Или вас кто обидел? Вы скажите, быть может, я того... сумею помочь...

Когда он, пытаясь утешить ее, позволил себе осторожно отнять от ее лица руки, она улыбнулась ему сквозь слезы и проговорила:

— Я... я люблю вас!

Эти слова, простые и обыкновенные, были сказаны простым человеческим языком, но Огнев в сильном смущении отвернулся от Веры, поднялся и вслед за смущением почувствовал испуг.

Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянные на него прощанием и наливкой, вдруг исчезли, уступив место резкому, неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась в нем душа, он косился на Веру, и теперь она, после того как, объяснившись ему в любви, сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, казалась ему как будто ниже ростом, проще, темнее.

«Что же это такое? — ужаснулся он про себя. — Но ведь я же ее... люблю или нет? Вот задача-то!»

А она, когда самое главное и тяжелое наконец было сказано, дышала уже легко и свободно. Она тоже поднялась и, глядя прямо в лицо Ивана Алексеича, стала говорить быстро, неудержимо, горячо.

Как человек, внезапно испуганный, не может потом вспомнить порядка, с каким чередовались звуки ошеломившей его катастрофы, так и Огнев не помнит слов и фраз Веры. Ему памятны только содержание ее речи, она сама и то ощущение, которое производила в нем ее речь. Он помнит как будто придушенный, несколько сиплый от волнения голос и необыкновенную музыку и

страстность в интонации. Плача, смеясь, сверкая слезинками на ресницах, она говорила ему, что с первых же дней знакомства он поразил ее своею оригинальностью, умом, добрыми умными глазами, своими задачами и целями жизни, что она полюбила его страстно, безумно и глубоко; что когда, бывало, летом она входила из сада в дом и видела в передней его крылатку или слышала издали его голос, то сердце ее обливалось холодком, предчувствием счастья; его даже пустые шутки заставляли ее хохотать, в каждой цифре его тетрадок она видела что-то необыкновенно разумное и грандиозное, его суковатая палка представлялась ей прекрасней деревьев.

И лес, и туманные клочья, и черные канавы по бокам дороги, казалось, притихли, слушая ее, а в душе Огнева происходило что-то нехорошее и странное... Объясняясь в любви, Вера была пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и сожаление, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум, или сказалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдание Веры казались ему приторными, несерьезными, и в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что все, что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного счастья, серьезнее всяких статистик, книг, истин... И он злился и винил себя, хотя и не понимал, в чем именно заключается вина его.

В довершение неловкости он решительно не знал, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо «я вас не люблю» ему было не под силу, а сказать «да» он не мог, потому что, как ни рылся, не находил в своей душе даже искорки...

Он молчал, а она между тем говорила, что для нее нет выше счастья, как видеть его, идти за ним, хоть сейчас, куда он хочет, быть его женой и помощницей, что если он уйдет от нее, то она умрет с тоски...

— Я не могу здесь оставаться! — сказала она, ломая руки. — Мне опостылели и дом, и этот лес, и воздух. Я не выношу постоянного покоя и бесцельной жизни, не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все

похожи один на другого, как капли воды! Все они сердечны и добродушны, потому что сыты, не страдают, не борются... А я хочу именно в большие сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой...

И это казалось Огневу приторным и несерьезным. Когда Вера кончила, он все еще не знал, что говорить, но молчать нельзя было, и он забормотал:

— Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам, хотя чувствую, что ничем не заслужил такого... с вашей стороны... чувства. Во-вторых, как честный человек, я должен сказать, что... счастье основано на равновесии, то есть когда обе стороны... одинаково любят...

Но тотчас же Огнев устыдился своего бормотания и замолчал. Он чувствовал, что в это время лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто... Вера, должно быть, сумела прочесть на его лице правду, потому что стала вдруг серьезной, побледнела и поникла головой.

— Вы извините меня, — пробормотал Огнев, не вынося молчания. — Я вас настолько уважаю, что... мне больно!

Вера резко повернулась и быстро пошла назад к усадьбе. Огнев последовал за ней.

— Нет, не надо! — сказала Вера, махнув ему кистью руки. — Не идите, я сама дойду...

— Нет, все-таки... нельзя не проводить...

Что ни говорил Огнев, все до последнего слова казалось ему отвратительным и плоским. Чувство вины росло в нем с каждым шагом. Он злился, сжимал кулаки и проклинал свою холодность и неумение держать себя с женщинами. Стараясь возбудить себя, он глядел на красивый стан Верочки, на ее косу и следы, которые оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки, припоминал ее слова и слезы, но все это только умиляло, но не раздражало его души.

«Ах, да нельзя же насильно полюбить! — убеждал он себя и в то же время думал: — Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под тридцать! Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу... О, собачья старость! Старость в тридцать лет!»

Вера шла впереди него все быстрее и быстрее, не оглядываясь и поникнув головой. Ему казалось, что с горя она осунулась, сузилась в плечах...

«Воображаю, что творится теперь у нее на душе! — думал он, глядя ей в спину. — Небось и стыдно и больно до того, что умирать хочется! Господи, сколько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся, а я... я глуп и нелеп!»

У калитки Вера мельком взглянула на него и, согнувшись, кутаясь в платок, быстро пошла по аллее.

Иван Алексеич остался один. Возвращаясь назад к лесу, он шел медленно, то и дело останавливался и оглядывался на калитку с таким выражением во всей своей фигуре, как будто не верил себе. Он искал глазами по дороге следов Верочкиных ног и не верил, что девушка, которая так нравилась ему, только что объяснилась ему в любви и что он так неуклюже и топорно «отказал» ей! Первый раз в жизни ему приходилось убедиться на опыте, как мало зависит человек от своей доброй воли, и испытать на себе самом положение порядочного и сердечного человека, против воли причиняющего своему ближнему жестокие, незаслуженные страдания.

У него болела совесть, а когда скрылась Вера, ему стало казаться, что он потерял что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторятся.

Дойдя до мостика, он остановился и задумался. Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. Искренне сознался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которою так часто хвастают умные люди, не холодность себялюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни.

С мостика он медленно, словно нехотя, пошел в лес. Здесь, где на черных, густых потемках там и сям обозначались резкими пятнами проблески лунного света, где он ничего не ощущал, кроме своих мыслей, ему страстно захотелось вернуть потерянное.

И помнит Иван Алексеич, что он опять вернулся. Подзадоривая себя воспоминаниями, рисуя насильно в своем воображении Веру, он быстро шагал к саду.

По дороге и в саду тумана уже не было, и ясная луна глядела с неба, как умытая, только лишь восток туманился и хмурился... Помнит Огнев свои осторожные шаги, темные окна, густой запах гелиотропа и резеды. Знакомый Каро, дружелюбно помахивая хвостом, подошел к нему и понюхал его руку... Это было единственное живое существо, видевшее, как он раза два прошелся вокруг дома, постоял у темного окна Веры и, махнув рукой, с глубоким вздохом пошел из сада.

Через час уже он был в городке и, утомленный, разбитый, прислонившись туловищем и горячим лицом к воротам постоялого двора, стучал скобкой. Где-то в городке спросонок лаяла собака, и точно в ответ на его стук около церкви зазвонили в чугунную доску.

— Шляешься по ночам... — ворчал хозяин-старовер в длинной, словно женской, сорочке, отворяя ему ворота. — Чем шляться-то, лучше бы богу молился.

Войдя к себе в комнату, Иван Алексеич опустился на постель и долго-долго глядел на огонь, потом встряхнул головой и стал укладываться...

*1887*

## ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ

Иван Дмитрич, человек средний, проживающий с семьей тысячу двести рублей в год и очень довольный своей судьбой, как-то после ужина сел на диван и стал читать газету.

— Забыла я сегодня в газету поглядеть, — сказала его жена, убирая со стола. — Посмотри, нет ли там таблицы тиражей?

— Да, есть, — ответил Иван Дмитрич. — А разве твой билет не пропал в залоге?

— Нет, я во вторник носила проценты.

— Какой номер?

— Серия девять тысяч четыреста девяносто девять, билет двадцать шесть.

— Так-с... Посмотрим-с... девять тысяч четыреста девяносто девять и двадцать шесть.

Иван Дмитрич не верил в лотерейное счастье и в другое время ни за что не стал бы глядеть в таблицу тиражей, но теперь от нечего делать и — благо, газета была перед глазами — он провел пальцем сверху вниз по номерам серий. И тотчас же, точно в насмешку над его неверием, не дальше как во второй строке сверху, резко бросилась в глаза цифра 9499! Не поглядев, какой номер билета, не проверяя себя, он быстро опустил газету на колени и, как будто кто плеснул ему на живот холодной водой, почувствовал под ложечкой приятный холодок: и щекотно, и страшно, и сладко!

— Маша, девять тысяч четыреста девяносто девять есть! — сказал он глухо.

Жена поглядела на его удивленное, испуганное лицо и поняла, что он не шутит.

— Девять тысяч четыреста девяносто девять? — спросила она, бледнея и опуская на стол сложенную скатерть.

— Да, да... Серьезно есть!

— А номер билета?

— Ах, да! Еще номер билета. Впрочем, постой... погоди. Нет, каково? Все-таки номер нашей серии есть! Все-таки, понимаешь...

Иван Дмитрич, глядя на жену, улыбался широко и бессмысленно, как ребенок, которому показывают блестящую вещь. Жена тоже улыбалась: ей, как и ему, приятно было, что он назвал только серию и не спешит узнать номер счастливого билета. Томить и дразнить себя надеждой на возможное счастье — это так сладко, жутко!

— Наша серия есть, — сказал Иван Дмитрич после долгого молчания. — Значит, есть вероятность, что мы выиграли. Только вероятность, но все же она есть!

— Ну, теперь взгляни.

— Постой. Еще успеем разочароваться. Это во второй строке сверху, значит выигрыш в семьдесят пять тысяч. Это не деньги, а сила, капитал! И вдруг я погляжу сейчас в таблицу, а там — двадцать шесть! А? Послушай, а что, если мы в самом деле выиграли?

Супруги стали смеяться и долго глядели друг на друга молча. Возможность счастья отуманила их, они не могли даже мечтать, сказать, на что им обоим нужны эти 75 000, что они купят, куда поедут. Думали они только о цифрах 9499 и 75 000, рисовали их в своем воображении, а о самом счастье, которое было так возможно, им как-то не думалось.

Иван Дмитрич, держа в руках газету, несколько раз прошелся из угла в угол и, только когда успокоился от первого впечатления, стал понемногу мечтать.

— А что, если мы выиграли? — сказал он. — Ведь это новая жизнь, это катастрофа! Билет твой, но если бы он был моим, то я прежде всего, конечно, купил бы тысяч за двадцать пять какую-нибудь недвижимость вроде имения; тысяч десять на единовременные расходы: новая обстановка... путешествие, долги заплатить и прочее. Остальные сорок тысяч в банк под проценты...

— Да, имение — это хорошо, — сказала жена, садясь и опуская на колени руки.

— Где-нибудь в Тульской или Орловской губернии... Во-первых, дачи не нужно, во-вторых, все-таки доход.

И в его воображении затолпились картины, одна другой ласковей, поэтичней, и во всех этих картинах он видел себя самого сытым, спокойным, здоровым, ему тепло, даже жарко! Вот он, поевши холодной, как лед, окрошки, лежит вверх животом на горячем песке у самой речки или в саду под липой... Жарко... Сынишка и дочь ползают возле, роются в песке или ловят в траве козявок. Он сладко дремлет, ни о чем не думает и всем телом чувствует, что ему не идти на службу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А надоело лежать, он идет на сенокос, или в лес за грибами, или же глядит, как мужики ловят неводом рыбу. Когда садится солнце, он берет простыню, мыло и плетется в купальню, где не спеша раздевается, долго разглаживает ладонями свою голую грудь и лезет в воду. А в воде около матовых мыльных кругов суетятся рыбешки, качаются зеленые водоросли. После купанья чай со сливками и со сдобными кренделями... Вечером прогулка или винт с соседями.

— Да, хорошо бы купить имение, — говорит жена, тоже мечтая, и по лицу ее видно, что она очарована своими мыслями.

Иван Дмитрич рисует себе осень с дождями, с холодными вечерами и с бабьим летом. В это время нужно нарочно подольше гулять по саду, огороду, по берегу реки, чтобы хорошенько озябнуть, а потом выпить большую рюмку водки и закусить соленым рыжиком или укропным огурчиком и — выпить другую. Детишки бегут с огорода и тащат морковь и редьку, от которой пахнет свежей землей... А после развалиться на диване и не спеша рассматривать какой-нибудь иллюстрированный журнал, а потом прикрыть журналом лицо, расстегнуть жилетку, отдаться дремоте...

За бабьим летом следует хмурое, ненастное время. Днем и ночью идет дождь, голые деревья плачут, ветер сыр и холоден. Собаки, лошади, куры — все мокро, уныло, робко. Гулять негде, из дому выходить нельзя, целый день приходится шагать из угла в угол и тоскливо поглядывать на пасмурные окна. Скучно!

Иван Дмитрич остановился и посмотрел на жену.

— Я, знаешь, Маша, за границу поехал бы, — сказал он.

И он стал думать о том, что хорошо бы поехать глубокой осенью за границу, куда-нибудь в южную Францию, Италию... Индию!

— Я тоже непременно бы за границу поехала, — сказала жена. — Ну, посмотри номер билета!

— Постой! Погоди...

Он ходил по комнате и продолжал думать. Ему пришло на мысль: а что, если в самом деле жена поедет за границу? Путешествовать приятно одному или же в обществе женщин легких, беззаботных, живущих минутой, а не таких, которые всю дорогу думают и говорят только о детях, вздыхают, пугаются и дрожат над каждой копейкой. Иван Дмитрич представил себе свою жену в вагоне со множеством узелков, корзинок, свертков; она о чем-то вздыхает и жалуется, что у нее от дороги разболелась голова, что у нее ушло много денег; то и дело приходится бегать на станцию за кипятком, бутербродами, водой... Обедать она не может, потому что это дорого...

«А ведь она бы меня в каждой копейке усчитывала, — подумал он, взглянув на жену. — Билет-то ее, а не мой! Да и зачем ей за границу ехать? Чего она там не видала? Будет в номере сидеть да меня не отпускать от себя... Знаю!»

И он первый раз в жизни обратил внимание на то, что его жена постарела, подурнела, вся насквозь пропахла кухней, а сам он еще молод, здоров, свеж, хоть женись во второй раз.

«Конечно, все это пустяки и глупости, — думал он, — но... зачем бы она поехала за границу? Что она там понимает? А ведь поехала бы... Воображаю... А на самом деле для нее что Неаполь, что Клин — все едино. Только бы мне помешала. Я бы у нее в зависимости был. Воображаю, как бы только получила деньги, то сейчас бы их по-бабьи под шесть замков... От меня будет прятать... Родне своей будет благотворить, а меня в каждой копейке усчитает».

Вспомнил Иван Дмитрич родню. Все эти братцы, сестрицы, тетеньки, дяденьки, узнав про выигрыш, приползут, начнут нищенски клянчить, маслено улыбаться, лицемерить. Противные, жалкие люди! Если им дать, то

они еще попросят; а отказать — будут клясть, сплетничать, желать всяких напастей.

Иван Дмитрич припомнил своих родственников, и их лица, на которые он прежде глядел безразлично, казались ему теперь противными, ненавистными.

«Это такие гадины!» — думал он.

И лицо жены стало казаться тоже противным, ненавистным. В душе его закипала против нее злоба, и он со злорадством думал:

«Ничего не смыслит в деньгах, а потому скупа. Если бы выиграла, дала бы мне только сто рублей, а остальные — под замок».

И он уже не с улыбкою, а с ненавистью глядел на жену. Она тоже взглянула на него и тоже с ненавистью и со злобой. У нее были свои радужные мечты, свои планы, свои соображения; она отлично понимала, о чем мечтает ее муж. Она знала, кто первый протянул бы лапу к ее выигрышу.

«На чужой-то счет хорошо мечтать! — говорил ее взгляд. — Нет, ты не смеешь!»

Муж понял ее взгляд; ненависть заворочалась у него в груди, и, чтобы досадить своей жене, он назло ей быстро заглянул на четвертую страницу газеты и провозгласил с торжеством:

— Серия девять тысяч четыреста девяносто девять, билет сорок шесть! Но не двадцать шесть!

Надежда и ненависть обе разом исчезли, и тотчас же Ивану Дмитричу и его жене стало казаться, что их комнаты темны, малы и низки, что ужин, который они съели, не насыщает, а только давит под желудком, что вечера длинны и скучны...

— Черт знает что, — сказал Иван Дмитрич, начиная капризничать. — Куда ни ступишь, везде бумажки под ногами, крошки, какая-то скорлупа. Никогда не подметают в комнатах! Придется из дому уходить, черт меня подери совсем. Уйду и повешусь на первой попавшейся осине.

*1887*

## ТАЙНА

Вечером первого дня пасхи действительный статский советник Навагин, вернувшись с визитов, взял в передней лист, на котором расписывались визитеры, и вместе с ним пошел к себе в кабинет. Разоблачившись и выпив сельтерской, он уселся поудобней на кушетке и стал читать подписи на листе. Когда его взгляд достиг до середины длинного ряда подписей, он вздрогнул, удивленно фыркнул и, изобразив на лице своем крайнее изумление, щелкнул пальцами.

— Опять! — сказал он, хлопнув себя по колену. — Это удивительно! Опять! Опять расписался этот, черт его знает, кто он такой, Федюков! Опять!

Среди многочисленных подписей находилась на листе подпись какого-то Федюкова. Что за птица этот Федюков, — Навагин решительно не знал. Он перебрал в памяти всех своих знакомых, родственников и подчиненных, припоминал свое отдаленное прошлое, но никак не мог вспомнить ничего даже похожего на Федюкова. Страннее же всего было то, что этот incognito [1] Федюков в последние тринадцать лет аккуратно расписывался каждое рождество и пасху. Кто он, откуда и каков он из себя, — не знали ни Навагин, ни его жена, ни швейцар.

— Удивительно! — изумлялся Навагин, шагая по кабинету. — Странно и непонятно! Какая-то каббалистика! Позвать сюда швейцара! — крикнул он. — Чертовски странно! Нет, я все-таки узнаю, кто он! Послушай,

[1] неизвестный *(лат.)*.

Григорий, — обратился он к вошедшему швейцару, — опять расписался этот Федюков! Ты видел его?

— Никак нет...

— Помилуй, да ведь он же расписался! Значит, он был в передней? Был?

— Никак нет не был.

— Как же он мог расписаться, если он не был?

— Не могу знать.

— Кому же знать? Ты зеваешь там в передней! Припомни-ка, может быть, входил кто-нибудь незнакомый! Подумай!

— Нет, вашество, незнакомых никого не было. Чиновники наши были, к ее превосходительству баронесса приезжала, священники с крестом приходили, а больше никого не было...

— Что ж, он невидимкой расписался, что ли?

— Не могу знать, но только Федюкова никакого не было. Это я хоть перед образом...

— Странно! Непонятно! Уди-ви-тель-но! — задумался Навагин. — Это даже смешно. Человек расписывается уже тринадцать лет, и ты никак не можешь узнать, кто он. Может быть, это чья-нибудь шутка? Может быть, какой-нибудь чиновник вместе со своей фамилией подписывает, ради курьеза, и этого Федюкова?

И Навагин стал рассматривать подпись Федюкова.

Размашистая, залихватская подпись на старинный манер, с завитушками и закорючками, по почерку совсем не походила на остальные подписи. Находилась она тотчас же под подписью губернского секретаря Штучкина, запуганного и малодушного человека, который, наверное, умер бы с перепуга, если бы позволил себе такую дерзкую шутку.

— Опять таинственный Федюков расписался! — сказал Навагин, входя к жене. — Опять я не добился, кто это такой!

М-me Навагина была спиритка, а потому все понятные и непонятные явления в природе объясняла очень просто.

— Ничего тут нет удивительного, — сказала она. — Ты вот не веришь, а я говорила и говорю: в природе очень много сверхъестественного, чего никогда не постигнет наш слабый ум! Я уверена, что этот Федюков —

дух, который тебе симпатизирует... На твоем месте я вызвала бы его и спросила, что ему нужно.

— Вздор, вздор!

Навагин был свободен от предрассудков, но занимавшее его явление было так таинственно, что поневоле в его голову полезла всякая чертовщина. Весь вечер он думал о том, что incognito Федюков есть дух какого-нибудь давно умершего чиновника, прогнанного со службы предками Навагина, а теперь мстящего потомку; быть может, это родственник какого-нибудь канцеляриста, уволенного самим Навагиным, или девицы, соблазненной им...

Всю ночь Навагину снился старый, тощий чиновник в потертом вицмундире, с желто-лимонным лицом, щетинистыми волосами и оловянными глазами; чиновник говорил что-то могильным голосом и грозил костлявым пальцем.

У Навагина едва не сделалось воспаление мозга. Две недели он молчал, хмурился и все ходил да думал. В конце концов он поборол свое скептическое самолюбие и, войдя к жене, сказал глухо:

— Зина, вызови Федюкова!

Спиритка обрадовалась, велела принести картонный лист и блюдечко, посадила рядом с собой мужа и стала священнодействовать. Федюков не заставил долго ждать себя...

— Что тебе нужно? — спросил Навагин.

— Кайся... — ответило блюдечко.

— Кем ты был на земле?

— Заблуждающийся...

— Вот видишь! — шепнула жена. — А ты не верил!

Навагин долго беседовал с Федюковым, потом вызывал Наполеона, Ганнибала, Аскоченского, свою тетку Клавдию Захаровну, и все они давали ему короткие, но верные и полные глубокого смысла ответы. Возился он с блюдечком часа четыре и уснул успокоенный, счастливый, что познакомился с новым для него, таинственным миром. После этого он каждый день занимался спиритизмом и в присутствии объяснял чиновникам, что в природе вообще очень много сверхъестественного, чудесного, на что нашим ученым давно бы следовало обратить внимание. Гипнотизм, медиумизм, бишопизм[1], спиритизм,

[1] Бишопизм — от фамилии выступавшего в 1884 г. в Москве с «угадыванием чужих мыслей» Бишопа.

четвертое измерение и прочие туманы овладели им совершенно, так что по целым дням он, к великому удовольствию своей супруги, читал спиритические книги или же занимался блюдечком, столоверчениями и толкованиями сверхъестественных явлений. С его легкой руки занялись спиритизмом и все его подчиненные, да так усердно, что старый экзекутор сошел с ума и послал однажды с курьером такую телеграмму: «В ад, казенная палата. Чувствую, что обращаюсь в нечистого духа. Что делать? Ответ уплачен. Василий Кринолинский».

Прочитав не одну сотню спиритических брошюр, Навагин почувствовал сильное желание самому написать что-нибудь. Пять месяцев он сидел и сочинял и в конце концов написал громадный реферат под заглавием: «И мое мнение». Кончив эту статью, он порешил отправить ее в спиритический журнал.

День, в который предположено было отправить статью, ему очень памятен. Навагин помнит, что в этот незабвенный день у него в кабинете находились секретарь, переписывавший набело статью, и дьячок местного прихода, позванный по делу. Лицо Навагина сияло. Он любовно оглядел свое детище, потрогал меж пальцами, какое оно толстое, счастливо улыбнулся и сказал секретарю:

— Я полагаю, Филипп Сергеич, заказным отправить. Этак вернее. — И, подняв глаза на дьячка, он сказал: — Вас я велел позвать по делу, любезный. Я отдаю младшего сына в гимназию, и мне нужно метрическое свидетельство, только нельзя ли поскорее.

— Очень хорошо-с, ваше превосходительство! — сказал дьячок, кланяясь. — Очень хорошо-с. Понимаю-с...

— Нельзя ли к завтрему приготовить?

— Хорошо-с, ваше превосходительство, будьте покойны-с! Завтра же будет готово! Извольте завтра прислать кого-нибудь в церковь перед вечерней. Я там буду. Прикажите спросить Федюкова, я всегда там...

— Как?! — крикнул генерал бледнея.

— Федюкова-с.

— Вы... вы Федюков? — спросил Навагин, тараща на него глаза.

— Точно так, Федюков.

— Вы... вы расписывались у меня в передней?

— Точно так, — сознался дьячок и сконфузился. — Я, ваше превосходительство, когда мы с крестом ходим, всегда у вельможных особ расписуюсь... Люблю это самое... Как увижу, извините, лист в передней, так и тянет меня имя свое записать...

В немом отупении, ничего не понимая, не слыша, Навагин зашагал по кабинету. Он потрогал портьеру у двери, раза три взмахнул правой рукой, как балетный jeune premier[1], видящий *ее,* посвистал, бессмысленно улыбнулся, указал в пространство пальцем.

— Так я сейчас пошлю статью, ваше превосходительство, — сказал секретарь.

Эти слова вывели Навагина из забытья. Он тупо оглядел секретаря и дьячка, вспомнил и, раздраженно топнув ногой, крикнул дребезжащим, высоким тенором:

— Оставьте меня в покое! А-ас-тавь-те меня в покое, говорю я вам! Что вам нужно от меня, не понимаю?

Секретарь и дьячок вышли из кабинета и были уже на улице, а он все еще топал ногами и кричал:

— Аставьте меня в покое! Что вам нужно от меня, не понимаю? А-ас-тавьте меня в покое!

*1887*

---

[1] первый любовник (театральное амплуа. — *Франц.*).

## СЛЕДОВАТЕЛЬ

Уездный врач и судебный следователь ехали в один хороший весенний полдень на вскрытие. Следователь, мужчина лет тридцати пяти, задумчиво глядел на лошадей и говорил:

— В природе есть очень много загадочного и темного, но и в обыденной жизни, доктор, часто приходится наталкиваться на явления, которые решительно не поддаются объяснению. Так, я знаю несколько загадочных странных смертей, причину которых возьмутся объяснить только спириты и мистики, человек же со свежей головой в недоумении разведет руками, и только. Например, я знаю одну очень интеллигентную даму, которая предсказала себе смерть и умерла без всякой видимой причины именно в назначенный ею день. Сказала, что умрет тогда-то, и умерла.

— Нет действия без причины, — сказал доктор. — Есть смерть, значит есть и причина. А что касается предсказания, то ведь тут мало диковинного. Все наши дамы и бабы обладают даром пророчества и предчувствия.

— Так-то так, но моя дама, доктор, совсем особенная. В ее предсказании и смерти не было ничего ни бабьего, ни дамского. Молодая женщина, здоровая, умница, без всяких предрассудков. У нее были такие умные, ясные, честные глаза; лицо открытое, разумное, с легкой, чисто русской усмешечкой во взгляде и на губах. Дамского или бабьего, если хотите, в ней было только одно — красота. Вся стройная, грациозная, как вот эта береза, волоса удивительные! Чтобы она не

оставалась для вас непонятной, прибавлю еще, что это был человек, полный самой заразительной веселости, беспечности и того умного, хорошего легкомыслия, которое бывает только у мыслящих, простодушных, веселых людей. Может ли тут быть речь о мистицизме, спиритизме, даре предчувствия или о чем-нибудь подобном? Над всем этим она смеялась.

Докторская бричка остановилась около колодца. Следователь и доктор напились воды, потянулись и стали ждать, когда кучер кончит поить лошадей.

— Ну-с, отчего же умерла та дама? — спросил доктор, когда бричка опять покатила по дороге.

— Умерла она странно. В один прекрасный день входит к ней муж и говорит, что не дурно бы к весне продать старую коляску, а вместо нее купить что-нибудь поновее и легче, и что не мешало бы переменить левую пристяжную, а Бобчинского (была у мужа такая лошадь) пустить в корень.

Жена выслушала его и говорит:

— Делай, как знаешь, мне теперь все равно. К лету я буду уже на кладбище.

Муж, конечно, пожимает плечами и улыбается.

— Я нисколько не шучу, — говорит она. — Объявляю тебе серьезно, что я скоро умру.

— То есть как скоро?

— Сейчас же после родов. Рожу и умру.

Словам этим муж не придал никакого значения. Он не верит ни в какие предчувствия и к тому же отлично знает, что женщины в интересном положении любят капризничать и вообще предаваться мрачным мыслям. Прошел день, и жена опять ему о том, что умрет тотчас же после родов, и потом каждый день все о том же, а он смеялся и обзывал ее бабой, гадалкой, кликушей. Близкая смерть стала idée fixe[1] жены. Когда муж не слушал ее, она шла в кухню и говорила там о своей смерти с няней и кухаркой:

— Не много еще мне осталось жить, нянюшка. Как только рожу, сейчас же и умру. Не хотелось бы умирать так рано, да уж знать судьба моя такая.

Нянька и кухарка, конечно, в слезы. Бывало, приедет к ней попадья или помещица, а она отведет ее в

---

[1] навязчивой идеей *(франц.)*.

угол и давай душу отводить — все о том же, о близкой смерти. Говорила она серьезно, с неприятной улыбкой, даже со злым лицом, не допуская возражений. Была она модницей, щеголихой, но тут ввиду скорой смерти все бросила и стала ходить неряхой; уже не читала, не смеялась, не мечтала вслух... Мало того, поехала с теткой на кладбище и облюбовала там место для своей могилки, а дней за пять до родов написала завещание. И имейте в виду, все это творилось при отличном здоровье, без малейших намеков на болезнь или какую-нибудь опасность. Роды — трудная штука, иногда смертельная, но у той, про которую я вам говорю, все обстояло благополучно и бояться было решительно нечего. Мужу в конце концов вся эта история надоела. Как-то за обедом он рассердился и спросил:

— Послушай, Наташа, когда же будет конец этим глупостям?

— Это не глупости. Я говорю серьезно.

— Вздор! Я бы тебе советовал перестать глупить, чтобы потом самой не было совестно.

Но вот наступили и роды. Муж привез из города самую лучшую акушерку. Роды были у жены первые, но сошли как нельзя лучше. Когда все кончилось, роженица пожелала взглянуть на младенца. Поглядела и сказала:

— Ну, а теперь и умереть можно.

Простилась, закрыла глаза и через полчаса отдала богу душу. До самой последней минуты она была в сознании. По крайней мере когда ей вместо воды подали молока, то она тихо прошептала:

— Зачем же вы мне вместо воды молока даете?

Так вот какая история. Как предсказала, так и умерла.

Следователь помолчал, вздохнул и сказал:

— Вот и объясните, отчего она умерла? Уверяю вас честным словом, это не выдумка, а факт.

Размышляя, доктор поглядел на небо.

— Надо было бы вскрыть ее, — сказал он.

— Зачем?

— А затем, чтобы узнать причину смерти. Не от предсказания же своего она умерла. Отравилась, по всей вероятности.

Следователь быстро повернулся лицом к доктору и, прищурив глаза, спросил:

— Из чего же вы заключаете, что она отравилась?

— Я не заключаю, а предполагаю. Она хорошо жила с мужем?

— Гм... не совсем. Недоразумения начались вскоре же после свадьбы. Было такое несчастное стечение обстоятельств. Покойница однажды застала мужа с одной дамой... Впрочем, она скоро простила ему.

— А что раньше было: измена мужа или появление идеи о смерти?

Следователь пристально поглядел на доктора, как бы желая разгадать, зачем он задает такой вопрос.

— Позвольте, — ответил он не сразу. — Позвольте, дайте припомнить. — Следователь снял шляпу и потер себе лоб. — Да, да... она стала говорить о смерти именно вскорости после того случая. Да, да.

— Ну, вот видите ли... По всей вероятности, она тогда же решила отравиться, но так как ей, вероятно, вместе с собой не хотелось убивать и ребенка, то она отложила самоубийство до родов.

— Едва ли, едва ли... Это невозможно. Она тогда же простила.

— Скоро простила, значит думала что-нибудь недоброе. Молодые жены прощают нескоро.

Следователь насильно улыбнулся и, чтобы скрыть свое слишком заметное волнение, стал закуривать папиросу.

— Едва ли, едва ли... — продолжал он. — Мне и в голову не приходила мысль о такой возможности... Да и к тому же... он не так уж виноват, как кажется... Изменил как-то странно, сам того не желая: пришел домой ночью навеселе, хочется приласкать кого-нибудь, а жена в интересном положении... а тут, черт ее побери, навстречу попадается дама, приехавшая погостить на три дня, бабенка пустая, глупая, некрасивая. Это даже и изменой считать нельзя. Жена и сама так взглянула на это и скоро... простила; потом об этом и разговора не было...

— Люди без причины не умирают, — сказал доктор.

— Это так, конечно, но все-таки... не могу допустить, чтобы она отравилась. Но странно, как это до сих пор мне в голову не приходило о возможности такой смерти!.. И никто не думал об этом! Все были

удивлены, что ее предсказание сбылось, и мысль о возможности... такой смерти была далекой... Да и не может быть, чтоб она отравилась! Нет!

Следователь задумался. Мысль о странно умершей женщине не оставляла его и во время вскрытия. Записывая то, что диктовал ему доктор, он мрачно двигал бровями и тер себе лоб.

— А разве есть такие яды, которые убивают в четверть часа, мало-помалу и без всякой боли? — спросил он у доктора, когда тот вскрывал череп.

— Да, есть. Морфий, например.

— Гм... Странно... Помню, она держала у себя что-то подобное... Но едва ли!

На обратном пути следователь имел утомленный вид, нервно покусывал усы и говорил неохотно.

— Давайте немного пешком пройдемся, — попросил он доктора. — Надоело сидеть.

Пройдя шагов сто, следователь, как показалось доктору, совсем ослабел, как будто взбирался на высокую гору. Он остановился и, глядя на доктора странными, точно пьяными глазами, сказал:

— Боже мой, если ваше предположение справедливо, то ведь это... это жестоко, бесчеловечно! Отравила себя, чтобы казнить этим другого! Да разве грех так велик! Ах, боже мой! И к чему вы мне подарили эту проклятую мысль, доктор!

Следователь в отчаянии схватил себя за голову и продолжал:

— Это я рассказывал вам про свою жену, про себя. О, боже мой! Ну, я виноват, я оскорбил, но неужели умереть легче, чем простить! Вот уж именно бабья логика, жестокая, немилосердная логика. О, она и тогда, при жизни, была жестокой! Теперь я припоминаю! Теперь для меня все ясно!

Следователь говорил и — то пожимал плечами, то хватал себя за голову. Он то садился в экипаж, то шел пешком. Новая мысль, сообщенная ему доктором, казалось, ошеломила его, отравила; он растерялся, ослабел душой и телом, и когда вернулись в город, простился с доктором, отказавшись от обеда, хотя еще накануне дал слово доктору пообедать с ним вместе.

*1887*

## ВОЛОДЯ

В одно из летних воскресений, часов в пять вечера, Володя, семнадцатилетний юноша, некрасивый, болезненный и робкий, сидел в беседке на даче у Шумихиных и скучал. Его невеселые мысли текли по трем направлениям. Во-первых, назавтра, в понедельник, ему предстояло держать экзамен по математике; он знал, что если завтра ему не удастся решить письменную задачу, то его исключат, так как сидел он в шестом классе два года и имел годовую отметку по алгебре $2^3/_4$. Во-вторых, его пребывание у Шумихиных, людей богатых и претендующих на аристократизм, причиняло постоянную боль его самолюбию. Ему казалось, что m-me Шумихина и ее племянницы глядят на него и его maman, как на бедных родственников и приживалов, что они не уважают maman и смеются над ней. Раз он нечаянно подслушал, как m-me Шумихина говорила на террасе своей кузине Анне Федоровне, что его maman продолжает еще молодиться и наводить на себя красоту, что она никогда не платит проигрыша и имеет пристрастие к чужим ботинкам и к чужому табаку. Каждый день Володя умолял maman не ездить к Шумихиным, описывал ей, какую обидную роль играет она у этих господ, убеждал, говорил дерзости, но та, легкомысленная, избалованная, прожившая на своем веку два состояния — свое и мужнино, всегда тяготевшая к высшему обществу, не понимала его, и Володя раза два в неделю должен был провожать ее на ненавистную дачу.

В-третьих, юноша ни на минуту не мог отделаться

от странного, неприятного чувства, которое было для него совершенно ново... Ему казалось, что он был влюблен в кузину и гостью Шумихиной, Анну Федоровну. Это была подвижная, голосистая и смешливая барынька, лет тридцати, здоровая, крепкая, розовая, с круглыми плечами, с круглым жирным подбородком и с постоянной улыбкой на тонких губах. Она была некрасива и немолода — Володя отлично знал это, но почему-то он был не в силах не думать о ней, не глядеть на нее, когда она, играя в крокет, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной или же после долгого смеха и беготни по лестницам падала в кресло и, зажмурив глаза, тяжело дыша, делала вид, что ее груди тесно и душно. Она была замужем. Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу, отлично высыпался и возвращался назад в город. Странное чувство началось у Володи с того, что он беспричинно возненавидел этого архитектора и радовался всякий раз, когда тот уезжал в город.

Теперь, сидя в беседке и думая о завтрашнем экзамене и о maman, над которой смеются, он чувствовал сильное желание видеть Нюту (так Шумихины называли Анну Федоровну), слышать ее смех, шорох ее платья... Это желание не походило на ту чистую, поэтическую любовь, которая была знакома ему по романам, и о которой он мечтал каждый вечер, ложась спать; оно было странно, непонятно, он стыдился его и боялся, как чего-то очень нехорошего и нечистого, в чем тяжело сознаваться перед самим собой...

— Это не любовь, — говорил он себе. — В тридцатилетних и замужних не влюбляются... Это просто маленькая интрижка... Да, интрижка...

Думая об интрижке, он вспоминал про свою непобедимую робость, про отсутствие усов, веснушки, узкие глаза, ставил себя в воображении рядом с Нютою — и эта пара казалось ему невозможной; тогда спешил он вообразить себя красивым, смелым, остроумным, одетым по самой последней моде.

В самый разгар мечтаний, когда он, сгорбившись и глядя в землю, сидел в темном уголке беседки, послышались легкие шаги. Кто-то не спеша шел по аллее. Скоро шаги затихли, и у входа мелькнуло что-то белое.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил женский голос.

Володя узнал этот голос и испуганно поднял голову.

— Кто тут? — спрашивала Нюта, входя в беседку. — Ах, это вы, Володя? Что вы здесь делаете? Думаете? И как это можно все думать, думать, думать... этак можно с ума сойти!

Володя поднялся и растерянно поглядел на Нюту. Она только что вернулась из купальни. На ее плечах висели простыня и мохнатое полотенце, и из-под белого шелкового платка на голове выглядывали мокрые волосы, прилипшие ко лбу. От нее шел влажный, прохладный запах купальни и миндального мыла. От быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ее блузы была расстегнута, так что юноша видел и шею и грудь.

— Что же вы молчите? — спросила Нюта, оглядывая Володю. — Невежливо молчать, когда с вами говорит дама. Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы все сидите, молчите, думаете, как философ какой-нибудь. В вас совсем нет жизни и огня! Противный вы, право... В ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться.

Володя глядел на простыню, которую поддерживала белая пухлая рука, и думал...

— Молчит! — удивлялась Нюта. — Это даже странно... Послушайте, будьте мужчиной! Ну, хоть улыбнитесь! Фуй, противный философ! — засмеялась она. — А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? Оттого, что вы не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здесь барышень нет, но ведь вам ничто не мешает ухаживать за дамами! Отчего вы, например, за мной не ухаживаете?

Володя слушал и в тяжелом, напряженном раздумье почесывал себе висок.

— Молчат и любят уединение только очень гордые люди, — продолжала Нюта, отдергивая его руку от виска. — Вы гордец, Володя. Почему вы глядите исподлобья? Извольте мне глядеть прямо в лицо! Да ну же, тюлень!

Володя решил заговорить. Желая улыбнуться, он задергал нижней губой, замигал глазами и опять потянул руку к виску.

— Я... я люблю вас! — проговорил он.

Нюта удивленно подняла брови и засмеялась.

— Что слышу я?! — запела она, как поют оперные певцы, когда слышат что-нибудь ужасное. — Как? Что вы сказали? Повторите, повторите...

— Я... я люблю вас! — повторил Володя.

И уж без всякого участия своей воли, ничего не понимая и не соображая, он сделал полшага к Нюте и взял ее за руку выше кисти. В глазах его помутилось и выступили слезы, весь мир обратился в одно большое, мохнатое полотенце, от которого пахло купальней.

— Браво, браво! — услышал он веселый смех. — Что же вы молчите? Мне хочется, чтобы вы говорили! Ну?

Видя, что ему не мешают держать руку, Володя взглянул на смеющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взял обеими руками ее за талию, причем кисти обеих рук его сошлись на ее спине. Он держал ее обеими руками за талию, а она, закинув на затылок руки и показывая ямочки на локтях, поправляла под платком прическу и говорила покойным голосом:

— Надо, Володя, быть ловким, любезным, милым, а таким можно сделаться под влиянием только женского общества. Однако какое у вас нехорошее... злое лицо. Надо говорить, смеяться... Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успеете еще нафилософствоваться. Ну, пустите меня, я пойду! Пустите же!

Она без усилия освободила свою талию и, что-то напевая, вышла из беседки. Володя остался один. Он пригладил свои волосы, улыбнулся и раз три прошелся из угла в угол, потом сел на скамью и улыбнулся еще раз. Ему было невыносимо стыдно, так что даже он удивлялся, что человеческий стыд может достигать такой остроты и силы. От стыда он улыбался, шептал какие-то несвязные слова и жестикулировал.

Ему было стыдно, что с ним только что обошлись, как с мальчиком, стыдно за свою робость, а главное, за то, что он осмелился взять порядочную замужнюю женщину за талию, хотя ни по возрасту, ни по своим наружным качествам, ни по общественному положению он, как ему казалось, не имел на это никакого права.

Он вскочил, вышел из беседки и, не оглядываясь, пошел в глубину сада подальше от дома.

«Ах, поскорее бы уехать отсюда! — думал он, хватая себя за голову. — Боже, поскорее бы!»

Поезд, на котором должен был ехать Володя с maman, отходил в восемь часов сорок минут. Оставалось до поезда около трех часов, но он с наслаждением ушел бы на станцию сейчас же, не дожидаясь maman.

В восьмом часу он подходил к дому. Вся его фигура изображала решимость: что будет, то будет! Он решился войти смело, глядеть прямо, говорить громко, несмотря ни на что.

Он прошел террасу, большую залу, гостиную и остановился в последней, чтобы перевести дух. Отсюда слышно было, как в соседней столовой пили чай. М-me Шумихина, maman и Нюта о чем-то говорили и смеялись.

Володя прислушался.

— Уверяю вас! — говорила Нюта. — Я своим глазам не верила! Когда он стал объясняться мне в любви и даже, представьте, взял меня за талию, я не узнала его. И знаете, у него есть манера! Когда он сказал, что влюблен в меня, то в лице у него было что-то зверское, как у черкеса.

— Неужели! — ахнула maman, закатываясь протяжным смехом. — Неужели! Как он напоминает мне своего отца!

Володя побежал назад и выскочил на свежий воздух.

«И как они могут говорить вслух об этом! — мучился он, всплескивая руками и с ужасом глядя на небо. — Говорят вслух, хладнокровно... И maman смеялась... maman! Боже мой, зачем ты дал мне такую мать? Зачем?»

Но идти в дом нужно было во что бы то ни стало. Он раза три прошелся по аллее, немного успокоился и вошел в дом.

— Что же вы не приходите вовремя чай пить? — строго спросила m-me Шумихина.

— Виноват, мне... мне пора ехать, — забормотал он, не поднимая глаз. — Maman, уж восемь часов!

— Поезжай сам, мой милый, — сказала томно maman, — я остаюсь ночевать у Лили. Прощай, мой друг... Дай я тебя перекрещу...

Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь к Нюте:

— Он немного похож на Лермонтова... Не правда ли?

Кое-как простившись и не взглянув ни на чье лицо, Володя вышел из столовой. Через десять минут он уж шагал по дороге к станции и был рад этому. Теперь уж ему не было ни страшно, ни стыдно, дышалось легко и свободно.

В полуверсте от станции он сел на камень у дороги и стал глядеть на солнце, которое больше чем наполовину спряталось за насыпь. На станции уж кое-где зажглись огни, замелькал один мутный зеленый огонек, но поезда еще не было видно. Володе приятно было сидеть, не двигаться и прислушиваться к тому, как малопомалу наступал вечер. Сумрак беседки, шаги, запах купальни, смех и талия — все это с поразительною ясностью предстало в его воображении, и все это уж не было так страшно и значительно, как раньше...

«Пустяки... Она не отдернула руку и смеялась, когда я держал ее за талию, — думал он, — значит, ей это нравилось. Если б ей это было противно, то она рассердилась бы...»

И теперь Володе стало досадно, что там, в беседке, у него было недостаточно смелости. Ему стало жаль, что он так глупо уезжает, и уж он был уверен, что если бы тот случай повторился, то он был бы смелее и проще смотрел бы на вещи.

А случаю повториться нетрудно. У Шумихиных после ужина долго гуляют. Если Володя пойдет гулять с Нютой по темному саду, то — вот и случай!

«Вернусь, — думал он, — а уеду завтра с утренним поездом... Скажу, что опоздал к поезду».

И он вернулся... М-me Шумихина, maman, Нюта и одна из племянниц сидели на террасе и играли в винт. Когда Володя солгал им, что опоздал к поезду, они обеспокоились, как бы он завтра не опоздал к экзамену, и посоветовали ему встать пораньше. Все время, пока они играли в карты, он сидел в стороне, жадно оглядывал Нюту и ждал... В его голове уж готов был план: он подойдет в потемках к Нюте, возьмет ее за руку, потом обнимет; говорить ничего не нужно, так как обоим все будет понятно без разговоров.

Но после ужина дамы не пошли гулять в сад и продолжали играть в карты. Играли они до часа ночи и потом разошлись спать.

«Как это все глупо! — досадовал Володя, ложась в постель. — Но ничего, погожу завтрашнего дня... Завтра опять в беседке. Ничего...»

Он не старался уснуть, а сидел в постели, обняв руками колена, и думал. Мысль об экзамене была ему противна. Он уж решил, что его исключат и что в этом исключении нет ничего ужасного. Напротив, все очень хорошо, даже очень. Завтра он будет свободен, как птица, наденет партикулярное платье, будет курить явно, ездить сюда и ухаживать за Нютой, когда угодно; и уж он будет не гимназистом, а «молодым человеком». А остальное, что называется карьерой и будущим, так ясно: Володя поступит в вольноопределяющиеся, в телеграфисты, наконец в аптеку, где дослужится до провизора... мало ли должностей? Прошел час-другой, а он все сидел и думал...

В третьем часу, когда уж светало, дверь осторожно скрипнула, и в комнату вошла maman.

— Ты не спишь? — спросила она, зевая. — Спи, спи, я на минутку... Я только капли возьму...

— Зачем вам?

— У бедной Лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзамен...

Она достала из шкафчика флакон с чем-то, подошла к окну, прочла сигнатурку и вышла.

— Марья Леонтьевна, это не те капли! — услышал через минуту Володя женский голос. — Это ландыш, а Лиля просит морфин. Ваш сын спит? Попросите его, чтобы он отыскал...

Это был голос Нюты. Володя похолодел. Он быстро надел брюки, накинул на плечи шинель и пошел к двери.

— Понимаете? Морфин! — объясняла шепотом Нюта. — Там должно быть написано по-латыни. Разбудите Володю, он найдет...

Maman открыла дверь, и Володя увидел Нюту. Она была в той же самой блузе, в какой ходила купаться. Волосы ее были не причесаны, разбросаны по плечам, лицо заспанное, смуглое от сумерек...

— Вот Володя не спит... — сказала она. — Володя, поищите, голубчик, в шкапе морфин! Наказание с этой Лили... Вечно у нее что-нибудь.

Maman что-то пробормотала, зевнула и ушла.

— Ищите же, — сказала Нюта. — Что стоите?

Володя пошел к шкафчику, присел на колени и стал перебирать флаконы и коробки с лекарствами. Руки у него дрожали, а в груди и в животе было такое ощущение, как будто по всем его внутренностям бегали холодные волны. От запаха эфира, карболовой кислоты и разных трав, за которые он без всякой надобности хватался дрожащими руками и которые рассыпались от этого, ему было душно и кружилась голова.

«Кажется, maman ушла, — думал он. — Это хорошо... хорошо...»

— Скоро же? — спросила протяжно Нюта.

— Сейчас... Вот это, кажется, морфин... — сказал Володя, прочитав на одной из сигнатур слово «morph...» — Извольте!

Нюта стояла в дверях так, что одна нога ее была в коридоре, а другая в его комнате. Она поправляла свои волосы, которые трудно было поправить — так они были густы и длинны! — и рассеянно глядела на Володю. В просторной блузе, заспанная, с распущенными волосами, при том скудном свете, какой шел в комнату от белого, но еще не освещенного солнцем неба, она показалась Володе обаятельной, роскошной... Очарованный, дрожа всем телом и с наслаждением вспоминая о том, как он обнимал это чудное тело в беседке, он подал ей капли и сказал:

— Какая вы...

— Что?

Она вошла в комнату.

— Что? — спросила она, улыбаясь.

Он молчал и смотрел на нее, потом, как тогда в беседке, взял за руку... А она смотрела на него, улыбалась и ждала: что будет дальше?

— Я вас люблю... — прошептал он.

Она перестала улыбаться, подумала и сказала:

— Погодите, кажется, кто-то идет. Ох, уж эти мне гимназисты! — говорила она вполголоса, идя к двери и выглядывая в коридор. — Нет, никого не видно...

Она вернулась...

Затем Володе показалось, что комната, Нюта, рассвет и сам он, — все слилось в одно ощущение острого, необыкновенного, небывалого счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вечную муку, но прошло полминуты, и все это вдруг исчезло. Володя видел одно

только полное, некрасивое лицо, искаженное выражением гадливости, и сам вдруг почувствовал отвращение к тому, что произошло.

— Однако мне нужно уходить, — сказала Нюта, брезгливо оглядывая Володю. — Какой некрасивый, жалкий... фи, гадкий утенок!

Как теперь Володе казались безобразны ее длинные волосы, просторная блуза, ее шаги, голос!..

«Гадкий утенок... — думал он после того, как она ушла. — В самом деле, я гадок... Все гадко».

На дворе уж восходило солнце, громко пели птицы; слышно было, как в саду шагал садовник и как скрипела его тачка... А немного погодя послышалось мычанье коров и звуки пастушеской свирели. Солнечный свет и звуки говорили, что где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но где она? О ней никогда не говорили Володе ни maman, ни все те люди, которые окружали его.

Когда лакей будил его к утреннему поезду, он представился спящим...

«Ну его, все к черту!» — думал он.

Встал с постели в одиннадцатом часу. Причесываясь перед зеркалом и глядя на свое некрасивое, бледное от бессонной ночи лицо, он подумал:

«Совершенно верно... Гадкий утенок».

Когда maman увидела его и ужаснулась, что он не на экзамене, Володя сказал:

— Я проспал, maman... Но вы не беспокойтесь, я представлю медицинское свидетельство.

Madame Шумихина и Нюта проснулись в первом часу. Володя слышал, как проснувшаяся m-me Шумихина со звоном открыла у себя окно, как на ее грубый голос ответила Нюта раскатистым смехом. Он видел, как отворилась дверь и из гостиной потянулась к завтраку вереница племянниц и приживалок (в толпе последних была и maman), как замелькало умытое, смеющееся лицо Нюты, а рядом с ее лицом черные брови и борода только что приехавшего архитектора.

Нюта была в малороссийском костюме, который совсем не шел к ней и делал ее неуклюжею; архитектор острил пошло и плоско; в котлетах, что подавали за завтраком, было очень много луку — так казалось Володе. Ему также казалось, что Нюта нарочно громко

хохотала и поглядывала в его сторону, чтобы этим дать понять ему, что воспоминание о ночи нисколько не беспокоит ее и что она не замечает присутствия за столом гадкого утенка.

В четвертом часу Володя ехал с maman на станцию. Грязные воспоминания, бессонная ночь, предстоящее исключение из гимназии, угрызения совести — все это возбуждало в нем теперь тяжелую, мрачную злобу. Он глядел на тощий профиль maman, на ее маленький носик, на ватерпруф, подаренный ей Нютою, и бормотал:

— Зачем вы пудритесь? Это не пристало в ваши годы! Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табак... противно! Я вас не люблю... не люблю!

Он оскорблял ее, а она испуганно поводила своими глазками, всплескивала ручками и шептала в ужасе:

— Что ты, друг мой? Боже мой, кучер услышит! Замолчи, а то кучер услышит! Ему все слышно!

— Не люблю... не люблю! — продолжал он, задыхаясь. — Вы безнравственная, бездушная... Не смейте носить этого ватерпруфа! Слышите? А то я изорву его в клочки...

— Опомнись, дитя мое! — заплакала maman. — Кучер услышит!

— А где состояние моего отца? Где ваши деньги? Вы все промотали! Мне не стыдно своей бедности, но стыдно, что у меня такая мать... Когда мои товарищи спрашивают о вас, я всегда краснею.

На поезде пришлось ехать до города две станции. Все время Володя стоял на площадке и дрожал всем телом. Ему не хотелось входить в вагон, так как там сидела мать, которую он ненавидел. Ненавидел он самого себя, кондукторов, дым от паровоза, холод, которому приписывал свою дрожь... И чем тяжелее становилось у него на душе, тем сильнее он чувствовал, что где-то на этом свете, у каких-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласк, веселья, раздолья... Он чувствовал это и тосковал так сильно, что даже один пассажир, пристально поглядев ему в лицо, спросил:

— Вероятно, у вас зубы болят?

В городе maman и Володя жили у Марьи Петровны, дамы-дворянки, которая нанимала большую квартиру

и от себя сдавала ее жильцам. Maman нанимала две комнаты: в одной с окнами, где стояла ее кровать и висели на стенах две картины в золотых рамах, жила она сама, а в другой, смежной, маленькой и темной, жил Володя. Тут стоял диван, на котором он спал, и, кроме этого дивана, не было никакой другой мебели; вся комната была занята плетеными корзинами с платьем, картонками от шляп и всяким хламом, который для чего-то берегла maman. Уроки приготовлял Володя в комнате матери или в «общей» — так называлась большая комната, куда все жильцы сходились во время обеда и по вечерам.

Вернувшись домой, он лег на диван и укрылся одеялом, чтобы унять дрожь. Картонки от шляп, плетенки и хлам напомнили ему, что у него нет своей комнаты, нет приюта, где бы он мог спрятаться от maman, от ее гостей и от голосов, которые доносились теперь из «общей»; ранец и книги, разбросанные по углам, напомнили ему об экзамене, на котором он не был.... Почему-то совсем некстати пришла ему на память Ментона, где он жил со своим покойным отцом, когда был семи лет; припомнились ему Биарриц и обе девочки-англичанки, с которыми он бегал по песку... Захотелось возобновить в памяти цвет неба и океана, высоту волн и свое тогдашнее настроение, но это не удалось ему; девочки-англичанки промелькнули в воображении, как живые, все же остальное смешалось, беспорядочно расплылось...

«Нет, здесь холодно», — подумал Володя, встал, надел шинель и пошел в «общую».

В «общей» пили чай. За самоваром сидели трое: maman, учительница музыки, старушка в черепаховом pince-nez, и Августин Михайлыч, пожилой, очень толстый француз, служивший на парфюмерной фабрике.

— Я сегодня не обедала, — говорила maman. — Надо бы горничную послать за хлебом.

— Дуняш! — крикнул француз.

Оказалось, что горничную услала куда-то хозяйка.

— О это ничего не означает, — сказал француз, широко улыбаясь. — Я сейчас сам схожу за хлебом. О, это ничего!

Он положил свою крепкую вонючую сигару на видное место, надел шляпу и вышел. По уходе его maman

стала рассказывать учительнице музыки о том, как она гостила у Шумихиных и как хорошо ее там принимали.

— Ведь Лили Шумихина моя родственница... — говорила она. — Ее покойный муж, генерал Шумихин, приходится кузеном моему мужу. А сама она урожденная баронесса Кольб...

— Maman, это неправда! — сказал раздраженно Володя. — Зачем лгать?

Он знал отлично, что maman говорит правду; в ее рассказе о генерале Шумихине и урожденной баронессе Кольб не было ни одного слова лжи, но тем не менее все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем.

— Вы лжете! — повторил Володя и ударил кулаком по столу с такой силой, что задрожала вся посуда и у maman расплескался чай. — Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Все это ложь!

Учительница музыки растерялась и закашляла в платок, делая вид, что она поперхнулась, а maman заплакала.

«Куда уйти?» — подумал Володя.

На улице он уж был; к товарищам идти стыдно. Опять некстати припомнились ему две девочки-англичанки... Он прошелся из угла в угол по «общей» и вошел в комнату Августина Михайлыча. Тут сильно пахло эфирными маслами и глицериновым мылом. На столе, на окнах и даже на стульях стояло множество флаконов, стаканчиков и рюмок с разноцветными жидкостями. Володя взял со стола газету, развернул ее и прочел заглавие: «Figaro»... Газета издавала какой-то сильный и приятный запах. Потом он взял со стола револьвер...

— Полноте, не обращайте внимания! — утешала в соседней комнате учительница музыки maman. — Он еще так молод! В его годы молодые люди всегда позволяют себе лишнее. С этим надо мириться.

— Нет, Евгения Андреевна, он слишком испорчен! — говорила maman нараспев. — Над ним нет старшего, а я слаба и ничего не могу сделать. Нет, я несчастна!

Володя вложил дуло револьвера в рот, нащупал что-то похожее на курок или собачку и надавил пальцем... Потом нащупал еще какой-то выступ и еще раз

надавил. Вынув дуло изо рта, он вытер его о полу шинели, оглядел замок; раньше он никогда в жизни не брал в руки оружия...

— Кажется, это надо поднять... — соображал он. — Да, кажется...

В «общую» вошел Августин Михайлыч и хохоча стал рассказывать о чем-то. Володя опять вложил дуло в рот, сжал его зубами и надавил что-то пальцем. Раздался выстрел... Что-то со страшною силой ударило Володю по затылку, и он упал на стол, лицом прямо в рюмки и во флаконы. Затем он увидел, как его покойный отец в цилиндре с широкой черной лентой, носивший в Ментоне траур по какой-то даме, вдруг охватил его обеими руками и оба они полетели в какую-то очень темную, глубокую пропасть.

Потом все смешалось и исчезло...

*1887*

## СЧАСТЬЕ

*Посвящается Я. П. Полонскому*

У широкой степной дороги, называемой большим шляхом, ночевала отара овец. Стерегли ее два пастуха. Один, старик лет восьмидесяти, беззубый, с дрожащим лицом, лежал на животе у самой дороги, положив локти на пыльные листья подорожника; другой — молодой парень, с густыми черными бровями и безусый, одетый в рядно, из которого шьют дешевые мешки, лежал на спине, положив руки под голову, и глядел вверх на небо, где над самым его лицом тянулся Млечный Путь и дремали звезды.

Пастухи были не одни. На сажень от них, в сумраке, застилавшем дорогу, темнела оседланная лошадь, а возле нее, опираясь на седло, стоял мужчина в больших сапогах и короткой чумарке, по всем видимостям господский объездчик. Судя по его фигуре, прямой и неподвижной, по манерам, по обращению с пастухами, лошадью, это был человек серьезный, рассудительный и знающий себе цену; даже в потемках были заметны в нем следы военной выправки и то величаво-снисходительное выражение, какое приобретается от частого обращения с господами и управляющими.

Овцы спали. На сером фоне зари, начинавшей уже покрывать восточную часть неба, там и сям видны были силуэты неспавших овец; они стояли и, опустив головы, о чем-то думали. Их мысли, длительные, тягучие, вызываемые представлениями только о широкой степи и небе, о днях и ночах, вероятно, поражали и угнетали

их самих до бесчувствия, и они, стоя теперь как вкопанные, не замечали ни присутствия чужого человека, ни беспокойства собак.

В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум, без которого не обходится степная летняя ночь; непрерывно трещали кузнечики, пели перепела, да на версту от отары, в балке, в которой тек ручей и росли вербы, лениво посвистывали молодые соловьи.

Объездчик остановился, чтобы попросить у пастухов огня для трубки. Он молча закурил и выкурил всю трубку, потом, ни слова не сказав, облокотился о седло и задумался. Молодой пастух не обратил на него никакого внимания; он продолжал лежать и глядеть на небо, старик же долго оглядывал объездчика и спросил:

— Никак Пантелей из Макаровской экономии?

— Я самый, — ответил объездчик.

— То-то я вижу. Не узнал — богатым быть. Откуда бог несет?

— Из Ковылевского участка.

— Далече. Под скопчину[1] отдаете участок?

— Разное. И под скопчину, и в аренду, и под бакчи. Я, собственно, на мельницу ездил.

Большая старая овчарка грязно-белого цвета, лохматая, с клочьями шерсти у глаз и носа, стараясь казаться равнодушной к присутствию чужих, раза три покойно обошла вокруг лошади и вдруг неожиданно, с злобным, старческим хрипеньем бросилась сзади на объездчика, остальные собаки не выдержали и повскакали со своих мест.

— Цыц, проклятая! — крикнул старик, поднимаясь на локте. — А, чтоб ты лопнула, бесова тварь!

Когда собаки успокоились, старик принял прежнюю позу и сказал покойным голосом:

— А в Ковылях, на самый вознесеньев день, Ефим Жменя помер. Не к ночи будь сказано, грех таких людей сгадывать, поганый старик был. Небось слыхал.

— Нет, не слыхал.

— Ефим Жменя, кузнеца Степки дядя. Вся округа его знает. У, да и проклятый же старик! Я его годов шестьдесят знаю, с той поры, как царя Александра, что француза гнал, из Таганрога на подводах в Москву

[1] Скопчина — аренда земли за определенную долю продукта.

везли. Мы вместе ходили покойника царя встречать, а тогда большой шлях не на Бахмут шел, а с Есауловки на Городище, и там, где теперь Ковыли, дудачьи гнезды были — что ни шаг, то гнездо дудачье. Тогда еще я приметил, что Жменя душу свою сгубил и нечистая сила в нем. Я так замечаю: ежели который человек мужицкого звания все больше молчит, старушечьими делами занимается да норовит в одиночку жить, то тут хорошего мало, а Ефимка, бывало, смолоду все молчит и молчит, да на тебя косо глядит, все он словно дуется и пыжится, как пивень перед куркою. Чтоб он в церковь пошел, или на улицу с ребятами гулять, или в кабак — не было у него такой моды, а все больше один сидит или со старухами шепчется. Молодым был, а уж в пасечники да в бакчевники нанимался. Бывало, придут к нему добрые люди на бакчи, а у него арбузы и дыни свистят. Раз тоже поймал при людях щуку, а она — го-го-го-го! захохотала...

— Это бывает, — сказал Пантелей.

Молодой пастух повернулся на бок и пристально, подняв свои черные брови, поглядел на старика.

— А ты слыхал, как арбузы свистят? — спросил он.

— Слыхать не слыхал, бог миловал, — вздохнул старик, — а люди сказывали. Мудреного мало... Захочет нечистая сила, так и в камне свистеть начнет. Перед волей у нас три дня и три ночи скеля[1] гудела. Сам слыхал. А щука хохотала, потому Жменя заместо шуки беса поймал.

Старик что-то вспомнил. Он быстро поднялся на колени и, пожимаясь, как от холода, нервно засовывая руки в рукава, залепетал в нос, бабьей скороговоркой:

— Спаси нас, господи, и помилуй! Шел я раз бережком в Новопавловку. Гроза собиралась, и такая была буря, что сохрани царица небесная, матушка... Поспешаю я что есть мочи, гляжу, а по дорожке, промеж терновых кустов — терен тогда в цвету был — белый вол идет. Я и думаю: чей это вол? Зачем его сюда занесла нелегкая? Идет он, хвостом машет и му-у-у! Только, это самое, братцы, догоняю его, подхожу близко, глядь! — а уж это не вол, а Жменя. Свят, свят, свят! Сотворил я крестное знамение, а он глядит на меня и бормочет,

---

[1] скала. *(Прим. А. П. Чехова.)*

бельмы выпучивши. Испужался я, страсть! Пошли рядом, боюсь я ему слово сказать, — гром гремит, молонья небо полосует, вербы к самой воде гнутся, — вдруг, братцы, накажи меня бог, чтоб мне без покаяния помереть, бежит поперек дорожки заяц... Бежит, остановился и говорит по-человечьи: «Здорово, мужики!» Пошла, проклятая! — крикнул старик на лохматого пса, который опять пошел обходом вокруг лошади. — А, чтоб ты издохла!

— Это бывает, — сказал объездчик, все еще опираясь на седло и не шевелясь; сказал он это беззвучным, глухим голосом, каким говорят люди, погруженные в думу.

— Это бывает, — повторил он глубокомысленно и убежденно.

— У, стервячий был старик! — продолжал старик уже не так горячо. — Лет через пять после воли его миром в конторе посекли, так он, чтобы, значит, злобу свою доказать, взял да и напустил на все Ковыли горловую болезнь. Повымерло тогда народу без счету, видимо-невидимо, словно в холеру...

— А как он болезнь напустил? — спросил молодой пастух после некоторого молчания.

— Известно, как. Тут ума большого не надо, была бы охота. Жменя людей гадючьим жиром морил. А это такое средство, что не то, что от жиру, даже от духу народ мрет.

— Это верно, — согласился Пантелей.

— Хотели его тогда ребята убить, да старики не дали. Нельзя его было убивать; он знал место, где клады есть. А кроме него ни одна душа не знала. Клады тут заговоренные, так что найдешь и не увидишь, а он видел. Бывало, идет бережком или лесом, а под кустами и скелями огоньки, огоньки, огоньки... Огоньки такие, как будто словно от серы. Я сам видел. Все так ждали, что Жменя людям места укажет или сам выроет, а он — сказано, сама собака не ест и другим не дает — так и помер: ни сам не вырыл, ни людям не показал.

Объездчик закурил трубку и на мгновение осветил свои большие усы и острый, строгого, солидного вида нос. Мелкие круги света прыгнули от его рук к картузу, побежали через седло по лошадиной спине и исчезли в гриве около ушей.

— В этих местах много кладов, — сказал он.

И, медленно затянувшись, он поглядел вокруг себя, остановил свой взгляд на белеющем востоке и добавил:

— Должны быть клады.

— Что и говорить, — вздохнул старик. — По всему видать, что есть, только, брат, копать их некому. Никто настоящих местов не знает, да по нынешнему времю, почитай, все клады заговоренные. Чтоб его найти и увидать, талисман надо такой иметь, а без талисмана ничего, паря, не поделаешь. У Жмени были талисманы, да нешто у него, у черта лысого, выпросишь? Он и держал-то их, чтоб никому не досталось.

Молодой пастух подполз шага на два к старику и, подперев голову кулаками, устремил на него неподвижный взгляд. Младенческое выражение страха и любопытства засветилось в его темных глазах и, как казалось в сумерках, растянуло и сплющило крупные черты его молодого, грубого лица. Он напряженно слушал.

— И в писаниях писано, что кладов тут много, — продолжал старик. — Это что и говорить... и говорить нечего. Одному новопавловскому старику солдату в Ивановке ярлык показывали, так в том ярлыке напечатано и про место, и даже сколько пудов золота, и в какой посуде; давно б по этому ярлыку клад достали, да только клад заговоренный, не подступишься.

— Отчего же, дед, не подступишься? — спросил молодой.

— Должно, причина какая есть, не сказывал солдат. Заговоренный... Талисман надо.

Старик говорил с увлечением, как будто изливал перед проезжим свою душу. Он гнусавил от непривычки говорить много и быстро, заикался и, чувствуя такой недостаток своей речи, старался скрасить его жестикуляцией головы, рук и тощих плеч; при каждом движении его холщовая рубаха мялась в складки, ползла к плечам и обнажала черную от загара и старости спину. Он обдергивал ее, а она тотчас же опять лезла. Наконец старик, точно выведенный из терпения непослушной рубахой, вскочил и заговорил с горечью:

— Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Так и пропадает добро задаром, без всякой пользы, как полова или овечий помет! А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа! Дождутся люди,

что его паны выроют или казна отберет. Паны уж начали курганы копать... Почуяли! Берут их завидки на мужицкое счастье! Казна тоже себе на уме. В законе так писано, что ежели который мужик найдет клад, то чтоб к начальству его представить. Ну, это погоди — не дождешься! Есть квас, да не про вас.

Старик презрительно засмеялся и сел на землю. Объездчик слушал со вниманием и соглашался, но по выражению его фигуры и по молчанию видно было, что все, что рассказывал ему старик, было не ново для него, что это он давно уже передумал и знал гораздо больше того, что было известно старику.

— На своем веку я, признаться, раз десять искал счастья, — сказал старик, конфузливо почесываясь. — На настоящих местах искал, да, знать, попадал все на заговоренные клады. И отец мой искал, и брат искал — ни шути не находили, так и умерли без счастья. Брату моему, Илье, царство ему небесное, один монах открыл, что в Таганроге, в крепости, в одном месте под тремя камнями клад есть и что клад этот заговоренный, а в те поры — было это, помню, в тридцать восьмом году — в Матвеевом Кургане армяшка жил, талисманы продавал. Купил Илья талисман, взял двух ребят с собой и пошел в Таганрог. Только, брат, подходит он к месту в крепости, а у самого места солдат с ружьем стоит.

В тихом воздухе, рассыпаясь по степи, пронесся звук. Что-то вдали грозно ахнуло, ударилось о камень и побежало по степи, издавая: «тах! тах! тах! тах!» Когда звук замер, старик вопросительно поглядел на равнодушного, неподвижно стоявшего Пантелея.

— Это в шахтах бадья сорвалась, — сказал молодой, подумав.

Уже светало. Млечный Путь бледнел и мало-помалу таял, как снег, теряя свои очертания. Небо становилось хмурым и мутным, когда не разберешь, чисто оно или покрыто сплошь облаками, и только по ясной, глянцевитой полосе на востоке и по кое-где уцелевшим звездам поймешь, в чем дело.

Первый утренний ветерок без шороха, осторожно шевеля молочаем и бурыми стеблями прошлогоднего бурьяна, пробежал вдоль дороги.

Объездчик очнулся от мыслей и встряхнул головой. Обеими руками он потряс седло, потрогал подпругу и,

как бы не решаясь сесть на лошадь, опять остановился в раздумье.

— Да, — сказал он, — близок локоть, да не укусишь... Есть счастье, да нет ума искать его.

И он повернулся лицом к пастухам. Строгое лицо его было грустно и насмешливо, как у разочарованного.

— Да, так и умрешь, не повидавши счастья, какое оно такое есть... — сказал он с расстановкой, поднимая левую ногу к стремени. — Кто помоложе, может, и дождется, а нам уж и думать пора бросить.

Поглаживая свои длинные, покрытые росой усы, он грузно уселся на лошади и с таким видом, как будто забыл что-то или не досказал, прищурил глаза на даль. В синеватой дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось; сторожевые и могильные курганы, которые там и сям высились над горизонтом и безграничною степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они все еще будут стоять, как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собой.

Проснувшиеся грачи, молча и в одиночку, летали над землей. Ни в ленивом полете этих долговечных птиц, ни в утре, которое повторяется аккуратно каждые сутки, ни в безграничности степи — ни в чем не видно было смысла. Объездчик усмехнулся и сказал:

— Экая ширь, господи помилуй! Пойди-ка найди счастье! Тут, — продолжал он, понизив голос и делая лицо серьезным, — тут наверняка зарыты два клада. Господа про них не знают, а старым мужикам, особливо солдатам, до точности про них известно. Тут, где-то на этом кряже (объездчик указал в сторону нагайкой), когда-то во время оно разбойники напали на караван с золотом; золото это везли из Петербурга Петру императору, который тогда в Воронеже флот строил. Разбойники побили возчиков, а золото закопали, да потом и не нашли. Другой же клад наши донские казаки зарыли. В двенадцатом году они у француза всякого добра, серебра и золота награбили видимо-невидимо. Когда ворочались к себе домой, то прослышали

дорогой, что начальство хочет у них отобрать все золото и серебро. Чем начальству так зря отдавать добро, они, молодцы, взяли и зарыли его, чтоб хоть детям досталось, а где зарыли — неизвестно.

— Я слышал про эти клады, — угрюмо пробормотал старик.

— Да, — задумался опять Пантелей. — Так...

Наступило молчание. Объездчик задумчиво поглядел на даль, усмехнулся и тронул повода все с тем же выражением, как будто забыл что-то или не досказал. Лошадь неохотно пошла шагом. Проехав шагов сто, Пантелей решительно встряхнул головой, очнулся от мыслей и, стегнув по лошади, поскакал рысью.

Пастухи остались одни.

— Это Пантелей из Макаровской экономии, — сказал старик. — Полтораста в год получает, на хозяйских харчах. Образованный человек...

Проснувшиеся овцы — их было около трех тысяч — неохотно, от нечего делать принялись за невысокую, наполовину утоптанную траву. Солнце еще не взошло, но уже были видны все курганы и далекая, похожая на облако Саур-Могила с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то с нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнозоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог. Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей.

Старик нащупал возле себя свою «герлыгу», длинную палку с крючком на верхнем конце, и поднялся. Он молчал и думал. С лица молодого еще не сошло младенческое выражение страха и любопытства. Он находился под впечатлением слышанного и с нетерпением ждал новых рассказов.

— Дед, — спросил он, поднимаясь и беря свою герлыгу, — что же твой брат, Илья, с солдатом сделал?

Старик не расслышал вопроса. Он рассеянно поглядел на молодого и ответил, пошамкав губами:

— А я, Санька, все думаю про тот ярлык, что в Ивановке солдату показывали. Я Пантелею не сказал, бог с ним, а ведь в ярлыке обозначено такое место, что

даже баба найдет. Знаешь, какое место? В Богатой Балочке, в том, знашь, месте, где балка, как гусиная лапка, расходится на три балочки; так в средней.

— Что ж, будешь рыть?

— Попытаю счастья...

— Дед, а что ты станешь делать с кладом, когда найдешь его?

— Я-то? — усмехнулся старик. — Гм!.. Только бы найти, а то... показал бы я всем кузькину мать... Гм!.. Знаю, что делать...

И старик не сумел ответить, что он будет делать с кладом, если найдет его. За всю жизнь этот вопрос представился ему в это утро, вероятно, впервые, а судя по выражению лица, легкомысленному и безразличному, не казался ему важным и достойным размышления. В голове Саньки копошилось еще одно недоумение: почему клады ищут только старики и к чему сдалось земное счастье людям, которые каждый день могут умереть от старости? Но недоумение это Санька не умел вылить в вопрос, да едва ли бы старик нашел, что ответить ему.

Окруженное легкою мутью, показалось громадное багровое солнце. Широкие полосы света, еще холодные, купаясь в росистой траве, потягиваясь и с веселым видом, как будто стараясь показать, что это не надоело им, стали ложиться по земле. Серебристая полынь, голубые цветы свинячей цибульки, желтая сурепа, васильки — все это радостно запестрело, принимая свет солнца за свою собственную улыбку.

Старик и Санька разошлись и стали по краям отары. Оба стояли, как столбы, не шевелясь, глядя в землю и думая. Первого не отпускали мысли о счастье, второй же думал о том, что говорилось ночью; интересовало его не самое счастье, которое было ему не нужно и непонятно, а фантастичность и сказочность человеческого счастья.

Сотня овец вздрогнула и в каком-то непонятном ужасе, как по сигналу, бросилась в сторону от отары. И Санька, как будто бы мысли овец, длительные и тягучие, на мгновение сообщились и ему, в таком же непонятном, животном ужасе бросился в сторону, но тотчас же пришел в себя и крикнул:

— Тю, скаженные! Перебесились, нет на вас погибели!

А когда солнце, обещая долгий, непобедимый зной, стало припекать землю, все живое, что ночью двигалось и издавало звуки, погрузилось в полусон. Старик и Санька со своими герлыгами стояли у противоположных краев отары, стояли не шевелясь, как факиры на молитве, и сосредоточенно думали. Они уже не замечали друг друга, и каждый из них жил своей собственной жизнью. Овцы тоже думали...

*1887*

## НЕНАСТЬЕ

В темные окна стучали крупные дождевые капли. Это был один из тех противных дачных дождей, которые обыкновенно, раз начавшись, тянутся долго, по неделям, пока озябнувший дачник, привыкнув, не погружается в совершенную апатию. Было холодно, чувствовалась резкая, неприятная сырость. Теща присяжного поверенного Квашина и его жена, Надежда Филипповна, одетые в ватерпруфы и шали, сидели в столовой за обеденным столом. На лице старухи было написано, что она, слава богу, сыта, одета, здорова, выдала единственную дочку за хорошего человека и теперь со спокойною совестью может раскладывать пасьянс; дочь ее, небольшая полная блондинка лет двадцати, с кротким малокровным лицом, поставив локти на стол, читала книгу; судя по глазам, она не столько читала, сколько думала свои собственные мысли, которых не было в книге. Обе молчали. Слышался шум дождя, и из кухни доносились протяжные зевки кухарки.

Самого Квашина не было дома. В дождливые дни он не приезжал на дачу, оставался в городе; сырая дачная погода дурно влияла на его бронхит и мешала работать. Он держался того мнения, что вид серого неба и дождевые слезы на окнах отнимают энергию и нагоняют хандру. В городе же, где больше комфорта, ненастье почти не заметно.

После двух пасьянсов старуха смешала карты и взглянула на дочь.

— Я загадывала, будет ли завтра хорошая погода и приедет ли наш Алексей Степаныч, — сказала она. — Уж пятый день, как его нет... Наказал бог погодой...

Надежда Филипповна равнодушно поглядела на мать, встала и прошлась из угла в угол.

— Вчера барометр поднимался, — сказала она в раздумье, — а сегодня, говорят, опять падает.

Старуха разложила карты в три длинных ряда и покачала головой.

— Соскучилась? — спросила она, взглянув на дочь.

— Конечно!

— То-то я вижу. Как не соскучиться! Уж пятый день его нет. Бывало, в мае, самое большое два дня, ну три, а теперь — шутка ли? — пятый день! Я ему не жена и то соскучилась. А вчера, как сказали мне, что барометр поднимается, я для него, для Алексея Степаныча-то, велела цыпленка зарезать и карасей почистить. Любит он. Покойный твой отец видеть рыбы не мог, а он любит. Всегда с аппетитом кушает.

— У меня за него сердце болит, — сказала дочь. — Нам скучно, а ведь ему, мама, еще скучнее.

— Еще бы! День-деньской по судам, а ночью, как сыч, один в пустой квартире.

— И что ужасно, мама, он там один, без прислуги, некому самовар поставить или воды подать. Почему бы не нанять на летние месяцы лакея? Да и вообще к чему эта дача, если он не любит? Говорила ему — не нужно, так нет. «Для твоего, говорит, здоровья». А какое мое здоровье? Я и болею-то оттого, что он из-за меня такие муки терпит.

Глядя через плечо матери, дочь заметила ошибку в пасьянсе, нагнулась к столу и стала поправлять. Наступило молчание. Обе глядели в карты и воображали себе, как их Алексей Степаныч один-одинешенек сидит теперь в городе, в своем мрачном, пустом кабинете и работает, голодный, утомленный, тоскующий по семье...

— А знаешь что, мама? — сказала вдруг Надежда Филипповна, и глаза ее засветились. — Если завтра будет такая же погода, то я с утренним поездом поеду к нему в город! По крайней мере я хоть об его здоровье узнаю, погляжу на него, чаем его напою.

И обе стали удивляться, как эта мысль, такая простая и легко исполнимая, раньше не приходила им в голову. До города всего полчаса езды, да потом на извозчике минут двадцать. Они поговорили еще немного и, довольные, легли спать, вместе в одной комнате.

— Охо-хо-хо... Господи, прости нас грешных! — вздохнула старуха, когда часы в зале пробили два. — Не спится!

— Ты не спишь, мама? — спросила дочь шепотом. — А я все об Алеше думаю. Как бы он своего здоровья не испортил в городе! Обедает он и завтракает бог знает где, в ресторанах да в трактирах.

— Я и сама об этом думала, — вздохнула старуха. — Спаси и сохрани, царица небесная. А дождь-то, дождь!

Утром дождь уже не стучал в окна, но небо по-вчерашнему было серо. Деревья стояли печальные и при каждом налете ветра сыпали с себя брызги. Следы человеческих ног на грязных тропинках, канавки и колеи были полны воды. Надежда Филипповна решила ехать.

— Кланяйся же ему, — говорила старуха, укутывая дочь. — Скажи, чтоб не очень-то по своим судам... И отдохнуть надо. Пускай, когда на улицу выходит, шею кутает: погода — спаси бог! Да возьми ему туда цыпленка; домашнее, хоть и холодное, а все же лучше, чем в трактире.

Дочь уехала, сказав, что вернется с вечерним поездом или завтра утром.

Но вернулась она гораздо раньше, перед обедом, когда старуха сидела у себя в спальне на сундуке и, подремывая, придумывала, что бы такое изжарить к вечеру для зятя.

Дочь, войдя к ней в комнату, бледная, расстроенная, и не сказав ни слова, не снимая шляпы, опустилась на постель и прислонилась головой к подушке.

— Да что с тобой? — изумилась старуха. — Отчего так скоро? Алексей Степаныч где?

Надежда Филипповна подняла голову и сухими, умоляющими глазами поглядела на мать.

— Он обманывает нас, мама! — проговорила она.

— Да что ты, Христос с тобой! — испугалась старуха, и с ее головы сполз чепец. — Кто станет нас с тобой обманывать? Помилуй, господи!

— Он обманывает нас, мама! — повторила дочь, и подбородок у нее задрожал.

— Откуда ты взяла? — крикнула старуха бледнея.

— Наша квартира заперта. Дворник говорит, что в эти пять дней Алеша ни разу домой не приходил. Он не дома живет! Не дома! Не дома!

Она замахала руками и громко заплакала, произнося только:

— Не дома! Не дома!

С нею сделалась истерика.

— Что же это такое? — бормотала старуха в ужасе. — Ведь он же писал третьего дня, что из дому не выходит! Ночует он где? Святители-угодники!

Надежда Филипповна ослабела и не могла даже снять с себя шляпу. Точно ей дали дурману, она бессмысленно поводила глазами и судорожно хватала мать за руки.

— Нашла кому поверить: дворнику! — говорила старуха, суетясь около дочери и плача. — Экая ревнивая! Не станет он обманывать... Да и как он смеет обманывать? Разве мы какие-нибудь? Мы хоть и купеческого звания, а он не имеет права, потому что ты ему законная жена! Мы жаловаться можем! Я за тобой двадцать тысяч дала! Ты не бесприданница!

И старуха сама разрыдалась и махнула рукой, и тоже ослабела, и легла на свой сундук. Обе они не заметили, как на небе показались голубые пятна, разредились облака, как в саду по мокрой траве осторожно скользнул первый луч, как повеселевшие воробьи запрыгали около луж, в которых отражались бегущие облака.

К вечеру приехал Квашин. Перед выездом из города он побывал у себя на квартире и узнал от дворника, что в его отсутствие приезжала жена.

— А вот и я! — сказал он весело, входя в комнату тещи и делая вид, как будто не замечает заплаканных, суровых лиц. — А вот и я! Пять суток не видались!

Он быстро поцеловал руки жене и теще и, с видом человека, который рад, что покончил с тяжелой работой, повалился в кресло.

— Уф! — сказал он, выпуская из легких весь воздух. — То есть вот как замучился! Едва сижу! Почти пять суток... день и ночь жил, как на бивуаках! На квар-

тире ни разу не был, можете себе представить! Все время возился с конкурсом Шипунова и Иванчикова, пришлось работать у Галдеева, в его конторе, при магазине... Не ел, не пил, спал на какой-то скамейке, весь иззябся... Минуты свободной не было, некогда было даже у себя на квартире побывать. Так, Надюша, я и не был дома...

И Квашин, держась за бока, точно у него от работы болела поясница, искоса поглядел на жену и тещу, чтобы узнать, как подействовала его ложь, или, как он сам называл, дипломатия. Теща и жена поглядывали друг на друга с радостным изумлением, как будто нежданно-негаданно нашли драгоценность, которую потеряли... Лица у них сияли, глаза горели...

— Голубчик ты мой, — заговорила теща, вскакивая, — что же это я сижу? Чаю! Скорей чаю! Может, есть хочешь?

— Конечно, хочет! — сказала жена, срывая с своей головы платок, смоченный в уксусе. — Мама, подавайте скорей вино и закуску! Наталья, собирай на стол! Ах, боже мой, ничего не готово!

И обе, испуганные, счастливые, засуетились, забегали по комнатам. Старуха не могла уже без смеха глядеть на дочь, которая оклеветала ни в чем неповинного человека, а дочери было совестно...

Скоро стол был накрыт. Квашин, от которого пахло мадерой и ликерами и который еле дышал от сытости, жаловался на голод, насильно жевал и все говорил про конкурс Шипунова и Иванчикова, а жена и теща не отрывали глаз от его лица и думали:

«Какой он у нас умный, ласковый! Какой он красивый!»

«Важно! — думал Квашин, ложась после ужина на большую, пухлую перину. — Хоть и купчихи они, хоть Азия, а все же есть своеобразная прелесть, и день-два в неделю можно провести здесь со вкусом...»

Он укрылся, согрелся и проговорил, засыпая:

— Важно!

*1887*

## ДРАМА

— Павел Васильич, там какая-то дама пришла, вас спрашивает, — доложил Лука. — Уж целый час дожидается...

Павел Васильевич только что позавтракал. Услыхав о даме, он поморщился и сказал:

— Ну ее к черту! Скажи, что я занят.

— Она, Павел Васильич, уже пять раз приходила. Говорит, что очень нужно вас видеть... Чуть не плачет.

— Гм... Ну, ладно, проси ее в кабинет.

Павел Васильевич, не спеша, надел сюртук, взял в одну руку перо, в другую — книгу и, делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет. Там уже ждала его гостья — большая полная дама с красным, мясистым лицом и в очках, на вид весьма почтенная и одетая больше чем прилично (на ней был турнюр с четырьмя перехватами и высокая шляпка с рыжей птицей). Увидев хозяина, она закатила под лоб глаза и сложила молитвенно руки.

— Вы, конечно, не помните меня, — начала она высоким мужским тенором, заметно волнуясь. — Я... я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких... Я Мурашкина...

— А-а-а... мм... Садитесь! Чем могу быть полезен?

— Видите ли, я... я... — продолжала дама, садясь и еще более волнуясь. — Вы меня не помните... Я Мурашкина... Видите ли, я большая поклонница вашего та-

ланта и всегда с наслаждением читаю ваши статьи... Не подумайте, что я льщу, — избави бог, — я воздаю только должное... Всегда, всегда вас читаю! Отчасти я сама не чужда авторства, то есть, конечно... я не смею называть себя писательницей, но... все-таки и моя капля меда есть в улье... Я напечатала разновременно три детских рассказа, — вы не читали, конечно... много переводила и... и мой покойный брат работал в «Деле».

— Так-с... э-э-э... Чем могу быть полезен?

— Видите ли... (Мурашкина потупила глаза и зарумянилась.) Я знаю ваш талант... ваши взгляды, Павел Васильевич, и мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее... попросить совета. Я, надо вам сказать, pardon pour l'expression [1], разрешилась от бремени драмой, и мне, прежде чем посылать ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение.

Мурашкина нервно, с выражением пойманной птицы, порылась у себя в платье и вытащила большую жирную тетрадищу.

Павел Васильевич любил только свои статьи, чужие же, которые ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатление пушечного жерла, направленного ему прямо в физиономию. Увидев тетрадь, он испугался и поспешил сказать:

— Хорошо, оставьте... я прочту.

— Павел Васильевич! — сказала томно Мурашкина, поднимаясь и складывая молитвенно руки. — Я знаю, вы заняты... вам каждая минута дорога, и я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к черту, но... будьте добры, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас... Будьте милы!

— Я очень рад... — замялся Павел Васильевич, — но, сударыня, я... я занят... Мне... мне сейчас ехать нужно.

— Павел Васильевич! — простонала барыня, и глаза ее наполнились слезами. — Я жертвы прошу! Я нахальна, я назойлива, но будьте великодушны! Завтра я уезжаю в Казань, и мне сегодня хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне полчаса вашего внимания... только полчаса! Умоляю вас!

---

[1] извините за выражение *(франц.)*.

Павел Васильевич был в душе тряпкой и не умел отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать и стать на колени, он сконфузился и забормотал растерянно:

— Хорошо-с, извольте... я послушаю... Полчаса я готов.

Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усевшись, начала читать. Сначала она прочла о том, как лакей и горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышне Анне Сергеевне, которая построила в селе школу и больницу. Горничная, когда лакей вышел, произнесла монолог о том, что ученье — свет, а неученье — тьма; потом Мурашкина вернула лакея в гостиную и заставила его сказать длинный монолог о барине-генерале, который не терпит убеждений дочери, собирается выдать ее за богатого камер-юнкера и находит, что спасение народа заключается в круглом невежестве. Затем, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентине Ивановиче, сыне бедного учителя, безвозмездно помогающем своему больному отцу. Валентин прошел все науки, но не верует ни в дружбу, ни в любовь, не знает цели в жизни и жаждет смерти, а потому ей, барышне, нужно спасти его.

Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване. Он злобно оглядывал Мурашкину, чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал ее мужской тенор, ничего не понимал и думал:

«Черт тебя принес... Очень мне нужно слушать твою чепуху!.. Ну, чем я виноват, что ты драму написала? Господи, а какая тетрадь толстая! Вот наказание!»

Павел Васильевич взглянул на простенок, где висел портрет его жены, и вспомнил, что жена приказала ему купить и привезти на дачу пять аршин тесьмы, фунт сыру и зубного порошку.

«Как бы мне не потерять образчик тесьмы, — думал он. — Куда я его сунул? Кажется, в синем пиджаке... А подлые мухи успели-таки засыпать многоточиями женин портрет. Надо будет приказать Ольге помыть стекло... Читает XII явление, значит, скоро конец первого действия. Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, как у этой туши, возможно вдохнове-

ние? Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку да спала бы в погребе...»

— Вы не находите, что этот монолог несколько длинен? — спросила вдруг Мурашкина, поднимая глаза.

Павел Васильевич не слышал монолога. Он сконфузился и сказал таким виноватым тоном, как будто не барыня, а он сам написал этот монолог:

— Нет, нет, нисколько... Очень мило...

Мурашкина просияла от счастья и продолжала читать:

— «*Анна.* Вас заел анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму. *Валентин.* Что такое сердце? Это понятие анатомическое. Как условный термин того, что называется чувствами, я не признаю его. *Анна* (смутившись). А любовь? Неужели и она есть продукт ассоциации идей? Скажите откровенно: вы любили когда-нибудь? *Валентин* (с горечью). Не будем трогать старых, еще не зажывших ран (пауза). О чем вы задумались? *Анна.* Мне кажется, что вы несчастливы».

Во время XVI явления Павел Васильевич зевнул и нечаянно издал зубами звук, какой издают собаки, когда ловят мух. Он испугался этого неприличного звука и, чтобы замаскировать его, придал своему лицу выражение умилительного внимания.

«XVII явление... Когда же конец? — думал он. — О боже мой! Если эта мука продолжится еще десять минут, то я крикну караул... Невыносимо!»

Но вот, наконец, барыня стала читать быстрее и громче, возвысила голос и прочла: «занавес».

Павел Васильевич легко вздохнул и собрался подняться, но тотчас же Мурашкина перевернула страницу и продолжала читать:

— «Действие второе. Сцена представляет сельскую улицу. Направо школа, налево больница. На ступенях последней сидят поселяне и поселянки».

— Виноват... — перебил Павел Васильевич. — Сколько всех действий?

— Пять, — ответила Мурашкина и тотчас же, словно боясь, чтобы слушатель не ушел, быстро продолжала: — «Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак».

Как приговоренный к казни и уверенный в невозможности помилования, Павел Васильевич уж не ждал конца, ни на что не надеялся, а только старался, чтобы его глаза не слипались и чтобы с лица не сходило выражение внимания... Будущее, когда барыня кончит драму и уйдет, казалось ему таким отдаленным, что он и не думал о нем.

— Тру-ту-ту-ту... — звучал в его ушах голос Мурашкиной. — Тру-ту-ту... Жжжж...

«Забыл я соды принять, — думал он. — О чем, бишь, я? Да, о соде... У меня, по всей вероятности, катар желудка... Удивительно: Смирновский целый день глушит водку, и у него до сих пор нет катара... На окно какая-то птичка села... Воробей...»

Павел Васильевич сделал усилие, чтобы разомкнуть напряженные, слипающиеся веки, зевнул, не раскрывая рта, и поглядел на Мурашкину. Та затуманилась, закачалась в его глазах, стала трехголовой и уперлась головой в потолок...

— «*Валентин.* Нет, позвольте мне ехать... *Анна* (испуганно). Зачем? *Валентин* (в сторону). Она побледнела! (Ей.) Не заставляйте меня объяснять причин. Скорее я умру, но вы не узнаете этих причин. *Анна* (после паузы). Вы не можете уехать...»

Мурашкина стала пухнуть, распухла в громадину и слилась с серым воздухом кабинета; виден был только один ее двигающийся рот; потом она вдруг стала маленькой, как бутылка, закачалась и вместе со столом ушла в глубину комнаты...

— «*Валентин* (держа Анну в объятиях). Ты воскресила меня, указала цель жизни! Ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю! Но... поздно, поздно! Грудь мою точит неизлечимый недуг...»

Павел Васильевич вздрогнул и уставился посоловелыми, мутными глазами на Мурашкину; минуту глядел он неподвижно, как будто ничего не понимая...

— «Явление XI. Те же, барон и становой с понятыми... *Валентин.* Берите меня! *Анна.* Я его! Берите и меня! Да, берите и меня! Я люблю его, люблю больше жизни! *Барон.* Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца...»

Мурашкина опять стала пухнуть... Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, вскрикнул грудным, неестественным голосом, схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя, со всего размаху ударил им по голове Мурашкиной...

— Вяжите меня, я убил ее! — сказал он через минуту вбежавшей прислуге.

Присяжные оправдали его.

*1887*

## БЕЗЗАКОНИЕ

Совершая свою вечернюю прогулку, коллежский асессор Мигуев остановился около телеграфного столба и глубоко вздохнул. Неделю тому назад на этом самом месте, когда он вечером возвращался с прогулки к себе домой, его догнала бывшая его горничная Агния и сказала со злобой:

— Ужо погоди! Такого тебе рака испеку, что будешь знать, как невинных девушек губить! И младенца тебе подкину, и в суд пойду, и жене твоей объясню...

И она потребовала, чтобы он положил в банк на ее имя пять тысяч рублей. Мигуев вспомнил это, вздохнул и еще раз с душевным раскаянием упрекнул себя за минутное увлечение, доставившее ему такую массу хлопот и страданий.

Дойдя до своей дачи, Мигуев сел на крылечко отдохнуть. Было ровно десять часов, и из-за облаков выглядывал кусочек луны. На улице и возле дач не было ни души: старые дачники уже ложились спать, а молодые гуляли в роще. Ища в обоих карманах спичку, чтобы закурить папиросу, Мигуев толкнулся локтем обо что-то мягкое; от нечего делать он взглянул под свой правый локоть, и вдруг лицо его перекосило таким ужасом, как будто он увидел возле себя змею. На крылечке, у самой двери, лежал какой-то узел. Что-то продолговатое было завернуто во что-то, судя на ощупь, похожее на стеганое одеяльце. Один конец узла был слегка открыт, и коллежский асессор, сунув в него руку, осязал что-то теплое и влажное. В ужасе вскочил он на

ноги и огляделся, как преступник, собирающийся бежать от стражи...

— Подкинула-таки! — со злобой процедил он сквозь зубы, сжимая кулаки. — Вот оно лежит... лежит беззаконие! О господи!

От страха, злобы и стыда он оцепенел... Что теперь делать? Что скажет жена, если узнает? Что скажут сослуживцы? Его превосходительство, наверное, похлопает его теперь по животу, фыркнет и скажет: «Поздравляю... Хе-хе-хе... Седина в бороду, а бес в ребро... шалун, Семен Эрастович!» Весь дачный поселок узнает теперь его тайну, и, пожалуй, почтенные матери семейств откажут ему от дому. О подкидышах печатают во всех газетах, и таким образом смиренное имя Мигуева пронесется по всей России...

Среднее окно дачи было открыто, и явственно слышалось из него, как Анна Филипповна, жена Мигуева, собирала стол к ужину; во дворе, сейчас же за воротами, дворник Ермолай жалобно побренькивал на балалайке... Стоило младенцу только проснуться и запищать, и тайна была бы обнаружена. Мигуев почувствовал непреодолимое желание торопиться.

— Скорее, скорее... — бормотал он. — Сию минуту, пока никто не видит. Занесу его куда-нибудь, положу на чужое крыльцо...

Мигуев взял в одну руку узел и тихо, мерным шагом, чтобы не казаться подозрительным, пошел по улице...

«Удивительно мерзкое положение! — думал он, стараясь придать себе равнодушный вид. — Коллежский асессор с младенцем идет по улице! О господи, ежели кто увидит и поймет, в чем дело, я погиб... Положу-ка я его на это крыльцо... Нет, постой, тут окна открыты и, может быть, глядит кто-нибудь. Куда бы его? Ага, вот что, снесу-ка я его на дачу купца Мелкина... Купцы народ богатый и сердобольный, может быть, еще спасибо скажут и на воспитание его к себе возьмут».

И Мигуев решил снести младенца непременно к Мелкину, хотя купеческая дача находилась на крайней улице дачного поселка, у самой реки.

«Только бы он у меня не разревелся и не вывалился из узла, — думал коллежский асессор. — Вот уж именно: благодарю — не ожидал! Под мышкой несу живого человека, словно портфель. Человек живой, с душой,

с чувствами, как и все... Ежели, чего доброго, Мелкины возьмут его на воспитание, то, пожалуй, из него выйдет какой-нибудь этакий... Пожалуй, выйдет из него какой-нибудь профессор, полководец, писатель... Ведь все бывает на свете! Теперь я несу его под мышкой, как дрянь какую-нибудь, а лет через тридцать — сорок, пожалуй, придется перед ним навытяжку стоять...»

Когда Мигуев проходил узким, пустынным переулочком мимо длинных заборов под густою, черною тенью лип, ему вдруг стало казаться, что он делает что-то очень жестокое и преступное.

«А ведь как это, в сущности, подло! — думал он. — Так подло, что подлее и придумать ничего нельзя... Ну, за что мы несчастного младенца швыряем с крыльца на крыльцо? Разве он виноват, что родился? И что он нам худого сделал? Подлецы мы... Любим кататься на саночках, а возить саночки приходится невинным деточкам... Ведь только вдуматься нужно во всю эту музыку! Я беспутничал, а ведь ребеночка ожидает лютая судьба... Подброшу я его Мелкиным, Мелкины пошлют его в воспитательный дом, а там всё чужие, всё по-казенному... ни ласк, ни любви, ни баловства... Отдадут его потом в сапожники... сопьется, научится сквернословить, будет околевать с голоду... В сапожники, а ведь он сын коллежского асессора, благородной крови... Он плоть и кровь моя...»

Мигуев из тени лип вышел на дорогу, залитую лунным светом, и, развернув узел, поглядел на младенца.

— Спит, — прошептал он. — Ишь ты, нос у подлеца с горбинкой, отцовский... Спит и не чувствует, что на него глядит родной отец... Драма, брат... Ну, что ж, извини... Прости, брат... Так уж тебе, значит, на роду написано...

Коллежский асессор заморгал глазами и почувствовал, что по его щекам ползет что-то вроде мурашек... Он завернул младенца, взял его под мышку и зашагал дальше. Всю дорогу, до самой дачи Мелкина, в его голове толпились социальные вопросы, а в груди царапала совесть.

«Будь я путевым, честным человеком, — думал он, — наплевал бы я на все, пошел бы с этим младенчиком к Анне Филипповне, стал бы перед ней на коленки и сказал: «Прости! Грешен! Терзай меня, но невинного мла-

денца губить не будем. Деточек у нас нет; возьмем его к себе на воспитание!» Она добрая баба, согласилась бы... И было бы тогда мое дитя при мне... Эх!»

Он подошел к даче Мелкина и остановился в нерешимости... Ему представлялось, как он сидит у себя в зале и читает газету, а возле него трется мальчишка с горбатым носом и играет кистями его халата; в то же время в воображение лезли подмигивающие сослуживцы и его превосходительство, фыркающее, хлопающее по животу... В душе же, рядом с царапающею совестью, сидело что-то нежное, теплое, грустное...

Коллежский асессор осторожно положил младенца на ступень террасы и махнул рукой. Опять по его лицу сверху вниз поползли мурашки...

— Прости, брат, меня, подлеца! — пробормотал он. — Не поминай лихом!

Он сделал шаг назад, но тотчас же решительно крякнул и сказал:

— Э, была не была! Плевать я на все хотел! Возьму его, и пускай люди говорят, что хотят!

Мигуев взял младенца и быстро зашагал назад.

«Пускай говорят, что хотят, — думал он. — Пойду сейчас, стану на коленки и скажу: «Анна Филипповна!» Она баба добрая, поймет... И будем мы воспитывать... Ежели он мальчик, то назовем — Владимир, а ежели он девочка, то Анной... По крайности в старости будет утешение...»

И он сделал так, как решил. Плача, замирая от страха и стыда, полный надежд и неопределенного восторга, он вошел в свою дачу, направился к жене и стал перед ней на колени...

— Анна Филипповна! — сказал он, всхлипывая и кладя младенца на пол. — Не вели казнить, вели слово вымолвить... Грешен! Это мое дитя... Ты Агнюшку помнишь, так вот... нечистый попутал...

И не помня себя от стыда и страха, не дожидаясь ответа, он вскочил и как высеченный побежал на чистый воздух...

«Буду здесь на дворе, пока она не позовет меня, — думал он. — Дам ей прийти в чувство и одуматься...»

Дворник Ермолай с балалайкой прошел мимо, взглянул на него и пожал плечами... Через минуту он опять прошел мимо и опять пожал плечами.

— Вот история, скажи на милость, — пробормотал он усмехаясь. — Приходила сейчас, Семен Эрастыч, сюда баба, прачка Аксинья. Положила, дура, своего ребенка на крыльце, на улице, и покуда тут у меня сидела, кто-то взял да и унес ребенка... Вот оказия!

— Что? Что ты говоришь? — крикнул во все горло Мигуев.

Ермолай, по-своему объяснивший гнев барина, почесал затылок и вздохнул.

— Извините, Семен Эрастыч, — сказал он, — но таперича время дачное... без эстого нельзя... без бабы то есть...

И, взглянув на вытаращенные, злобно удивленные глаза барина, он виновато крякнул и продолжал:

— Оно, конечно, грех, да ведь что поделаешь... Вы не приказывали во двор чужих баб пущать, оно точно, да ведь где ж своих-то взять. Прежде, когда жила Агнюшка, не пускал чужих, потому — своя была, а теперя, сами изволите видеть... без чужих не обойдешься... И при Агнюшке, это, точно, беспорядков не было, потому...

— Пошел вон, мерзавец! — крикнул на него Мигуев, затопал ногами и пошел назад в комнаты.

Анна Филипповна, удивленная и разгневанная, сидела на прежнем месте и не спускала заплаканных глаз с младенца...

— Ну, ну... — забормотал бледный Мигуев, кривя рот улыбкой. — Я пошутил... Это не мой, а... а прачки Аксиньи. Я... я пошутил... Снеси его дворнику.

*1887*

## ОТЕЦ

— Признаться, я выпивши... Извини, зашел дорогой в портерную и по случаю жары выпил две бутылочки. Жарко, брат!

Старик Мусатов вытащил из кармана какую-то тряпочку и вытер ею свое бритое испитое лицо.

— Я к тебе, Боренька, ангел мой, на минуточку,— продолжал он, не глядя на сына,— по весьма важному делу. Извини, может быть помешал. Нет ли у тебя, душа моя, до вторника десяти рублей? Понимаешь ли, вчера еще нужно было платить за квартиру, а денег, понимаешь ли... во! Хоть зарежь!

Молодой Мусатов молча вышел и стал за дверью шептаться со своею дачною хозяйкой и с сослуживцами, которые вместе с ним сообща нанимали дачу. Через три минуты он вернулся и молча подал отцу десятирублевку. Тот, не поглядев, небрежно сунул ее в карман и сказал:

— Мерси. Ну, как живешь? Давно уж не видались.

— Да, давно. С самой Святой.

— Раз пять собирался к тебе, да все некогда. То одно дело, то другое... просто смерть! Впрочем, вру... Все это я вру. Ты мне не верь, Боренька. Сказал — во вторник отдам десять рублей, тоже не верь. Ни одному моему слову не верь. Никаких у меня делов нет, а просто лень, пьянство и совестно в таком одеянии на улицу показаться. Ты меня, Боренька, извини. Тут я раза три к тебе девчонку за деньгами присылал и жалостные письма писал. За деньги спасибо, а письмам не верь:

врал. Совестно мне обирать тебя, ангел мой; знаю, что сам ты едва концы с концами сводишь и акридами питаешься, но ничего я со своим нахальством не поделаю. Такой нахал, что хоть за деньги показывай!.. Ты извини меня, Боренька. Говорю тебе всю правду, потому не могу равнодушно твоего ангельского лица видеть.

Прошла минута в молчании. Старик глубоко вздохнул и сказал:

— Угостил бы ты меня пивком, что ли.

Сын молча вышел, и за дверями опять послышался шепот. Когда немного погодя принесли пиво, старик при виде бутылок оживился и резко изменил свой тон.

— Был, братец ты мой, намедни я на скачках, — рассказывал он, делая испуганные глаза. — Нас было трое, и взяли мы в тотализаторе один трехрублевый билет на Шустрого. И спасибо этому Шустрому. На рубль нам выдали по тридцать два рубля. Не могу, брат, без скачек. Удовольствие благородное. Моя бабенция всегда задает мне трепку за скачки, а я хожу. Люблю, хоть ты что!

Борис, молодой человек, белокурый, с меланхолическим, неподвижным лицом, тихо ходил из угла в угол и молча слушал. Когда старик прервал свой рассказ, чтобы откашляться, он подошел к нему и сказал:

— На днях, папаша, я купил себе штиблеты, которые оказались для меня слишком узки. Не возьмешь ли ты их у меня? Я уступлю тебе их дешевле.

— Пожалуй, — согласился старик, делая гримасу, — только за ту же цену, без уступок.

— Хорошо. Я тебе это взаймы даю.

Сын полез под кровать и достал оттуда новые штиблеты. Отец снял свои неуклюжие, бурые, очевидно, чужие сапоги и стал примеривать новую обувь.

— Как раз! — сказал он. — Ладно, пускай у меня остаются. А во вторник, когда получу пенсию, пришлю тебе за них. Впрочем, вру, — продолжал он, вдруг опять впадая в прежний слезливый тон. — И про тотализатор вру и про пенсию вру. И ты меня обманываешь, Боренька... Я ведь чувствую твою великодушную политику. Насквозь я тебя понимаю! Штиблеты потому оказались узки, что душа у тебя широкая. Ах, Боря, Боря! Все я понимаю и все чувствую!

— Вы на новую квартиру перебрались? — прервал его сын, чтобы переменить разговор.

— Да, брат, на новую. Каждый месяц перебираюсь. Моя бабенция со своим характером не может долго на одном месте ужиться.

— Я у вас был на старой квартире, хотел вас к себе на дачу пригласить. С вашим здоровьем вам не мешало бы пожить на чистом воздухе.

— Нет! — махнул рукой старик. — Баба не пустит, да и сам не хочу. Раз сто вы пытались вытащить меня из ямы, и сам я пытался, да ни черта не вышло. Бросьте! В яме и околевать мне. Сейчас вот сижу с тобой, гляжу на твое ангельское лицо, а самого так и тянет домой в яму. Такая уж, знать, судьба. Навозного жука не затащишь на розу. Нет. Однако, братец, мне пора уж. Темно становится.

— Так постойте же, я вас провожу. Мне самому сегодня нужно в город.

Старик и молодой надели свои пальто и вышли. Когда немного погодя они ехали на извозчике, было уже темно, и в окнах замелькали огни.

— Обобрал я тебя, Боренька! — бормотал отец. — Бедные, бедные дети! Должно быть, великое горе иметь такого отца! Боренька, ангел мой, не могу врать, когда вижу твое лицо. Извини... До чего доходит мое нахальство, боже мой! Сейчас вот я тебя обобрал, конфужу тебя своим пьяным видом, братьев твоих тоже обираю и конфужу, а поглядел бы ты на меня вчера! Не скрою, Боренька! Сошлись вчера к моей бабенции соседи и всякая шваль, напился и я с ними и давай на чем свет стоит честить вас, моих деточек. И ругал я вас и жаловался, что будто вы меня бросили. Хотел, видишь ли, пьяных баб разжалобить и разыграть из себя несчастного отца. Такая уж у меня манера: когда хочу свои пороки скрыть, то всю беду на невинных детей взваливаю. Не могу я врать тебе, Боренька, и скрывать. Шел к тебе гоголем, а как увидел твою кротость и милосердие твое, язык прилип к гортани и всю мою совесть вверх тормашкой перевернуло.

— Полно, папаша, давайте говорить о чем-нибудь другом.

— Матерь божия, какие у меня дети! — продолжал старик, не слушая сына. — Какую господь мне роскошь

послал! Таких бы детей не мне, непутевому, а настоящему бы человеку с душой и чувствами! Недостоин я!

Старик снял свой маленький картузик с пуговкой и несколько раз перекрестился.

— Слава тебе, господи! — вздохнул он, оглядываясь по сторонам и как бы ища образа. — Замечательные, редкие дети! Три у меня сына, и все как один. Трезвые, степенные, деловые, а какие умы! Извозчик, какие умы! У одного Григория ума столько, что на десять человек хватит. Он и по-французски, он и по-немецки, а говорит, так куда тебе твои адвокаты — заслушаешься... Дети мои, дети, не верю я, что вы мои! Не верю! Ты у меня, Боренька, мученик. Разоряю я тебя и буду разорять... Даешь ты мне без конца, хотя и знаешь, что деньги твои идут не на дело. Намедни присылал я тебе жалостное письмо, болезнь описывал свою, а ведь врал: деньги я у тебя на ром просил. А даешь ты мне потому, что боишься меня отказом оскорбить. Все это я знаю и чувствую. Гриша тоже мученик. В четверг, братец ты мой, пошел я к нему в присутствие пьяный, грязный, оборванный... водкой от меня, как из погреба. Прихожу прямо, этакая фигура, лезу к нему с подлыми разговорами, а тут кругом его товарищи, начальство, просители. Осрамил на всю жизнь. А он хоть бы тебе капельку сконфузился, только чуточку побледнел, но улыбнулся и подошел ко мне как ни в чем не бывало, даже товарищам отрекомендовал. Потом проводил меня до самого дома и хоть бы одним словом попрекнул! Обираю я его пуще, чем тебя. Взять теперь брата твоего Сашу, ведь тоже мученик! Женился он, знаешь, на полковницкой дочке из аристократического круга, приданое взял... Кажется, не до меня ему. Нет, брат, как только женился, после свадьбы со своею молодою супругой мне первому визит сделал... в моей яме... Ей-богу!

Старик всхлипнул и тотчас же засмеялся.

— А в ту пору, как нарочно, у нас тертую редьку с квасом ели и рыбу жарили, и такая вонь была в квартире, что черту тошно! Я лежал выпивши, бабенция моя выскочила к молодым с красною рожей... безобразие, одним словом. А Саша все превозмог.

— Да, наш Саша хороший человек, — сказал Борис.

— Великолепнейший! Все вы у меня золото: и ты, и Гриша, и Саша, и Соня. Мучу я вас, терзаю, срамлю,

обираю, а за всю жизнь не слыхал от вас ни одного слова упрека, не видал ни одного косого взгляда. Добро бы, отец порядочный был, а то — тьфу! Не видали вы от меня ничего, кроме зла. Я человек нехороший, распутный... Теперь еще, слава богу, присмирел и характера у меня нет, а ведь прежде, когда вы маленькими были, во мне положительность сидела, характер. Что я ни делал и ни говорил, все казалось мне, как будто так и надо. Бывало, вернусь ночью домой из клуба пьяный, злой, и давай твою покойницу мать попрекать за расходы. Целую ночь ем ее поедом и думаю, что это так и надо; бывало, утром вы встанете и в гимназию уйдете, а я все еще над ней свой характер показываю. Царство небесное, замучил я се, мученицу! А когда, бывало, вернетесь вы из гимназии, а я сплю, вы не смеете обедать, пока я не встану. За обедом опять музыка. Небось помнишь. Не дай бог никому такого отца. Вам меня бог на подвиг послал. Именно, на подвиг! Тяните уж, детки, до конца. Чти отца твоего и долголетен будеши. За ваш подвиг, может, господь пошлет вам жизнь долгую. Извозчик, стой!

Старик спрыгнул с пролетки и побежал в портерную. Через полчаса он вернулся, пьяно крякнул и сел рядом с сыном.

— А где теперь Соня? — спросил он. — Все еще в пансионе?

— Нет, в мае она кончила и теперь у Сашиной тещи живет.

— Во! — удивился старик. — Молодец девка, стало быть, в братьев пошла. Эх, нету, Боренька, матери, некому утешаться. Послушай, Боренька, она... она знает, как я живу? А?

Борис ничего не ответил. Прошло минут пять в глубоком молчании. Старик всхлипнул, утерся своей тряпочкой и сказал:

— Люблю я ее, Боренька! Ведь единственная дочь, а в старости лучшего утешения нет, как дочка. Повидаться бы мне с ней. Можно, Боренька?

— Конечно, когда хотите.

— Ей-богу? А она ничего?

— Полноте, она сама искала вас, чтоб повидаться.

— Ей-богу? Вот дети! Извозчик, а? Устрой, Боренька, голубчик! Она теперь барышня, деликатес,

консуме и все такое, на благородный манер, и я не желаю показываться ей в таком подлейшем виде. Мы, Боренька, всю эту механику так устроим. Денька три я воздержусь от спиртуозов, чтобы поганое пьяное рыло мое пришло в порядок, потом приду к тебе, и ты дашь мне на время какой-нибудь свой костюмчик; побреюсь я, подстригусь, потом ты съездишь и привезешь ее к себе. Ладно?

— Хорошо.

— Извозчик, стой!

Старик опять спрыгнул с пролетки и побежал в портерную. Пока Борис доехал с ним до его квартиры, он еще раза два прыгал, и сын всякий раз молча и терпеливо ожидал его. Когда они, отпустив извозчика, пробирались длинным грязным двором к квартире «бабенции», старик принял в высшей степени сконфуженный и виноватый вид, стал робко крякать и причмокивать губами.

— Боренька, — сказал он заискивающим тоном, — если моя бабенция начнет говорить тебе что-нибудь такое, то ты не обращай внимания и... и обойдись с ней, знаешь, этак, поприветливей. Она у меня невежественна и дерзка, но все-таки хорошая баба. У нее в груди бьется доброе, горячее сердце!

Длинный двор кончился, и Борис вошел в темные сени. Заскрипела дверь на блоке, пахнуло кухней и самоварным дымом, послышались резкие голоса. Проходя из сеней через кухню, Борис видел только темный дым, веревку с развешанным бельем и самоварную трубу, сквозь щели которой сыпались золотые искры.

— А вот и моя келья, — сказал старик, нагибаясь и входя в маленькую комнату с низким потолком и с атмосферой, невыносимо душной от соседства с кухней.

Здесь за столом сидели какие-то три бабы и угощались. Увидев гостя, они переглянулись и перестали есть.

— Что ж, достал? — спросила сурово одна из них, повидимому, сама «бабенция».

— Достал, досгал, — забормотал старик. — Ну, Борис, милости просим, садись! У нас, брат, молодой человек, просто... Мы в простоте живем.

Он как-то без толку засуетился. Ему было совестно сына, и в то же время, по-видимому, ему хотелось держать себя около баб, как всегда, «гоголем» и несчастным, брошенным отцом.

— Да, братец ты мой, молодой человек, мы живем просто, без затей, — бормотал он. — Мы люди простые, молодой человек... Мы не то, что вы, не любим пыль в глаза пускать. Да-с... Разве водки выпить?

Одна из баб (ей было совестно пить при чужом человеке) вздохнула и сказала:

— А я через грибы еще выпью... Такие грибы, что не захочешь, так выпьешь. Иван Герасимыч, пригласите их, может, и они выпьют!

Последнее слово она произнесла так: випьють.

— Выпей, молодой человек! — сказал старик, не глядя на сына. — У нас, брат, вин и ликеров нет, мы попросту.

— Им у нас не ндравится! — вздохнула «бабенция».

— Ничего, ничего, он выпьет!

Чтобы не обидеть отца отказом, Борис взял рюмку и молча выпил. Когда принесли самовар, он молча, с меланхолическим лицом, в угоду старику, выпил две чашки противного чаю. Молча он слушал, как «бабенция» намеками говорила о том, что на этом свете есть жестокие и безбожные дети, которые бросают своих родителей.

— Я знаю, что ты теперь думаешь! — говорил подвыпивший старик, входя в свое обычное пьяное, возбужденное состояние. — Ты думаешь, я опустился, погряз, я жалок, а по-моему эта простая жизнь гораздо нормальнее твоей жизни, молодой человек. Ни в ком я не нуждаюсь и... и не намерен унижаться... Терпеть не могу, если какой-нибудь мальчишка глядит на меня с сожалением.

После чаю он чистил селедку и посыпал ее луком с таким чувством, что даже на глазах у него выступили слезы умиления. Он опять заговорил о тотализаторе, о выигрышах, о какой-то шляпе из панамской соломы, за которую он вчера заплатил шестнадцать рублей. Лгал он с таким же аппетитом, с каким ел селедку и пил. Сын молча высидел час и стал прощаться.

— Не смею удерживать! — сказал надменно старик. — Извините, молодой человек, что я живу не так, как вам хочется!

Он хорохорился, с достоинством фыркал и подмигивал бабам.

— Прощайте-с, молодой человек! — говорил он, провожая сына до сеней. — Атанде!

В сенях же, где было темно, он вдруг прижался лицом к рукаву сына и всхлипнул.

— Поглядеть бы мне Сонюшку! — зашептал он. — Устрой, Боренька, ангел мой! Я побреюсь, надену твой костюмчик... строгое лицо сделаю... Буду при ней молчать. Ей-ей, буду молчать.

Он робко оглянулся на дверь, за которой слышались голоса баб, задержал рыдание и сказал громко:

— Прощайте, молодой человек! Атанде!

*1887*

## СВИРЕЛЬ

Разморенный духотою еловой чащи, весь в паутине и в хвойных иглах, пробирался с ружьем к опушке приказчик из Дементьева хутора, Мелитон Шишкин. Его Дамка — помесь дворняги с сеттером — необыкновенно худая и беременная, поджимая под себя мокрый хвост, плелась за хозяином и всячески старалась не наколоть себе носа. Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким туманом, и с папоротника сыпались крупные брызги, лесная сырость издавала острый запах гнили.

Впереди, где кончалась чаща, стояли березы, а сквозь их стволы и ветви видна была туманная даль. Кто-то за березами играл на самоделковой, пастушеской свирели. Игрок брал не более пяти-шести нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но тем не менее в его писке слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое.

Когда чаща поредела и елки уже мешались с молодой березой, Мелитон увидел стадо. Спутанные лошади, коровы и овцы бродили между кустов и, потрескивая сучьями, обнюхивали лесную траву. На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик пастух, тощий, в рваной сермяге и без шапки. Он глядел в землю, о чем-то думал и играл на свирели, по-видимому, машинально.

— Здравствуй, дед! Бог на помощь! — приветствовал его Мелитон тонким, сиплым голоском, который совсем не шел к его громадному росту и большому, мясистому

лицу. — А ловко ты на дудочке дудишь! Чье стадо пасешь?

— Артамоновское, — нехотя ответил пастух и сунул свирель за пазуху.

— Стало быть, и лес артамоновский? — спросил Мелитон, оглядываясь. — И впрямь артамоновский, скажи на милость... Совсем было заблудился. Всю харю себе в чепыге исцарапал.

Он сел на мокрую землю и стал лепить из газетной бумаги папиросу.

Подобно жиденькому голоску, все у этого человека было мелко и не соответствовало его росту, ширине и мясистому лицу: и улыбка, и глазки, и пуговки, и картузик, едва державшийся на жирной стриженой голове. Когда он говорил и улыбался, то в его бритом, пухлом лице и во всей фигуре чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное.

— Ну, погода, не дай бог! — сказал он и покрутил головой. — Люди еще овса не убрали, а дождик словно нанялся, бог с ним.

Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь, на лес, на мокрую одежду приказчика, подумал и ничего не сказал.

— Все лето такое было... — вздохнул Мелитон. — И мужикам плохо, и господам никакого удовольствия.

Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, точно разжевывая каждое слово:

— Все к одному клонится... Добра не жди.

— Как у вас тут? — спросил Мелитон, закуривая. — Не видал в Артамоновской сечи тетеревиных выводков?

Пастух ответил не сразу. Он опять поглядел на небо и в стороны, подумал, поморгал глазами... По-видимому, своим словам придавал он не малое значение и, чтобы усугубить им цену, старался произносить их врастяжку, с некоторою торжественностью. Выражение лица его было старчески острое, степенное и, оттого что нос был перехвачен поперек седлообразной выемкой и ноздри глядели кверху, казалось хитрым и насмешливым.

— Нет, кажись, не видал, — ответил он. — Наш охотник, Еремка, сказывал, будто на Ильин день согнал около Пустошья один выводок, да, должно, брешет. Мало птицы.

— Да, брат, мало... Везде мало! Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожная и нестоющая. Дичи совсем нет, а которая есть, так об ту сейчас нечего и рук марать — не выросла еще! Такая еще мелочь, что глядеть совестно.

Мелитон усмехнулся и махнул рукой.

— Такое делается на этом свете, что просто смех, да и только! Птица нынче стала несообразная, поздно на яйца садится, и есть такие, которые еще на Петров день с яиц не вставали. Ей-богу!

— Все к одному клонится, — сказал пастух, поднимая вверх лицо. — Летошний год мало дичи было, в этом году еще меньше, а лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется.

— Да, — согласился Мелитон, подумав. — Это верно.

Пастух горько усмехнулся и покачал головой.

— Удивление! — сказал он. — И куда оно все девалось? Лет двадцать назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева — туча тучей! Бывало, съедутся господа на охоту, так только и слышишь: пу-пу-пу! пу-пу-пу! Дупелям, бекасам да кроншпилям переводу не было, а мелкие чирята да кулики все равно, как скворцы или, скажем, воробцы — видимо-невидимо! И куда оно все девалось! Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины... Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковинку, а не то что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были! Лет сорок я примечаю из года в год божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится.

— К чему?

— К худу, паря. Надо думать, к гибели... Пришла пора божьему миру погибать.

Старик надел картуз и стал глядеть на небо.

— Жалко! — вздохнул он после некоторого молчания. — И, боже, как жалко! Оно, конечно, божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари — все ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке

прилажено. Всякое до дела доведено и свое место знает. И всему этому пропадать надо!

На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали.

— Ты говоришь — миру погибель... — сказал Мелитон, думая. — Может, и скоро конец света, а только нельзя по птице судя. Это навряд, чтобы птица могла обозначать.

— Не одни птицы, — сказал пастух. — И звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба... Мне не веришь, спроси стариков; каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше. В нашей Песчанке, помню, щука в аршин ловилась, и налимы водились, и язь, и лещ, и у каждой рыбины видимость была, а нынче ежели и поймал щуренка или окунька в четверть, то благодари бога. Даже ерша настоящего нет. С каждым годом все хуже и хуже, а погоди немного, так и совсем рыбы не будет. А взять таперя реки... Реки-то небось сохнут!

— Это верно, что сохнут.

— То-то вот и есть. С каждым годом все мельче и мельче, и уж, братушка, нет тех омутов, что были. Эвона, видишь кусты? — спросил старик, указывая в сторону. — За ними старое русло, заводиной называется; при отце моем там Песчанка текла, а таперя погляди, куда ее нечистые занесли! Меняет русло и, гляди, доменяется до той поры, покеда совсем высохнет. За Кургасовым болота и пруды были, а нынче где они? А куда ручьи девались? У нас вот в этом самом лесу ручей тек, и такой ручей, что мужики в нем верши ставили и щук ловили, дикая утка около него зимовала, а нынче в нем и в половодье не бывает путевой воды. Да, брат, куда ни взглянь, везде худо. Везде!

Наступило молчание. Мелитон задумался и уставил глаза в одну точку. Ему хотелось вспомнить хоть одно место в природе, которого еще не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косым дождевым полосам, как по матовым стеклам, заскользили светлые пятна, но тотчас же угасли — это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю.

— Да и леса тоже... — пробормотал Мелитон.

— И леса тоже... — повторил пастух. — И рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет. Что и вырастет, то сейчас его рубят; сегодня взошло, а завтра, гляди, и срубили люди — так без конца краю, покеда ничего не останется. Я, добрый человек, с самой воли хожу с обчественным стадом, до воли тоже был у господ в пастухах, пас на этом самом месте и, покеда живу, не помню того летнего дня, чтобы меня тут не было. И все время я божьи дела примечаю. Пригляделся я, брат, за свой век и так теперь понимаю, что всякая растения на убыль пошла. Рожь ли взять, овощ ли, цветик ли какой, все к одному клонится.

— Зато народ лучше стал, — заметил приказчик.

— Чем это лучше?

— Умней.

— Умней-то умней, это верно, паря, да что с того толку? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно. К чему охотнику ум, коли дичи нет? Я так рассуждаю, что бог человеку ум дал, а силу взял. Слаб народ стал, до чрезвычайности слаб. К примеру меня взять... Грош мне цена, во всей деревне я самый последний мужик, а все-таки, паря, сила есть. Ты вот гляди, мне седьмой десяток, а я деньденьской пасу, да еще ночное стерегу за двугривенный и спать не сплю, и не зябну; сын мой умней меня, а поставь его заместо меня, так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет. Так-тось. Я, акроме хлебушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насущный даждь нам днесь, и отец мой, акроме хлеба, ничего не ел, и дед, а нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от зари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал, силы в нем нет вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут — ничего не поделаешь.

— Это верно, — согласился Мелитон. — Нестоющий нынче мужик.

— Нечего греха таить, плошаем из года в год. Ежели теперича в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли. Нынешний барин все превзошел, такое знает, чего бы и знать не надо, а что толку? Поглядеть на него, так жалость берет... Худенький, мозглявенький, словно венгерец какой или француз, ни важности в нем, ни вида — одно только звание, что барин. Нет у него,

сердешного, ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит, али оно лежит вверх пузом и книжку читает, али промеж мужиков топчется и разные слова говорит, а которое голодное, то в писаря нанимается. Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние баре наполовину генералы были, а нынешние — сплошной мездрюшка!

— Обедняли сильно, — сказал Мелитон.

— Потому и обедняли, что бог силу отнял. Супротив бога-то не пойдешь.

Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, рассудительные люди, покачал головой и сказал:

— А все отчего? Грешим много, бога забыли... и такое, значит, время подошло, чтобы всему конец. И то сказать, не век же миру вековать — пора и честь знать.

Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров.

— Ге-ге-гей! — крикнул он. — Ге-ге-гей! А чтоб вас, нет на вас переводу! Занесла в чепыгу нечистая сила! Тю-лю-лю!

Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо. Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке. Он глядел себе под ноги и думал; ему все еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна; они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на него внимание хозяина, подняла воющий лай.

— Было у вас затмение аль нет? — крикнул из-за кустов пастух.

— Было! — ответил Мелитон.

— Так. Везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе непорядок-то! Недаром оно... Ге-ге-гей! гей!

Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо, не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше пяти-шести нот; как будто свирель попала ему в руки только первый раз, звуки вылетали из

нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив, но Мелитону, думавшему о погибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам.

Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал:

— И жить хуже стало, дед. Совсем невмоготу жить. Неурожаи, бедность... падежи то и дело, болезни... Одолела нужда.

Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее, бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство и продолжал:

— Восемь человек детей, жена... и мать еще живая, а жалованья всего-навсего десять рублей в месяц на своих харчах. От бедности жена осатанела... сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть, в спокойствии, а я целый день, как собака, с ружьем, потому нет никакой моей возможности: опротивел дом!

Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью:

— Коли погибать миру, так уж скорей бы! Нечего канителить и людей попусту мучить...

Старик отнял от губ свирель и, прищурив один глаз, поглядел в ее малое отверстие. Лицо его было грустное и, как слезами, покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал:

— Жалко, братушка! И, боже, как жалко! Земля, лес, небо... тварь всякая — все ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадает все ни за грош. А пуще всего людей жалко.

В лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал:

— Пойду на деревню. Прощай, дед. Тебя как звать?

— Лука Бедный.

— Ну, прощай, Лука! Спасибо на добром слове. Дамка, иси!

Простившись с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом на берегу Песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней.

Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою Дамку, а когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе.

Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла.

*1887*

## ПОЧТА

Было три часа ночи. Почтальон, совсем уже готовый в дорогу, в фуражке, в пальто и с заржавленной саблей в руках, стоял около двери и ждал, когда ямщики кончат укладывать почту на только что поданную тройку. Заспанный приемщик сидел за своим столом, похожим на прилавок, что-то писал на бланке и говорил:

— Мой племянник студент просится сейчас ехать на станцию. Так ты того, Игнатьев, посади его с собой на тройку и довези. Хоть это и не дозволено, чтоб посторонних с почтой возить, ну да что ж делать! Чем лошадей для него нанимать, так пусть лучше даром проедет.

— Готово! — послышался крик со двора.

— Ну, поезжай с богом, — сказал приемщик. — Который ямщик едет?

— Семен Глазов.

— Поди распишись.

Почтальон расписался и вышел. У входа в почтовое отделение темнела тройка. Лошади стояли неподвижно, только одна из пристяжных беспокойно переминалась с ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изредка позвякивал колокольчик. Тарантас с тюками казался черным пятном, возле него лениво двигались два силуэта: студент с чемоданом в руках и ямщик. Последний курил носогрейку; огонек носогрейки двигался в потемках, потухал и вспыхивал; на мгновение освещал он то кусок рукава, то мохнатые усы с большим, меднокрасным носом, то нависшие, суровые брови.

Почтальон помял руками тюки, положил на них саблю и вскочил на тарантас. Студент нерешительно полез за ним и, толкнув его нечаянно локтем, сказал робко и вежливо: «Виноват!» Носогрейка потухла. Из почтового отделения вышел приемщик, как был, в одной жилетке и в туфлях; пожимаясь от ночной сырости и покрякивая, он прошелся около тарантаса и сказал:

— Ну, с богом! Кланяйся, Михайло, матери! Всем кланяйся. А ты, Игнатьев, не забудь передать пакет Быстрецову... Трогай!

Ямщик забрал вожжи в одну руку, высморкался и, поправив под собою сиденье, чмокнул.

— Кланяйся же! — повторил приемщик.

Колокольчик что-то прозвякал бубенчикам, бубенчики ласково ответили ему. Тарантас взвизгнул, тронулся, колокольчик заплакал, бубенчики засмеялись. Ямщик, приподнявшись, два раза хлестнул по беспокойной пристяжной, и тройка глухо застучала по пыльной дороге. Городишко спал. По обе стороны широкой улицы чернели дома и деревья, и не было видно ни одного огонька. По небу, усеянному звездами, кое-где тянулись узкие облака и там, где скоро должен был начаться рассвет, стоял узкий лунный серп; но ни звезды, которых было много, ни полумесяц, казавшийся белым, не проясняли ночного воздуха. Было холодно, сыро и пахло осенью.

Студент, считавший долгом вежливости ласково поговорить с человеком, который не отказался взять его с собой, начал:

— Летом в это время уже светло, а теперь еще даже зари не видно. Прошло лето!

Студент поглядел на небо и продолжал:

— Даже по небу видно, что уже осень. Посмотрите направо. Видите три звезды, которые стоят рядом по одной линии? Это созвездие Ориона, которое появляется на нашем полушарии только в сентябре.

Почтальон, засунувший руки в рукава и по уши ушедший в воротник своего пальто, не пошевельнулся и не взглянул на небо. По-видимому, созвездие Ориона не интересовало его. Он привык видеть звезды, и, вероятно, они давно уже надоели ему. Студент помолчал немного и сказал:

— Холодно! Пора бы уж быть рассвету.. Вам известно, в котором часу восходит солнце?

— Что-с?

— В котором часу восходит теперь солнце?

— В шестом! — ответил ямщик.

Тройка выехала из города. Теперь уже по обе стороны видны были только плетни огородов и одинокие ветлы, а впереди все застилала мгла. Здесь на просторе полумесяц казался более, и звезды сияли ярче. Но вот пахнуло сыростью; почтальон глубже ушел в воротник, и студент почувствовал, как неприятный холод пробежал сначала около ног, потом по тюкам, по рукам, по лицу. Тройка пошла тише; колокольчик замер, точно и он озяб. Послышался плеск воды, и под ногами лошадей и около колес запрыгали звезды, отражавшиеся в воде.

А минут через десять стало так темно, что уж не было видно ни звезд, ни полумесяца. Это тройка въехала в лес. Колючие еловые ветви то и дело били студента по фуражке, и паутина садилась ему на лицо. Колеса и копыта стучали по корневищам, и тарантас покачивался, как пьяный.

— Вези по дороге! — сказал сердито почтальон. — Что по краю везешь? Мне всю рожу ветками расцарапало! Бери правей!

Но тут едва не произошло несчастье. Тарантас вдруг подскочил, точно его передернула судорога, задрожал и с визгом, сильно накреняясь то вправо, то влево, с страшной быстротой понесся по просеке. Лошади чего-то испугались и понесли.

— Тпррр! Тпррр! — испуганно закричал ямщик. — Тпррр... дьяволы!

Подскакивавший студент, чтобы сохранить равновесие и не вылететь из тарантаса, нагнулся вперед и стал искать, за что бы ухватиться, но кожаные тюки были скользки, и ямщик, за пояс которого ухватился было студент, сам подскакивал и каждое мгновение готов был свалиться. Сквозь шум колес и визг тарантаса послышалось, как слетевшая сабля звякнула о землю, потом немного погодя что-то раза два глухо ударилось позади тарантаса.

— Тпррр! — раздирающим голосом кричал ямщик, перегибаясь назад. — Стой!

Студент упал лицом на его сиденье и ушиб себе лоб, но тотчас же его перегнуло назад, подбросило, и он сильно ударился спиной о задок тарантаса. «Падаю!» — мелькнуло в его голове, но в это время тройка вылетела из леса на простор, круто повернула направо и, застучав по бревенчатому мосту, остановилась как вкопанная, и от такой внезапной остановки студента по инерции опять перегнуло вперед.

Ямщик и студент — оба задыхались. Почтальона в тарантасе не было. Он вылетел вместе с саблей, чемоданом студента и одним тюком.

— Стой, подлец! Сто-ой! — послышался из леса его крик. — Сволочь проклятая! — кричал он, подбегая к тарантасу, и в его плачущем голосе слышались боль и злоба. — Анафема, чтоб ты издох! — крикнул он, подскакивая к ямщику и замахиваясь на него кулаком.

— Экая история, господи помилуй! — бормотал ямщик виноватым голосом, поправляя что-то около лошадиных морд. — А все чертова пристяжная! Молодая, проклятая, только неделя, как в упряжке ходит. Ничего идет, а как только с горы — беда! Ссадить бы ей морду раза три, так не стала бы баловать... Сто-ой! А, черт!

Пока ямщик приводил в порядок лошадей и искал по дороге чемодан, тюк и саблю, почтальон продолжал плачущим, визжащим от злобы голосом осыпать его ругательствами. Уложив кладь, ямщик без всякой надобности провел лошадей шагов сто, поворчал на беспокойную пристяжную и вскочил на ко́зла.

Когда страх прошел, студенту стало смешно и весело. Первый раз в жизни ехал он ночью на почтовой тройке, и только что пережитая встряска, полет почтальона и боль в спине ему казались интересным приключением. Он закурил папиросу и сказал со смехом:

— А ведь этак можно себе шею свернуть! Я едва-едва не слетел и даже не заметил, как вы вылетели. Воображаю, какая езда должна быть осенью!

Почтальон молчал.

— А вы давно ездите с почтой? — спросил студент.

— Одиннадцать лет.

— Ого! Каждый день?

— Каждый. Отвезу эту почту и сейчас же назад ехать. А что?

За одиннадцать лет, при ежедневной езде, наверное, было пережито немало интересных приключений. В ясные летние и в суровые осенние ночи или зимою, когда тройку с воем кружит злая метель, трудно уберечься от страшного, жуткого. Небось не раз носили лошади, увязал в промоине тарантас, нападали злые люди, сбивала с пути вьюга...

— Воображаю, сколько приключений было у вас за одиннадцать лет! — сказал студент. — Что, должно быть, страшно ездить?

Он говорил и ждал, что почтальон расскажет ему что-нибудь, но тот угрюмо молчал и уходил в свой воротник. Начинало между тем светать. Было незаметно, как небо меняло свой цвет; оно все еще казалось темным, но уже видны были и лошади, и ямщик, и дорога. Лунный серп становился все белее и белее, а растянувшееся под ним облако, похожее на пушку с лафетом, чуть-чуть желтело на своем нижнем крае. Скоро стало видно лицо почтальона. Оно было мокро от росы, серо и неподвижно, как у мертвого. На нем застыло выражение тупой, угрюмой злобы, точно почтальон все еще чувствовал боль и продолжал сердиться на ямщика.

— Слава богу, уже светает! — сказал студент, вглядываясь в его злое, озябшее лицо. — Я совсем замерз. Ночи в сентябре холодные, а стоит только взойти солнцу, и холода как не бывало. Мы скоро приедем на станцию?

Почтальон поморщился и сделал плачущее лицо.

— Как вы любите говорить, ей-богу! — сказал он. — Разве не можете молча ехать?

Студент сконфузился и уж не трогал его всю дорогу. Утро наступало быстро. Месяц побледнел и слился с мутным серым небом, облако все стало желто, звезды потухли, но восток все еще был холоден, такого же цвета, как и все небо, так что не верилось, что за ним пряталось солнце...

Холод утра и угрюмость почтальона сообщились мало-помалу и озябшему студенту. Он апатично глядел на природу, ждал солнечного тепла и думал только о том, как, должно быть, жутко и противно бедным деревьям и траве переживать холодные ночи. Солнце взошло мутное, заспанное и холодное. Верхушки деревьев не золотились от восходящего солнца, как пишут

обыкновенно, лучи не ползли по земле, и в полете сонных птиц не заметно было радости. Каков был холод ночью, таким он остался и при солнце...

Студент сонно и хмуро поглядел на завешанные окна усадьбы, мимо которой проезжала тройка. За окнами, подумал он, вероятно, спят люди самым крепким, утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона; а если и разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернется на другой бок, улыбнется от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щеку, заснет еще крепче.

Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде...

— Посторонних не велено возить... — заговорил неожиданно почтальон. — Не дозволено! А ежели не дозволено, то и незачем садиться... Да. Мне, положим, все равно, а только я этого не люблю и не желаю.

— Отчего же вы раньше молчали, если это вам не нравится?

Почтальон ничего не ответил и продолжал глядеть недружелюбно, со злобой. Когда немного погодя тройка остановилась у подъезда станции, студент поблагодарил и вылез из тарантаса. Почтовый поезд еще не приходил. На запасном пути стоял длинный товарный поезд; на тендере машинист и его помощник с лицами, влажными от росы, пили из грязного жестяного чайника чай. Вагоны, платформа, скамьи — все было мокро и холодно. До прихода поезда студент стоял у буфета и пил чай, а почтальон, засунув руки в рукава, все еще со злобой на лице, одиноко шагал по платформе и глядел себе под ноги.

На кого он сердился? На людей, на нужду, на осенние ночи?

*1887*

## ЗАДАЧА

Чтобы фамильная тайна Усковых не проскользнула как-нибудь из дома на улицу, приняты строжайшие меры. Одна половина прислуги отпущена в театр и в цирк, другая — безвыходно сидит в кухне. Отдан приказ никого не принимать. Жена дяди-полковника, ее сестра и гувернантка, хотя и посвящены в тайну, но делают вид, что ничего не знают; они сидят в столовой и не показываются ни в гостиную, ни в залу.

Саша Усков, молодой человек двадцати пяти лет, из-за которого весь сыр-бор загорелся, давно уже пришел и, как советовал ему его заступник, дядя по матери, добрейший Иван Маркович, смиренно сидит в зале около двери, идущей в кабинет, и готовит себя к откровенному, искреннему объяснению.

За дверью в кабинете происходит семейный совет. Разговор идет на очень неприятную и щекотливую тему. Дело в том, что Саша Усков учел в одной из банкирских контор фальшивый вексель, которому три дня тому назад минул срок, и теперь двое дядей по отцу и Иван Маркович — дядя по матери — решают задачу: заплатить ли им по векселю и спасти фамильную честь, или же омыть руки и предоставить дело судебной власти?

Для людей посторонних и не заинтересованных подобные вопросы представляются легкими, для тех же, на долю которых выпадает несчастье — решать их серьезно, они чрезвычайно трудны. Дяди говорят уже давно, но решение задачи не подвинулось вперед ни на шаг.

— Господа! — говорит дядя-полковник, и в голосе его слышатся утомление и горечь. — Господа, кто говорит, что фамильная честь предрассудок? Я этого вовсе не говорю. Я только предостерегаю вас от ложного взгляда, указываю на возможность непростительной ошибки. Как вы этого не поймете? Ведь я не по-китайски говорю, а по-русски!

— Голубчик, мы понимаем, — кротко заявляет Иван Маркович.

— Как же вы понимаете, если говорите, что я отрицаю фамильную честь? Повторяю еще раз: фа-мильна-я честь, лож-но по-ни-ма-е-мая, есть предрассудок. Ложно понимаемая! Вот что я говорю! Из каких бы то ни было побуждений укрывать и оставлять безнаказанным мошенника, кто бы он ни был, это противозаконно и недостойно порядочного человека, это — не спасение фамильной чести, а гражданская трусость! Возьмите вы в пример армию... Честь армии для нас дороже всяких других честей, однако же мы не укрываем своих преступных членов, а судим их. И что же? Разве от этого страдает честь армии? Напротив!

Другой дядя по отцу, чиновник казенной палаты, человек молчаливый, недалекий и ревматический, молчит или же говорит только о том, что в случае возникновения процесса фамилия Усковых попадет в газеты; по его мнению, дело следует потушить в самом начале и не предавать его огласке, но, кроме ссылок на газеты, он ничем другим не поясняет этого своего мнения.

Дядя по матери, добрейший Иван Маркович, говорит плавно, мягко и с дрожью в голосе. Начинает он с того, что молодость имеет свои права и что ей свойственны увлечения. Кто из нас не был молод и кто не увлекался? Не говоря уж об обыкновенных смертных, даже великие умы в молодости не избегали увлечений и ошибок. Возьмите, например, биографии великих писателей. Кто из них, будучи молодым, не проигрывал, не пропивал, не навлекал на себя гнева людей здравомыслящих? Если же увлечение Саши граничит с преступлением, то нужно принять во внимание, что он, Саша, не получил почти никакого образования: его исключили из пятого класса гимназии. Родителей лишился он в раннем детстве и, таким образом, в самом нежном возрасте был лишен надзора и хороших, благотворных влияний. Человек он

нервный, легко возбуждающийся, не имеющий под собою почвы, а главное — обойденный счастьем. Если и виновен он, то во всяком случае заслуживает снисхождения и участия всех сострадательных душ. Наказать его, конечно, следует, но он и так уже наказан своею совестью и мучениями, которые он переживает теперь, ожидая приговора своих родственников. Сравнение с армией, которое сделал полковник, прелестно и делает честь его высокому уму; призыв к гражданскому чувству говорит о благородстве его души, но не надо забывать, что гражданин в каждом отдельном индивидууме тесно связан с христианином...

— Нарушим ли мы гражданский долг, — вдохновенно восклицает Иван Маркович, — если вместо того, чтобы казнить преступника-мальчика, мы протянем ему руку помощи?

Далее Иван Маркович говорит о фамильной чести. Сам он не имеет чести принадлежать к роду Усковых, но отлично знает, что этот знаменитый род ведет свое начало с XIII века; он также ни на минуту не забывает, что его незабвенная, горячо любимая сестра была женою одного из представителей этого рода. Одним словом, этот род для него дорог по многим причинам, и он не допускает мысли, чтобы из-за каких-нибудь тысячи пятисот рублей упала тень на стоящее вне всякой цены геральдическое дерево. Если все изложенные мотивы недостаточно убедительны, то в заключение он, Иван Маркович, предлагает слушателям уяснить себе: что такое, собственно, преступление? Преступление есть безнравственное действие, имеющее в своем основании злую волю. Но свободна ли человеческая воля? На этот вопрос наука еще не дала положительного ответа. Ученые держатся различных взглядов. Например: новейшая школа Ломброзо не признает свободной воли и каждое преступление считает продуктом чисто анатомических особенностей индивидуума.

— Иван Маркович! — говорит умоляюще полковник. — Мы говорим серьезно, о важном деле, а вы — Ломброзо! Умный человек, подумайте: для чего вы все это говорите? Неужели вы думаете, что все эти погремушки и ваша риторика дадут нам ответ на вопрос?

Саша Усков сидит у двери и слушает. Он не чувствует ни страха, ни стыда, ни скуки, а одну только уста-

лость и душевную пустоту. Ему кажется, что для него решительно все равно: простят его или не простят; пришел же он сюда ждать приговора и объясняться только потому, что его упросил прийти добрейший Иван Маркович. Будущего он не боится. Для него все равно, где ни быть: здесь ли в зале, в тюрьме ли, в Сибири ли.

— Сибирь так Сибирь — черт с ней!

Жизнь надоела и стала невыносимо тяжелой. Он невылазно запутался в долгах, в карманах у него ни гроша, родня опротивела, с приятелями и с женщинами рано или поздно придется расстаться, так как они уж слишком презрительно стали относиться к его прихлебательской роли. Будущее пасмурно.

Саша равнодушен, и волнует его только одно обстоятельство, а именно: за дверью величают его негодяем и преступником. Каждую минуту он готов вскочить, ворваться в кабинет и в ответ на противный, металлический голос полковника крикнуть:

«Вы лжете!»

Преступник — слово страшное. Так называются убийцы, воры, грабители, вообще люди злые и нравственно отпетые. А Саша слишком далек от всего этого... Правда, он много должен и не платит долгов. Но ведь долг — не преступление, и редкий человек не должен. Полковник и Иван Маркович — оба в долгах...

«В чем же я еще грешен?» — думает Саша.

Он учел фальшивый вексель. Но ведь это делают все знакомые ему молодые люди. Например, Хандриков и фон Бурст всякий раз, когда у них не бывает денег, учитывают фальшивые векселя родителей или знакомых и потом, получив деньги из дому, выкупают их до срока. Саша сделал то же самое, но не выкупил векселя, потому что не получил денег, которые обещал дать ему взаймы Хандриков. Виноват не он, а обстоятельства. Правда, пользование чужой подписью считается предосудительным; но все-таки это не преступление, а общепринятый маневр, некрасивая формальность, ни для кого не обидная и безвредная, так как Саша, подделывая подпись полковника, не имел в виду причинить кому-либо зло или убыток.

«Нет, это не значит, что я преступен... — думает Саша. — И не такой у меня характер, чтобы решиться

на преступление. Я мягок, чувствителен... когда бывают деньги, помогаю бедным...»

Саша думает в этом роде, а за дверью все еще говорят.

— Господа, но ведь это бесконечно! — горячится полковник. — Представьте, что мы простили его и уплатили по векселю. Но ведь после этого он не перестанет вести беспутную жизнь, мотать, делать долги, ходить к нашим портным и от нашего имени заказывать себе платье! Можете ли вы поручиться, что эта проделка его последняя? Что касается меня, то я глубоко не верю в его исправление!

В ответ ему что-то бормочет чиновник казенной палаты, после него плавно и мягко начинает говорить Иван Маркович. Полковник нетерпеливо двигает стулом и заглушает его слова своим противным, металлическим голосом. Наконец, дверь отворяется, и из кабинета выходит Иван Маркович; на его тощем, бритом лице выступили красные пятна.

— Пойдем! — говорит он, беря Сашу за руку. — Поди и чистосердечно объяснись. Без гордости, голубчик, а покорно и от души.

Саша идет в кабинет. Чиновник казенной палаты сидит; полковник, заложив руки в карманы и держа одно колено на стуле, стоит перед столом. В кабинете накурено и душно. Саша не глядит ни на чиновника, ни на полковника; ему вдруг становится совестно и жутко. Он беспокойно оглядывает Ивана Марковича и бормочет:

— Я заплачу́... Я отдам...

— На что ты надеялся, когда учитывал вексель? — слышит он металлический голос.

— Я... мне обещал к этому времени дать взаймы Хандриков.

Больше ничего не может сказать Саша. Он выходит из кабинета и опять садится на стул у двери. Сейчас он охотно бы ушел совсем, но его душит ненависть, и ему ужасно хочется остаться, чтобы оборвать полковника, сказать ему какую-нибудь дерзость. Он сидит и придумывает, что бы такое сильное и веское сказать ненавистному дяде, а в это время в дверях гостиной, окутанная сумерками, показывается женская фигура. Это жена полковника. Она манит к себе Сашу и, ломая руки, плача говорит:

— Alexandre, я знаю, вы меня не любите, но... выслушайте меня, выслушайте, прошу вас... Мой друг, как это могло случиться? Ведь это ужасно, ужасно! Ради бога, просите их, оправдывайтесь, умоляйте.

Саша глядит на ее вздрагивающие плечи, на крупные слезы, которые текут по ее щекам, слышит сзади себя глухие, нервные голоса утомленных, измученных людей и пожимает плечами. Он никак не ожидал, чтобы его аристократическая родня подняла бурю из-за каких-нибудь тысячи пятисот рублей! Непонятны ему ни слезы, ни дрожь голосов.

Через час слышит он, что полковник берет верх: дяди наконец склоняются к тому, чтобы передать дело судебной власти.

— Решено! — говорит полковник вздыхая. — Баста!

После такого решения все дяди, даже настойчивый полковник, заметно падают духом. Наступает тишина.

— Господи, господи! — вздыхает Иван Маркович. — Бедная моя!

И он начинает тихо говорить о том, что, вероятно, теперь в кабинете невидимо присутствует его сестра, Сашина мать. Он чувствует душою, как эта несчастная, святая женщина плачет, тоскует и просит за своего мальчика. Ради ее загробного покоя следовало бы пощадить Сашу.

Слышатся всхлипыванья. Иван Маркович плачет и бормочет что-то, чего нельзя разобрать сквозь дверь. Полковник встает и шагает из угла в угол. Длинный разговор начинается снова.

Но вот в гостиной часы бьют два. Семейный совет кончен. Полковник, чтобы не видеть человека, испортившего ему столько крови, идет из кабинета не в залу, а через переднюю... Иван Маркович входит в залу... Он взволнован и радостно потирает руки. Его заплаканные глаза глядят весело и рот кривится в улыбку.

— Отлично! — говорит он Саше. — Слава богу! Ты, мой друг, можешь идти домой и спать покойно. Решили мы заплатить по векселю, но с условием, что ты раскаешься и завтра же поедешь ко мне в деревню заниматься делом.

Через минуту Иван Маркович и Саша, в пальто и в шапках, спускаются вниз по лестнице. Дядя бормочет что-то назидательное. Саша не слушает и чувствует, как

постепенно с его плеч сваливается что-то тяжелое и жуткое. Его простили, он свободен! Радость, как ветер, врывается в его грудь и обдает сладким холодком его сердце. Ему хочется дышать, быстро двигаться, жить! Взглянув на уличные фонари и на черное небо, он вспоминает, что сегодня у «Медведя» фон Бурст справляет свои именины, и снова радость охватывает его душу...

«Еду!» — решает он.

Но тут вспоминает он, что у него нет ни копейки, что товарищи, к которым он поедет сейчас, презирают его за безденежье. Надо достать денег во что бы то ни стало!

— Дядя, дай мне взаймы сто рублей! — говорит он Ивану Марковичу.

Дядя удивленно глядит ему в лицо и пятится к фонарному столбу.

— Дай! — говорит Саша, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и начиная задыхаться. — Дядя, я прошу! Дай сто рублей!

Лицо его перекосило; он дрожит и уж наступает на дядю...

— Не дашь? — спрашивает он, видя, что тот все еще удивлен и не понимает. — Послушай, если не дашь, то завтра же я донесу на себя! Я не дам вам заплатить по векселю! Завтра же я учту новый фальшивый вексель!

Ошеломленный Иван Маркович в ужасе, бормоча что-то несвязное, достает из бумажника сторублевую бумажку и подает ее Саше. Тот берет и быстро отходит от него...

Наняв извозчика, Саша успокаивается и чувствует, как в его грудь опять врывается радость. Права молодости, о которых говорил на семейном совете добрейший Иван Маркович, проснулись и заговорили. Саша рисует себе предстоящую попойку, и в его голове меж бутылок, женщин и приятелей мелькает мыслишка:

«Теперь вижу, что я преступен. Да, я преступен».

*1887*

## ИНТРИГИ

a) Выбор председателя Общества.
b) Обсуждение инцидента 2-го октября.
c) Реферат действит. члена д-ра М. Н. фон Брона.
d) Текущие дела Общества.

Доктор Шелестов, виновник инцидента 2-го октября, собирается на это заседание; он давно уже стоит перед зеркалом и старается придать своей физиономии томное выражение. Если он сейчас явится на заседание с лицом взволнованным, напряженным, красным или слишком бледным, то его враги могут вообразить, что он придает большое значение их интригам; если же его лицо будет холодно, бесстрастно, как бы заспано, такое лицо, какое бывает у людей, стоящих выше толпы и утомленных жизнью, то все враги, взглянув на него, втайне проникнутся уважением и подумают:

Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа!

Как человек, которого мало интересуют враги и их дрязги, он придет на заседание позже всех. Он войдет в залу бесшумно, томно проведет рукой по волосам и, не поглядев ни на кого, сядет у самого краешка стола. Приняв позу скучающего слушателя, он чуть заметно зевнет, потянет к себе какую-нибудь газету, начнет читать... Все будут говорить, спорить, кипятиться, призывать друг друга к порядку, а он будет молчать и смотреть в газету. Но вот наконец, когда его имя станет повторяться все чаще и чаще и жгучий вопрос на-

калится добела, он поднимет скучающие, утомленные глаза на коллег и скажет как бы нехотя:

— Меня вынуждают говорить... Я не готовился, господа, а потому, простите, моя речь будет недостаточно складна. Начну ab ovo...[1] В прошлом заседании некоторые уважаемые товарищи заявили, что я веду себя на консилиумах не так, как им хочется, и потребовали от меня объяснений. Находя объяснения излишними, а обвинение недобросовестным, я попросил исключить меня из числа членов Общества и удалился. Теперь же, когда на меня возводится новая серия обвинений, я, к прискорбию, вижу, что мне не обойтись без объяснений. Извольте, я объяснюсь.

Далее, небрежно играя карандашом или цепочкой, он скажет, что действительно на консилиумах он иногда возвышает голос и обрывает коллег, не стесняясь присутствием посторонних; правда и то, что он однажды на консилиуме, в присутствии врачей и родных, спросил у больного: «Какой это дурак прописал вам опиум?» Редкий консилиум обходится без инцидента... Но почему? Очень просто. На консилиумах его, Шелестова, всегда поражает в товарищах низкий уровень знаний. В городе врачей тридцать два, и большинство из них знает меньше, чем любой студент первого курса. За примерами ходить недалеко. Конечно, nomina sunt odiosa[2], но на заседании все люди свои, и к тому же, чтобы не казаться голословным, можно назвать имена. Например, всем известно, что уважаемый товарищ фон Брон проткнул зондом пищевод чиновнице Сережкиной...

В это время фон Брон вскочит, всплеснет руками и завопит:

— Коллега, это вы проткнули, а не я! Вы! И я это докажу вам!

Шелестов не обратит на него внимания и будет продолжать:

— Всем также известно, что уважаемый коллега Жила у актрисы Семирамидиной принял блуждающую почку за абсцесс и сделал пробный прокол, отчего и последовал вскорости exitus letalis[3]. Уважаемый това-

[1] с самого начала... *(лат.)*
[2] не будем называть имен *(лат.)*.
[3] смертельный исход *(лат.)*.

рищ Бесструнко, вместо того чтобы вылущить ноготь на большом пальце левой ноги, вылущил здоровый ноготь на правой ноге. Не могу также не напомнить вам случая, когда уважаемый товарищ Терхарьянц с таким усердием катетеризовал у солдата Иванова евстахиевы трубы, что у больного лопнули обе барабанные перепонки. Припоминаю кстати, как этот же самый товарищ, извлекая зуб, вывихнул больному нижнюю челюсть и не вправил ее до тех пор, пока больной не согласился уплатить ему за вправление пять рублей. Уважаемый товарищ Курицын женат на племяннице аптекаря Грумmер и находится с ним в стачке. Всем также известно, что секретарь нашего Общества, молодой товарищ Скоропалительный, живет с женою нашего достоуважаемого и почтенного председателя Густава Густавовича Прехтеля... От низкого уровня знаний я незаметно перешел к погрешностям этического свойства. Тем лучше. Этика — наше больное место, господа, и, чтобы не казаться голословным, я назову вам уважаемого товарища Пузырькова, который, будучи на именинах у полковницы Трещинской, рассказывал, что будто бы с женою нашего председателя живет не Скоропалительный, а я! Это смеет говорить тот самый господин Пузырьков, которого я в прошлом году застал с женою уважаемого товарища Знобиша! Кстати, о докторе Знобиш... Кто пользуется репутацией врача, у которого лечиться дамам не совсем безопасно? Знобиш... Кто женился на купеческой дочери из-за приданого? Знобиш! Что же касается нашего всеми уважаемого председателя, то он занимается втайне гомеопатией и получает деньги от пруссаков за шпионство. Прусский шпион — это уж ultima ratio! [1]

Доктора, когда хотят казаться умными и красноречивыми, употребляют два латинские выражения: *nomina sunt odiosa* и *ultima ratio*. Шелестов будет говорить не только по-латыни, но и по-французски и по-немецки — как угодно! Он будет выводить всех на чистую воду, срывать с интриганов маски; председатель утомится звонить, уважаемые товарищи повскакивают со своих мест, завопиют, замашут руками... Товарищи иудейского вероисповедания соберутся в кучку и загалдят:

— Гал-гал-гал-гал-гал...

[1] последний довод! *(лат.)*

Шелестов же, ни на что не глядя, будет продолжать:

— Что же касается всего Общества, то, при настоящем его составе и порядках, оно неминуемо должно погибнуть. Все в нем построено исключительно на интригах. Интриги, интриги и интриги! Я, как одна из жертв этой сплошной, демонической интриги, считаю себя обязанным изложить следующее...

Он будет излагать, а его партия аплодировать и торжествующе потирать руки. И вот, среди невообразимого гвалта и раскатов грома, начинаются выборы председателя. Фон Брон и К° горой стоят за Прехтеля, но публика и благомыслящие врачи шикают им и кричат:

— Долой Прехтеля! Просим Шелестова! Шелестова!

Шелестов соглашается, но с условием, что Прехтель и фон Брон попросят у него извинения за инцидент 2-го октября. Опять подымается невообразимый шум, и опять уважаемые товарищи иудейского вероисповедания собираются в кучку и — «гал-гал-гал...». Прехтель и фон Брон, возмущенные, кончают тем, что просят не считать их более членами Общества. И прекрасно!

Шелестов — председатель. Прежде всего он почистит авгиевы конюшни. Знобиша — вон! Терхарьянца — вон! Уважаемых товарищей иудейского вероисповедания — вон! Со своей партией он сделает то, что к январю в Обществе не останется ни одного интригана. В лечебнице Общества он прежде всего велит покрасить в амбулаторной стены и вывесить объявление: «Курить строго запрещается»; засим он прогонит фельдшера и фельдшерицу, лекарства будет забирать не у Груммера, а у Хрящамбжицкого, врачам предложит не делать ни одной операции без его наблюдения и т. п. А главное, он у себя на визитных карточках будет печатать: «Председатель Общества N-ских врачей».

Так мечтает Шелестов, стоя у себя дома перед зеркалом. Но вот часы бьют семь и напоминают ему, что пора уже ехать на заседание. Он пробуждается от сладких мечтаний и спешит придать своему лицу томное выражение, но — увы! — хочет он сделать лицо томным и интересным, а оно не слушается и становится кислым, тупым, как у озябшего дворняжки-щенка; хочет он сделать его солидным, а оно вытягивается и выражает недоумение, и ему теперь кажется, что он похож не на щенка, а на гуся. Он опускает веки, щурит глаза, надувает щеки,

морщит лоб, но — хоть плюнь! — выходит совсем не то, что хотелось бы. Таковы уж, должно быть, природные свойства этого лица, что с ним ничего не поделаешь. Лоб узенький, маленькие глазки бегают быстро, как у плутоватой торговки, нижняя челюсть как-то глупо и нелепо торчит вперед, а щеки и шевелюра имеют такой вид, точно «уважаемого товарища» минуту назад вытолкали из бильярдной.

Глядит Шелестов на это свое лицо, злится, и ему начинает казаться, что и оно интригует против него. Идет он в переднюю, одевается, и кажется ему, что интригуют и шуба, и калоши, и шапка.

— Извозчик, в лечебницу! — кричит он.

Дает он двугривенный, а интриганы-извозчики просят четвертак... Садится он в пролетку, едет, а холодный ветер бьет ему в лицо, мокрый снег застилает глаза, лошаденка плетется еле-еле. Все сговорилось, и все интригует... Интриги, интриги и интриги!

*1887*

## СТАРЫЙ ДОМ

*Рассказ домовладельца*

Нужно было сломать старый дом, чтобы на месте его построить новый. Я водил архитектора по пустым комнатам и между делом рассказывал ему разные истории. Рваные обои, тусклые окна, темные печи — все это носило следы недавней жизни и вызывало воспоминания. По этой, например, лестнице однажды пьяные люди несли покойника, спотыкнулись и вместе с гробом полетели вниз; живые больно ушиблись, а мертвый как ни в чем не бывало был очень серьезен и покачивал головой, когда его поднимали с пола и опять укладывали в гроб. Вот три подряд двери: тут жили барышни, которые часто принимали у себя гостей, а потому одевались чище всех жильцов и исправно платили за квартиру. Дверь, что в конце коридора, ведет в прачечную, где днем мыли белье, а ночью шумели и пили пиво. А в этой квартирке из трех комнат все насквозь пропитано бактериями и бациллами. Тут нехорошо. Тут погибло много жильцов, и я положительно утверждаю, что эта квартира кем-то когда-то была проклята и что в ней вместе с жильцами всегда жил еще кто-то, невидимый. Особенно памятна мне судьба одной семьи. Представьте вы себе ничем не замечательного, обыкновенного человечка, у которого есть мать, жена и четверо ребят. Звали его Путохиным, служил он писцом у нотариуса и получал 35 рублей в месяц. Это был человек трезвый, религиозный, серьезный. Когда он приносил ко мне деньги за квартиру, то всегда

извинялся, что плохо одет; извинялся, что просрочил пять дней, и когда я давал ему расписку в получении, то он добродушно улыбался и говорил: «Ну, вот еще! Не люблю я этих расписок!» Жил он бедно, но чисто. В этой средней комнате помещались четверо ребят и их бабушка; тут варили, спали, принимали гостей и даже танцевали. В этой комнатке жил сам Путохин; у него был стол, за которым он исполнял частные заказы: переписывал роли, доклады и т. п. Тут, направо, обитал его жилец, слесарь Егорыч — степенный, но пьющий человек; всегда ему было жарко, и оттого он всегда ходил босиком и в одной жилетке. Егорыч починял замки, пистолеты, детские велосипеды, не отказывался чинить дешевые стенные часы, делал за четвертак коньки, но эту работу он презирал и считал себя специалистом по части музыкальных инструментов. На его столе, среди стального и железного хлама, всегда можно было увидеть гармонику с отломанным клапаном или трубу с вогнутыми боками. Платил он за комнату Путохину два с полтиной, всегда был около своего верстака и выходил только для того, чтобы сунуть в печку какую-нибудь железку.

Когда я, что бывало очень редко, заходил вечерами в эту квартиру, то всякий раз заставал такую картину: Путохин сидел за своим столом и переписывал что-нибудь, его мать и жена, тощая женщина с утомленным лицом, сидели около лампы и шили; Егорыч визжал терпугом. А горячая, еще не совсем потухшая печка испускала из себя жар и духоту; в тяжелом воздухе пахло щами, пеленками и Егорычем. Бедно и душно, но от рабочих лиц, от детских штанишек, развешанных вдоль печки, от железок Егорыча веяло все-таки миром, лаской, довольством... За дверями в коридоре бегали детишки, причесанные, веселые и глубоко убежденные в том, что на этом свете все обстоит благополучно и так будет без конца, стоит только по утрам и ложась спать молиться богу.

Теперь представьте себе, что посреди этой самой комнаты, в двух шагах от печки, стоит гроб, в котором лежит жена Путохина. Нет того мужа, жена которого жила бы вечно, но тут эта смерть имела что-то особенное. Когда я во время панихиды взглянул на серьезное лицо мужа, на его строгие глаза, то подумал:

«Эге, брат!»

Мне казалось, что он сам, его дети, бабушка, Егорыч уже намечены тем невидимым существом, которое жило с ними в этой квартире. Я глубоко суеверный человек, быть может оттого, что я домовладелец и сорок лет имел дело с жильцами. Я верю в то, что если вам не везет в карты с самого начала, то вы будете проигрывать до конца; когда судьбе нужно стереть с лица земли вас и вашу семью, то все время она остается неумолимо последовательной и первое несчастье обыкновенно бывает только началом длинной цепи... По своей природе несчастья — те же камни. Нужно только одному камню свалиться с высокого берега, чтобы за ним посыпались другие. Одним словом, уходя после панихиды от Путохина, я верил, что ему и его семье несдобровать...

Действительно, проходит неделя, и нотариус неожиданно дает Путохину отставку и на его место сажает какую-то барышню. И что же? Путохина взволновала не столько потеря места, как то, что вместо него посадили именно барышню, а не мужчину. Почему барышню? Это его так оскорбило, что он, вернувшись домой, пересек своих ребятишек, обругал мать и напился пьян. За компанию с ним напился и Егорыч.

Путохин принес мне плату за квартиру, но уже не извинялся, хотя просрочил восемнадцать дней, и молчал, когда брал от меня расписку в получении. На следующий месяц деньги принесла уже мать; она дала мне только половину, а другую половину обещала через неделю. На третий месяц я не получил ни копейки, и дворник стал мне жаловаться, что жильцы квартиры № 23 ведут себя «неблагородно». Это были нехорошие симптомы.

Представьте вы себе такую картину. Хмурое петербургское утро глядит в эти тусклые окна. Около печки старуха поит детей чаем. Только старший внук Вася пьет из стакана, а остальным чай наливается прямо в блюдечки. Перед печкой сидит на корточках Егорыч и сует железку в огонь. От вчерашнего пьянства у него тяжела голова и мутны глаза; он крякает, дрожит и кашляет.

— Совсем с пути сбил, дьявол! — ворчит он. — Сам пьет и других в грех вводит.

Путохин сидит в своей комнате на кровати, на которой давно уже нет ни одеяла, ни подушек, и, запустив

руки в волоса, тупо глядит себе под ноги. Он оборван, нечесан, болен.

— Пей, пей скорей, а то в школу опоздаешь! — торопит старуха Васю. — Да и мне время идти к жидам полы мыть...

Во всей квартире только одна старуха не падает духом. Она вспомнила старину и занялась грязной черной работой. По пятницам она моет у евреев в ссудной кассе полы, по субботам ходит к купцам стирать и по воскресеньям, с утра до вечера, бегает по городу и разыскивает благодетельниц. Каждый день у нее какая-нибудь работа. Она и стирает, и полы моет, и младенцев принимает, и сватает, и нищенствует. Правда, и она не прочь выпить с горя, но и в пьяном виде не забывает своих обязанностей. На Руси много таких крепких старух, и сколько благополучий держится на них!

Напившись чаю, Вася укладывает в сумку свои книги и идет за печку; тут рядом с платьями бабушки должно висеть его пальто. Через минуту он выходит из-за печки и спрашивает:

— А где же мое пальто?

Бабушка и остальные ребятишки начинают вместе искать пальто, ищут долго, но пальто как в воду кануло. Где оно? Бабушка и Вася бледны, испуганы. Даже Егорыч удивлен. Молчит и не двигается один только Путохин. Чуткий ко всякого рода беспорядкам, на этот раз он делает вид, что ничего не видит и не слышит. Это подозрительно.

— Он пропил! — заявляет Егорыч.

Путохин молчит, значит это правда. Вася в ужасе. Его пальто, прекрасное пальто, сшитое из суконного платья покойной матери, пальто на прекрасной коленкоровой подкладке, пропито в кабаке! А вместе с пальто, значит, пропит и синий карандаш, лежавший в боковом кармане, и записная книжка с золотыми буквами «Nota bene»! В книжке засунут другой карандаш с резинкой, и, кроме того, в ней лежат переводные картинки.

Вася охотно бы заплакал, но плакать нельзя. Если отец, у которого болит голова, услышит плач, то закричит, затопает ногами и начнет драться, а с похмелья дерется он ужасно. Бабушка вступится за Васю, а отец ударит и бабушку; кончится тем, что Егорыч вмешается в драку, вцепится в отца и вместе с ним упадет на пол.

Оба валяются на полу, барахтаются и дышат пьяной, животной злобой, а бабушка плачет, дети визжат, соседи посылают за дворником. Нет, лучше не плакать.

Отого, что нельзя плакать и возмущаться вслух, Вася мычит, ломает руки и дрыгает ногами или, укусив себе рукав, долго треплет его зубами, как собака зайца. Глаза его безумны, и лицо искривлено отчаянием. Глядя на него, бабушка вдруг срывает со своей головы платок и начинает тоже выделывать руками и ногами разные штуки, молча, уставившись глазами в одну точку. И в это время, я думаю, в головах мальчика и старухи сидит ясная уверенность, что их жизнь погибла, что надежды нет...

Путохин не слышит плача, но ему из его комнатки все видно. Когда полчаса спустя Вася, окутанный в бабушкину шаль, уходит в школу, он, с лицом, которое я не берусь описать, выходит на улицу и идет за ним. Ему хочется окликнуть мальчика, утешить, попросить прощения, дать ему честное слово, призвать покойную мать в свидетели, но из груди вместо слов вырываются одни рыдания. Утро сырое, холодное. Дойдя до городского училища, Вася, чтобы товарищи не сказали, что он похож на бабу, распутывает шаль и входит в училище в одной только куртке. А вернувшись домой, Путохин рыдает, бормочет какие-то несвязные слова, кланяется в ноги и матери, и Егорычу, и его верстаку. Потом, немного прийдя в себя, он бежит ко мне и, задыхаясь, ради бога просит у меня какого-нибудь места. Я его обнадеживаю, конечно.

— Наконец-таки я очнулся! — говорит он. — Пора уж и за ум взяться. Побезобразничал — и будет с меня.

Он радуется и благодарит меня, а я, который за все время, пока владею домом, отлично изучил этих господ жильцов, гляжу на него, и так и хочется мне сказать ему:

— Поздно, голубчик! Ты уже умер!

От меня Путохин бежит к городскому училищу. Тут он шагает и ждет, когда выпустят его мальчика.

— Вот что, Вася! — говорит он радостно, когда Вася наконец выходит. — Мне сейчас обещали место. Погоди, я куплю тебе отличную шубу... я тебя в гимназию отдам! Понимаешь? В гимназию! Я тебя в дворяне выведу! А пить больше не буду. Честное слово, не буду.

И он глубоко верит в светлое будущее. Но вот наступает вечер. Старуха, вернувшись от жидов с двугривенным, утомленная и разбитая, принимается за стирку детского белья. Вася сидит и решает задачу. Егорыч не работает. По милости Путохина он спился и теперь чувствует неодолимую жажду выпить. В комнатах душно, жарко. От корыта, в котором старуха моет белье, валит пар.

— Пойдем, что ли? — угрюмо спрашивает Егорыч.

Мой жилец молчит. После возбуждения ему становится невыносимо скучно. Он борется с желанием выпить, с тоской и... и, конечно, тоска берет верх. История известная...

К ночи Егорыч и Путохин уходят, а утром Вася не находит бабушкиной шали.

Вот какая история происходила в этой квартире. Пропивши шаль, Путохин уж больше не возвращался домой. Куда он исчез, я не знаю. После того как он пропал, старуха сначала запила, а потом слегла. Ее свезли в больницу, младших ребят взяла какая-то родня, а Вася поступил вот в эту прачечную. Днем он подавал утюги, а ночью бегал за пивом. Когда из прачечной его выгнали, он поступил к одной из барышень, бегал по ночам, исполняя какие-то поручения, и его звали уже «вышибалой». Что дальше было с ним, я не знаю.

А в этой вот комнате десять лет жил нищий-музыкант. Когда он умер, в его перине нашли двадцать тысяч.

*1887*

## ДОРОГИЕ УРОКИ

Для человека образованного незнание языков составляет большое неудобство. Воротов сильно почувствовал это, когда, выйдя из университета со степенью кандидата, занялся маленькой научной работкой.

— Это ужасно! — говорил он задыхаясь (несмотря на свои двадцать шесть лет, он пухл, тяжел и страдает одышкой). — Это ужасно! Без языков я, как птица без крыльев. Просто хоть работу бросай.

И он решил во что бы то ни стало побороть свою врожденную лень и изучить французский и немецкий языки, и стал искать учителей.

В один зимний полдень, когда Воротов сидел у себя в кабинете и работал, лакей доложил, что его спрашивает какая-то барышня.

— Проси, — сказал Воротов.

И в кабинет вошла молодая, по последней моде, изысканно одетая барышня. Она отрекомендовалась учительницей французского языка, Алисой Осиповной Анкет, и сказала, что ее прислал к Воротову один из его друзей.

— Очень приятно! Садитесь! — сказал Воротов, задыхаясь и прикрывая ладонью воротник своей ночной сорочки. (Чтобы легче дышалось, он всегда работает в ночной сорочке.) — Вас прислал ко мне Петр Сергеич? Да, да... я просил его... Очень рад!

Договариваясь с m-lle Анкет, он застенчиво и с любопытством поглядывал на нее. Это была настоящая, очень изящная француженка, еще очень молодая. По

лицу, бледному и томному, по коротким кудрявым волосам и неестественно тонкой талии, ей можно было дать не больше восемнадцати лет; взглянув же на ее широкие, хорошо развитые плечи, на красивую спину и строгие глаза, Воротов подумал, что ей, наверное, не меньше двадцати трех лет, быть может, даже все двадцать пять; но потом опять стало казаться, что ей только восемнадцать. Выражение лица у нее было холодное, деловое, как у человека, который пришел говорить о деньгах. Она ни разу не улыбнулась, не нахмурилась, и только раз на ее лице мелькнуло недоумение, когда она узнала, что ее пригласили учить не детей, а взрослого, толстого человека.

— Итак, Алиса Осиповна, — говорил ей Воротов, — мы будем заниматься ежедневно от семи до восьми вечера. Что же касается вашего желания — получать по рублю за урок, то я ничего не имею возразить против. По рублю — так по рублю...

И он еще спросил у нее, не хочет ли она чаю или кофе, хороша ли на дворе погода, и, добродушно улыбаясь, поглаживая ладонью сукно на столе, дружелюбно осведомился, кто она, где кончила курс и чем живет.

Алиса Осиповна с холодным, деловым выражением ответила ему, что она кончила курс в частном пансионе и имеет права домашней учительницы, что отец ее недавно умер от скарлатины, мать жива и делает цветы, что она, m-lle Анкет, до обеда занимается в частном пансионе, а после обеда, до самого вечера, ходит по хорошим домам и дает уроки.

Она ушла, оставив после себя легкий, очень нежный запах женского платья. Воротов долго потом не работал, а сидя у стола, поглаживал ладонями зеленое сукно и размышлял.

«Очень приятно видеть девушек, зарабатывающих себе кусок хлеба, — думал он. — С другой же стороны, очень неприятно видеть, что нужда не щадит даже таких изящных и хорошеньких девиц, как эта Алиса Осиповна, и ей также приходится вести борьбу за существование. Беда!..»

Он, никогда не видавший добродетельных француженок, подумал также, что эта изящно одетая Алиса Осиповна, с хорошо развитыми плечами и с преувеличенно

тонкой талией, по всей вероятности, кроме уроков, занимается еще чем-нибудь.

На другой день вечером, когда часы показывали без пяти минут семь, пришла Алиса Осиповна, розовая от холода; она раскрыла Margot, которого принесла с собой, и начала без всяких предисловий:

— Французская грамматика имеет двадцать шесть букв. Первая буква называется А, вторая В...

— Виноват, — перебил ее Воротов улыбаясь. — Я должен предупредить вас, мадмуазель, что лично для меня вам придется несколько изменить ваш метод. Дело в том, что я хорошо знаю русский, латинский и греческий языки... изучал сравнительное языковедение, и, мне кажется, мы можем, минуя Margot, прямо приступить к чтению какого-нибудь автора.

И он объяснил француженке, как взрослые люди изучают языки.

— Один мой знакомый, — сказал он, — желая изучить новые языки, положил перед собой французское, немецкое и латинское евангелия, читал их параллельно, причем кропотливо разбирал каждое слово, и что ж? Он достиг своей цели меньше чем в один год. Сделаем и мы так. Возьмем какого-нибудь автора и будем читать.

Француженка с недоумением посмотрела на него. По-видимому, предложение Воротова показалось ей очень наивным и вздорным. Если бы это странное предложение было сделано малолетним, то, наверное, она рассердилась бы и крикнула, но так как тут был человек взрослый и очень толстый, на которого нельзя было кричать, то она только пожала плечами едва заметно и сказала:

— Как хотите.

Воротов порылся у себя в книжном шкафу и достал оттуда истрепанную французскую книгу.

— Это годится? — спросил он.

— Все равно.

— В таком случае давайте начинать. Господи благослови. Начнем с заглавия... Mémoires.

— Воспоминания... — перевела m-lle Анкет.

— Воспоминания... — повторил Воротов.

Добродушно улыбаясь и тяжело дыша, он четверть часа провозился со словом mémoires и столько же со

словом de, и это утомило Алису Осиповну. Она отвечала на вопросы вяло, путалась и, по-видимому, плохо понимала своего ученика и не старалась понять. Воротов предлагал ей вопросы, а сам между тем поглядывал на ее белокурую голову и думал:

«Ее волосы кудрявы не от природы, она завивается. Удивительно! Работает с утра до ночи и успевает еще завиваться».

Ровно в восемь часов она поднялась и, сказав сухое, холодное «au revoir, monsieur»[1], пошла из кабинета; и после нее остался все тот же нежный, тонкий, волнующий запах. Ученик опять долго ничего не делал, сидел у стола и думал.

В следующие затем дни он убедился, что его учительница барышня милая, серьезная и аккуратная, но что она очень необразованна и учить взрослых не умеет; и он решил не тратить попусту времени, расстаться с ней и пригласить другого учителя. Когда она пришла в седьмой раз, он достал из кармана конверт с семью рублями и, держа его в руках, очень сконфузился и начал так:

— Извините, Алиса Осиповна, но я должен вам сказать... поставлен в тяжелую необходимость...

Взглянув на конверт, француженка догадалась, в чем дело, и в первый раз за все время уроков ее лицо дрогнуло, и холодное, деловое выражение исчезло. Она слегка зарумянилась и, опустив глаза, стала нервно перебирать пальцами свою тонкую золотую цепочку. И Воротов, глядя на ее смущение, понял, как для нее дорог был рубль и как ей тяжело было бы лишиться этого заработка.

— Я должен вам сказать... — пробормотал он, смущаясь еще больше, и в груди у него что-то екнуло; он торопливо сунул конверт в карман и продолжал: — Извините, я... я оставлю вас на десять минут...

И делая вид, что он вовсе не хотел отказывать ей, а только просил позволения оставить ее ненадолго, он вышел в другую комнату и высидел там десять минут. И потом вернулся еще более смущенный; он сообразил, что этот его уход на короткое время она может объяснить как-нибудь по-своему, и ему было неловко.

Уроки начались опять.

---

[1] до свиданья, сударь *(франц.)*.

Воротов занимался уж без всякой охоты. Зная, что из занятий не выйдет никакого толку, он дал француженке полную волю, уж ни о чем не спрашивал ее и не перебивал. Она переводила, как хотела, по десяти страниц в один урок, а он не слушал, тяжело дышал, и от нечего делать рассматривал то кудрявую головку, то шею, то нежные белые руки, вдыхал запах ее платья...

Он ловил себя на нехороших мыслях, и ему становилось стыдно, или же он умилялся и тогда чувствовал огорчение и досаду оттого, что она держала себя с ним так холодно, деловито, как с учеником, не улыбаясь и точно боясь, как бы он не прикоснулся к ней нечаянно. Он все думал: как бы так внушить ей доверие, познакомиться с нею покороче, потом помочь ей, дать ей понять, как дурно она преподает, бедняжка.

Алиса Осиповна явилась однажды на урок в нарядном розовом платье, с маленьким декольте, и от нее шел такой аромат, что казалось, будто она окутана облаком, будто стоит только дунуть на нее, как она полетит или рассеется, как дым. Она извинилась и сказала, что может заниматься только полчаса, так как с урока пойдет прямо на бал.

Он смотрел на ее шею и на спину, оголенную около шеи, и, казалось ему, понимал, отчего это француженки пользуются репутацией легкомысленных и легко падающих созданий; он тонул в этом облаке ароматов, красоты, наготы, а она, не зная его мыслей и, вероятно, нисколько не интересуясь ими, быстро перелистывала страницы и переводила на всех парах:

— «Он ходил на улице и встречал господина своего знакомого и сказал: «Куда вы устремляетесь, видя ваше лицо такое бледное, это делает мне больно».

Mémoires давно уже были кончены, и теперь Алиса переводила какую-то другую книгу. Раз она пришла на урок часом раньше, извиняясь тем, что в семь часов ей нужно ехать в Малый театр. Проводив ее после урока, Воротов оделся и тоже поехал в театр. Он поехал, как казалось ему, только затем, чтобы отдохнуть, развлечься, а об Алисе у него не было и мыслей. Он не мог допустить, чтобы человек серьезный, готовящийся к ученой карьере, тяжелый на подъем, бросил дело и поехал в театр только затем, чтобы встретиться там с мало знакомой, не умной, мало интеллигентной девушкой...

Но почему-то в антрактах у него билось сердце, он, сам того не замечая, как мальчик бегал по фойе и по коридорам, нетерпеливо отыскивая кого-то; и ему становилось скучно, когда антракт кончался; а когда он увидел знакомое розовое платье и красивые плечи под тюлем, сердце его сжалось, точно от предчувствия счастья, он радостно улыбнулся и первый раз в жизни испытал ревнивое чувство.

Алиса шла с какими-то двумя некрасивыми студентами и с офицером. Она хохотала, громко говорила, видимо, кокетничала; такою никогда не видел ее Воротов. Очевидно, она была счастлива, довольна, искренна, тепла. Отчего? Почему? Оттого, быть может, что эти люди были близки ей, из того же круга, что и она... И Воротов почувствовал страшную пропасть между собой и этим кругом. Он поклонился своей учительнице, но та холодно кивнула ему и быстро прошла мимо; ей, по-видимому, не хотелось, чтобы ее кавалеры знали, что у нее есть ученики и что она от нужды дает уроки.

После встречи в театре Воротов понял, что он влюблен... Во время следующих уроков, пожирая глазами свою изящную учительницу, он уже не боролся с собой, а давал полный ход своим чистым и нечистым мыслям. Лицо Алисы Осиповны не переставало быть холодным, ровно в восемь часов каждого вечера она спокойно говорила «au revoir, monsieur», и он чувствовал, что она равнодушна к нему и будет равнодушной и положение его безнадежно.

Иногда среди урока он начинал мечтать, надеяться, строить планы, сочинял мысленно любовное объяснение, вспоминал, что француженки легкомысленны и податливы, но достаточно ему было взглянуть на лицо учительницы, чтобы мысли его мгновенно потухли, как потухает свеча, когда на даче во время ветра выносишь ее на террасу. Раз он, опьянев, забывшись, как в бреду, не выдержал и, загораживая ей дорогу, когда она выходила после урока из кабинета в переднюю, задыхаясь и заикаясь, стал объясняться в любви:

— Вы мне дороги! Я... я люблю вас! Позвольте мне говорить!

А Алиса побледнела — вероятно от страха, соображая, что после этого объяснения ей уж нельзя будет

ходить сюда и получать рубль за урок; она сделала испуганные глаза и громко зашептала:

— Ах, это нельзя! Не говорите, прошу вас! Нельзя!

И потом Воротов не спал всю ночь, мучился от стыда, бранил себя, напряженно думал. Ему казалось, что своим объяснением он оскорбил девушку, что она уже больше не придет к нему.

Он решил узнать утром в адресном столе ее адрес и написать ей извинительное письмо. Но Алиса пришла без письма. Первую минуту она чувствовала себя неловко, но потом раскрыла книгу и стала переводить быстро и бойко, как всегда:

— «О молодой господин, не разрывайте эти цветы в моем саду, которые я хочу давать своей больной дочери...»

Ходит она до сегодня. Переведены уже четыре книги, а Воротов не знает ничего, кроме слова «mémoires», и когда его спрашивают об его научной работке, то он машет рукой и, не ответив на вопрос, заводит речь о погоде.

*1887*

## БЕДА

Директора городского банка Петра Семеныча, бухгалтера, его помощника и двух членов отправили ночью в тюрьму. На другой день после переполоха купец Авдеев, член ревизионной комиссии банка, сидел с приятелями у себя в лавке и говорил:

— Так, значит, богу угодно. От судьбы не уйдешь. Сейчас вот мы икрой закусываем, а завтра, гляди — тюрьма, сума, а то и смерть. Всякое бывает. Теперь взять к примеру хоть Петра Семеныча...

Он говорил и жмурил свои пьяные глазки, а приятели выпивали, закусывали икрой и слушали. Описав позор и беспомощность Петра Семеныча, который еще вчера был силен и всеми уважаем, Авдеев продолжал со вздохом:

— Отзываются кошке мышкины слезки. Так им, мошенникам, и надо! Умели, курицыны дети, грабить, так пущай же теперь ответ дадут.

— Гляди, Иван Данилыч, как бы и тебе не досталось! — заметил один из приятелей.

— А мне за что?

— А за то. Те грабили, а ревизионная комиссия что глядела? Небось ведь ты подписывал отчеты?

— Экось, легко ли дело! — усмехнулся Авдеев. — Подписывал! Носили ко мне в лавку отчеты, ну и подписывал. Нешто я понимаю? Мне что ни дай, я все подмахну. Напиши ты сейчас, что я человека зарезал, так я и то подпишу. Не время мне разбирать, да и не вижу без очков.

Потолковав о крахе банка и о судьбе Петра Семеныча, Авдеев и его приятели отправились на пирог к знакомому, у которого в этот день была именинница жена. На именинах все гости говорили только о крахе банка. Авдеев горячился больше всех и уверял, что он давно уже предчувствовал этот крах и еще два года тому назад знал, что в банке не совсем чисто. Пока ели пирог, он описал с десяток противозаконных операций, которые ему были известны.

— Если вы знали, то отчего же вы не донесли? — спросил его офицер, бывший на именинах.

— Не я один, весь город знал... — усмехнулся Авдеев. — Да и нет времени по судам ходить. Ну их!

Отдохнув после пирога, он пообедал и еще раз отдохнул, потом отправился ко всенощной в свою церковь, где был старостой; после всенощной опять пошел на именины и до самой полночи играл в преферанс. По-видимому, все обстояло благополучно.

Когда же после полночи Авдеев вернулся к себе домой, кухарка, отворявшая ему дверь, была бледна и от дрожи не могла выговорить ни одного слова. Его жена, Елизавета Трофимовна, откормленная сырая старуха, с распущенными седыми волосами, сидела в зале на диване, тряслась всем телом и, как пьяная, бессмысленно поводила глазами. Около нее со стаканом воды суетился тоже бледный и крайне взволнованный старший сын ее, гимназист Василий.

— Что такое? — спросил Авдеев и сердито покосился на печку. (Его семья часто угорала.)

— Сейчас следователь с полицией приходил... — ответил Василий. — Обыскивали.

Авдеев поглядел вокруг себя. Шкафы, комоды, столы — все носило на себе следы недавнего обыска. Минуту Авдеев простоял неподвижно, как в столбняке, ничего не понимая, потом все внутренности его задрожали и отяжелели, левая нога онемела, и он, не вынося дрожи, лег ничком на диван; ему слышно было, как переворачивались его внутренности и как непослушная левая нога стучала по спинке дивана.

В какие-нибудь две-три минуты он припомнил все свое прошлое, но не нашел ни одной такой вины, которая заслуживала бы внимания судебной власти...

— Все это одна чепуха... — сказал он, поднимаясь. — Это, должно быть, меня оговорили. Надо будет завтра жалобу подать, чтобы они не смели это самое...

На другой день утром, после бессонной ночи, Авдеев, как всегда, отправился к себе в лавку. Покупатели принесли ему известие, что в истекшую ночь прокурор отправил в тюрьму еще товарища директора и письмоводителя банка. Это известие не обеспокоило Авдеева. Он был уверен, что его оговорили и что если он сегодня подаст жалобу, то следователю достанется за вчерашний обыск.

В десятом часу он побежал в управу к секретарю, который был единственным образованным человеком во всей управе.

— Владимир Степаныч, что же это за мода? — начал он, наклоняясь к уху секретаря. — Люди крали, а я-то тут при чем? С какой стати? Милый человек, — зашептал он, — ночью-то у меня обыск был! Ей-богу... Осатанели они, что ли? За что меня трогать?

— А за то, что не нужно быть бараном, — покойно ответил секретарь. — Прежде чем подписывать, надо было глядеть...

— Что глядеть? Да гляди я в эти отчеты хоть тысячу лет, я ничего не пойму! Черта лысого я понимаю! Какой я булгахтер? Мне носили, я и подписывал.

— Позвольте. Кроме того, вы, как и вся ваша комиссия, сильно скомпрометированы. Вы без всякого обеспечения взяли из банка девятнадцать тысяч.

— Господи твоя воля! — удивился Авдеев. — Нешто я один должен? Ведь весь город должен! Я плачу проценты и отдам долг. Господь с тобой! А кроме того, ежели, скажем, рассуждать по совести, нешто я сам взял эти деньги? Мне Петр Семеныч всучил. Возьми, говорит, и возьми. Ежели, говорит, не берешь, то, значит, нам не доверяешь и сторонишься. Ты, говорит, возьми и отцу мельницу построй. Я и взял.

— Ну, вот видите: так могут рассуждать только дети и бараны. Во всяком случае, сеньор, вы напрасно волнуетесь. Суда вам, конечно, не избежать, но наверное вас оправдают.

Равнодушие и покойный тон секретаря подействовали на Авдеева успокаивающе. Вернувшись к себе в лавку и застав в ней приятелей, он опять выпивал, закусывал

икрой и философствовал. Он уж почти забыл об обыске, и его беспокоило только одно обстоятельство, которое он не мог не заметить: у него как-то странно немела левая нога и почему-то совсем не варил желудок.

Вечером того же дня судьба сделала по Авдееву еще один оглушительный выстрел: на экстренном заседании думы все банковцы, в том числе и Авдеев, были исключены из числа гласных, как находящиеся под судом и следствием. Утром он получил бумагу, в которой его приглашали немедленно сдать должность церковного старосты.

Затем Авдеев потерял счет в выстрелах, которые делала по нем судьба, и для него быстро один за другим замелькали странные, небывалые дни, и каждый день приносил с собою какой-нибудь новый неожиданный сюрприз. Между прочим, следователь прислал ему повестку. От следователя вернулся он домой оскорбленный, красный.

— Пристал, как с ножом к горлу: зачем подписывал? Подписывал, вот и все! Нешто я нарочно? Носили в лавку, я и подписывал. Я и читать-то по писанному путем не умею.

Пришли какие-то молодые люди с равнодушными лицами, запечатали лавку и описали в доме всю мебель. Подозревая в этом интригу и по-прежнему не чувствуя за собой никакой вины, оскорбленный Авдеев стал бегать по присутственным местам и жаловаться. По целым часам ожидал он в передних, сочинял длинные прошения, плакал, бранился. В ответ на его жалобы прокурор и следователь говорили ему равнодушно и резонно:

— Приходите, когда вас позовут, а теперь нам некогда.

А другие отвечали:

— Это не наше дело.

Секретарь же, образованный человек, который, как казалось Авдееву, мог бы помочь ему, только пожимал плечами и говорил:

— Вы сами виноваты. Не нужно быть бараном...

Старик хлопотал, а нога немела по-прежнему, и желудок варил все хуже. Когда безделье утомило его и наступила нужда, он решил поехать к отцу на мельницу или к брату и заняться мучной торговлей, но его

не пустили из города. Семья уехала к отцу, а он остался один.

Дни мелькали за днями. Без семьи, без работы и без денег, бывший староста, почтенный и уважаемый человек, по целым дням ходил по лавкам своих приятелей, выпивал, закусывал и выслушивал советы. По утрам и вечерам он, чтобы убить время, ходил в церковь. Глядя по целым часам на иконы, он не молился, а думал. Совесть его была чиста, и свое положение объяснял он ошибкой и недоразумением; по его мнению, все произошло только оттого, что следователи и чиновники молоды и неопытны; ему казалось, что если бы какой-нибудь старый судья поговорил с ним по душам и подробно, то все вошло бы в свою колею. Он не понимал своих судей, а судьи, казалось ему, не понимали его...

Дни бежали за днями, и наконец после долгой, томительной проволочки наступило время суда. Авдеев взял взаймы пятьдесят рублей, запасся спиртом для ноги и травкой для желудка и поехал в тот город, где находилась судебная палата.

Суд продолжался полторы недели. Все время суда Авдеев солидно и с достоинством, как это подобает человеку почтенному и невинно пострадавшему, сидел среди товарищей по несчастью, слушал и ровно ничего не понимал. Настроение у него было враждебное. Он сердился, что его долго держат в суде, что нигде нельзя достать постной еды, что защитник не понимает его и, как казалось ему, говорит не то, что нужно. Судьи, казалось ему, судили не так, как бы следовало. Они не обращали на Авдеева почти никакого внимания, обращались к нему раз в три дня, и вопросы, которые они задавали ему, были такого свойства, что, отвечая на них, Авдеев всякий раз возбуждал в публике смех. Когда он порывался говорить о своих проторях, убытках и о том, что желает взыскать судебные издержки, защитник оборачивался и делал непонятную гримасу, публика смеялась, а председатель строго заявлял, что это к делу не относится. В своем последнем слове он сказал не то, чему учил его защитник, а совсем другое, тоже возбудившее смех.

В те страшные часы, когда присяжные совещались в своей комнате, он, сердитый, сидел в буфете и совсем не думал о присяжных. Он не понимал, зачем они со-

вещаются так долго, если все так ясно, и что им нужно от него.

Проголодавшись, он попросил лакея дать ему чего-нибудь дешевого и постного. За сорок копеек ему дали какой-то холодной рыбы с морковью. Он съел и тотчас же почувствовал, как эта рыба тяжелым комом заходила в его животе; начались отрыжка, изжога, боль...

Когда он потом слушал старшину, читавшего вопросные пункты, внутренности его переворачивались, тело обливалось холодным потом, левая нога немела; он не слушал, ничего не понимал и невыносимо страдал оттого, что старшину нельзя слушать сидя или лежа. Наконец, когда ему и его товарищам позволили сесть, встал прокурор судебной палаты и сказал что-то непонятное. Точно из земли выросши, появились откуда-то жандармы с шашками наголо и окружили всех обвиняемых. Авдееву приказали встать и идти.

Теперь он понял, что его обвинили и взяли под стражу, но он не испугался и не удивился; в животе происходил такой беспорядок, что ему было совсем не до стражи.

— Значит, нас теперь не пустят в номер? — спросил он у одного из своих товарищей. — А у меня в номере три рубля денег и непочатая четвертка чаю.

Ночевал он в частном доме, всю ночь чувствовал отвращение к рыбе и думал о трех рублях и четвертке чаю. Рано утром, когда небо стало синеть, ему приказали одеться и идти. Два солдата со штыками повели его в тюрьму. Никогда в другое время городские улицы не казались ему так длинны и бесконечны. Шел он не по тротуару, а среди улицы по тающему, грязному снегу. Внутренности все еще воевали с рыбой, левая нога немела; калоши он забыл не то в суде, не то в частном доме, и ноги его зябли...

Через пять дней всех обвиняемых опять повели в суд для выслушания приговора. Авдеев узнал, что его приговорили к ссылке на житье в Тобольскую губернию. И это не испугало его и не удивило. Ему почему-то казалось, что суд еще не кончился, что проволочка все еще тянется и что настоящего «решения» еще не было... Жил он в тюрьме и каждый день ждал этого решения.

Только полгода спустя, когда пришли к нему прощаться жена и сын Василий, когда он в тощей нищенски

одетой старушке едва узнал свою когда-то сырую и солидную Елизавету Трофимовну и когда вместо гимназического платья увидел на сыне куцый, потертый пиджачок и сарпинковые панталоны, он понял, что судьба его уже решена и что, какое бы еще ни было новое «решение», ему уже не вернуть своего прошлого. И он в первый раз за все время суда и тюремного заключения согнал со своего лица сердитое выражение и горько заплакал.

*1887*

## КАШТАНКА

*Рассказ*

### *Глава первая*
### ДУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Молодая рыжая собака — помесь такса с дворняжкой — очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул:

— Каштанка, пойдем!

Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конножелезки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело

терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

— Чтоб... ты... из... дох... ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

— Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем — в гиене огненной гореть будем...

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

— Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра...

Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому ее удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны

улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. (Все человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу — вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

## *Глава вторая*
### ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

— Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись.... Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.

— Что же ты скулишь? — продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. — Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее.

— А ты хорошая, смешная! — сказал незнакомец. — Совсем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдем со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйть!

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдем!» Каштанка пошла.

Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки... Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.

— Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! — говорил незнакомец, глядя, с какою свирепою жадностью она глотала неразжеванные куски. — И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше — у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань... У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество — он дает много есть, и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каш-

танка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, треклятая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.

— Эй ты, пес, поди сюда! — сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. — Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком... Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею... Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку... Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.

Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью... Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазах и с клочьями шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу...

## *Глава третья*

### НОВОЕ, ОЧЕНЬ ПРИЯТНОЕ ЗНАКОМСТВО

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула

и, сердитая, угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.

— Рррр... — заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту... Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгливым лаем; в это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся...

— Это что такое? — послышался громкий сердитый голос, и в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. — Что это значит? На место!

Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал:

— Федор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись к гусю, он крикнул:

— Иван Иваныч, на место!

Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка

обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.

— Ладно, ладно! — сказал хозяин, зевая. — Надо жить мирно и дружно. — Он погладил Каштанку и продолжал: — А ты, рыжик, не бойся... Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.

Незнакомец подумал и сказал:

— Вот что... Ты будешь — Тетка... Понимаешь? Тетка!

И, повторив несколько раз слово «Тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью... Послушав его и ответив ему: «рррр...», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох — невкусно, попробовала корки — и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив, заговорил еще горячее и, чтобы показать свое доверие, сам подошел к корытцу и съел несколько горошинок.

## *Глава четвертая*

### ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

Немного погодя опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченого П висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:

— Иван Иваныч, пожалуйте!

Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе.

— Ну-с, — сказал незнакомец, — начнем с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!

Иван Иваныч вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой.

— Так, молодец... Теперь умри!

Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Проделав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал:

— Караул! Пожар! Горим!

Иван Иваныч подбежал к П, взял в клюв веревку и зазвонил в колокол.

Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал:

— Молодец, Иван Иваныч! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае?

Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и залаяла.

— Тетка, на место! — крикнул ей незнакомец. — Молчать!

Работа Ивана Иваныча не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причем гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Иваныча, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул:

— Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Через минуту послышалось хрюканье... Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла к коту и

слегка толкнула его под живот своим пятачком и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно.

Хозяин убрал П и крикнул:

— Федор Тимофеич, пожалуйте!

Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошел к свинье.

— Ну-с начнем с египетской пирамиды, — начал хозяин.

Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «раз... два... три!» Иван Иваныч при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи... Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Федор Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош свое искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл «египетской пирамидой». Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иваныч пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Иваныча ездить верхом на коте, потом стал учить кота курить и т. п.

Ученье кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел, Федор Тимофеич брезгливо фыркнул, лег на матрасик и закрыл глаза, Иван Иваныч направился к корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошел для Каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеича и гуся.

## *Глава пятая*

### ТАЛАНТ! ТАЛАНТ!

Прошел месяц.

Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Теткой. Привыкла

она и к незнакомцу и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.

Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иваныч и тотчас же подходил к Тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умен, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: «рррр»...

Федор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, все презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал.

Проснувшись, Каштанка начинала ходить ко комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире: гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время ученья. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились П, бич, обручи и, каждый день проделывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, так что иной раз Федор Тимофеич от утомления пошатывался, как пьяный, Иван Иваныч раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот.

Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, Тетка ложилась на матрасик и начинала грустить... Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже

глядеть, затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила... А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком.

Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленного пса, однажды перед ученьем хозяин погладил ее и сказал:

— Пора нам, Тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать... Ты хочешь быть артисткой?

И он стал учить ее разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Федора Тимофеича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами; беганье с высунутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки.

— Талант! Талант! — говорил он. — Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!

И Тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой.

## *Глава шестая*
### БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ

Тетке приснился собачий сон, будто за нею гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха.

В комнате было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но

теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом немного погодя в своем сарайчике хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкафом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть: цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки — такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от нее раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иваныч, и крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потемках и не поняв, Тетка почувствовала еще больший страх и проворчала:

— Рррр...

Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крик не повторялся. Тетка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тетка подошла к лохани и стала кушать, но как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался пронзительный крик.

— К-ге! К-ге-ге! — крикнул Иван Иваныч.

Тетка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иваныч, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья.

Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку вошел хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал

потемки. Тетка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иваныч сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт, и вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком.

— Иван Иваныч, что с тобой? — спросил хозяин у гуся. — Что ты кричишь? Ты болен?

Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал:

— Ты чудак. И сам не спишь и другим не даешь.

Когда хозяин вышел и унес с собою свет, опять наступили потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеич тоже был непокоен. Тетка слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встряхивал головой.

Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, в потемках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Иваныча. Все было в тревоге и в беспокойстве, но отчего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около Тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофеич. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завыла тихо и на разные голоса.

— К-ге! — крикнул Иван Иваныч. — К-ге-ге!

Опять отворилась дверь, и вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты.

— Иван Иваныч! — позвал хозяин.

Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал:

— Иван Иваныч! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ах, я теперь вспомнил, вспомнил! — вскрикнул он и схватил себя за голову. — Я знаю, отчего это! Это

оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, боже мой!

Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она протянула морду к темному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой, и завыла.

— Он умирает, Тетка! — сказал хозяин и всплеснул руками. — Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать?

Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил:

— Боже мой, что же делать?

Тетка ходила около его ног и, не понимая, отчего это у нее такая тоска и отчего все так беспокоятся, и стараясь понять, следила за каждым его движением. Федор Тимофеич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошел в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать.

Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошел к гусю.

— Пей, Иван Иваныч! — сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. — Пей, голубчик.

Но Иван Иваныч не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке.

— Нет, ничего уже нельзя сделать! — вздохнул хозяин. — Все кончено. Пропал Иван Иваныч!

И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чем дело, Тетка и Федор Тимофеич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся.

— Бедный Иван Иваныч! — говорил хозяин, печально вздыхая. — А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?

Тетке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть что и она тоже вот так, неизвестно отчего, за-

кроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь.

Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так Тетку. Когда совсем рассвело, пришел дворник, взял гуся за лапы и унес его куда-то. А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце.

Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф: хозяин не скушал куриной лапки, она лежала на своем месте, в пыли и паутине. Но Тетке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском:

— Ску-ску-ску...

## *Глава седьмая*
### НЕУДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал:

— Ну-с...

Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя он вернулся и сказал:

— Сегодня я возьму с собой Тетку и Федора Тимофеича. В египетской пирамиде ты, Тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Иваныча. Черт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало! Осрамимся, провалимся!

Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу, причем Федор Тимофеич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно: лежать ли, или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике, или покоиться на груди хозяина под шубой...

— Тетка, пойдем, — сказал хозяин.

Ничего не понимая и виляя хвостом, Тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал:

— Осрамимся! Провалимся!

Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и, как рты, глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно.

Хозяин взял на руки Тетку и сунул ее на грудь, под шубу, где находился Федор Тимофеич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки — это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.

Кот сипло замяукал под лапами Тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «гоп!», и Федор Тимофеич с Теткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами; тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонек, приделанный к трубочке, вбитой в стену. Федор Тимофеич облизал свою шубу, помятую Теткой, пошел под табурет и лег. Хозяин, все еще волнуясь и потирая руки, стал раздеваться... Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял все, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего он

надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяны. Затеи его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем несообразный костюм, какого Тетка никогда не видала раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели, панталоны, которые застегиваются у самых подмышек; одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-желтого. Утонувши в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые башмаки...

У Тетки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином, голос у нее был тоже знакомый, хозяйский, но бывали минуты, когда Тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Новое место, вееробразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, — все это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее — это невозмутимость Федора Тимофеича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет.

Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал:

— Сейчас выход мисс Арабеллы. После нее — вы.

Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и Тетка слышала, как дрожало его дыхание.

— М-г Жорж, пожалуйте! — крикнул кто-то за дверью.

Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан.

— Иди, Тетка! — сказал он тихо.

Тетка, ничего не понимая, подошла к его рукам; он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором

Тимофеичем. Засим наступили потемки... Тетка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал...

— А вот и я! — громко крикнул хозяин. — А вот и я!

Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твердое и перестал качаться. Послышался громкий густой рев: по ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома.

— Га! — крикнул он, стараясь перекричать рев. — Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжелое — очевидно, золото... Га-а! И вдруг здесь миллион! Сейчас мы откроем и посмотрим...

В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил Тетку по глазам; она прыгнула вон из чемодана и, оглушенная ревом, быстро, во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем.

— Га! — закричал хозяин. — Дядюшка Федор Тимофеич! Дорогая Тетушка! Милые родственники, черт бы вас взял!

Он упал животом на песок, схватил кота и Тетку и принялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света; куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.

— Тетушка, прошу вас сесть! — крикнул хозяин.

Помня, что это значит, Тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячей лиц. Тетка поверила его веселости, вдруг почувст-

вовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завыла.

— Вы, Тетушка, посидите, — сказал ей хозяин, — а мы с дядюшкой попляшем камаринского.

Федор Тимофеич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя... Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел.

— Ну-с, Тетушка, — сказал хозяин, — сначала мы с вами споем, а потом попляшем. Хорошо?

Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда все стихло, продолжал играть... Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул.

— Тятька! — крикнул детский голос. — А ведь это Каштанка!

— Каштанка и есть! — подтвердил пьяненький, дребезжащий тенорок. — Каштанка! Федюшка, это, накажи бог, Каштанка! Фюйть!

Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один — детский, другой — мужской, громко позвали:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое — пухлое, краснощекое и испуганное, ударили ее по глазам, как раньше ударил яркий свет... Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе; чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену; Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и наконец попала на галерку...

Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрыч покачивался и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы.

— В бездне греховней валяюся во утробе моей... — бормотал он. — А ты, Каштанка, — недоумение. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра.

Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту.

Вспомнила она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но все это представлялось ей теперь, как длинный, перепутанный тяжелый сон...

*1887*

## РАССКАЗ ГОСПОЖИ NN

Лет девять назад, как-то раз перед вечером, во время сенокоса я и Петр Сергеич, исправляющий должность судебного следователя, поехали верхом на станцию за письмами.

Погода была великолепная, но на обратном пути послышались раскаты грома, и мы увидели сердитую черную тучу, которая шла прямо на нас. Туча приближалась к нам, а мы к ней.

На ее фоне белели наш дом и церковь, серебрились высокие тополи. Пахло дождем и скошенным сеном. Мой спутник был в ударе. Он смеялся и говорил всякий вздор. Он говорил, что было бы недурно, если бы на пути нам вдруг встретился какой-нибудь средневековый замок с зубчатыми башнями, с мохом, с совами, чтобы мы спрятались туда от дождя и чтобы нас в конце концов убил гром...

Но вот по ржи и по овсяному полю пробежала первая волна, рванул ветер, и в воздухе закружилась пыль. Петр Сергеич рассмеялся и пришпорил лошадь.

— Хорошо! — крякнул он. — Очень хорошо!

Я, зараженная его веселостью, и от мысли, что сейчас промокну до костей и могу быть убита молнией, тоже стала смеяться.

Этот вихрь и быстрая езда, когда задыхаешься от ветра и чувствуешь себя птицей, волнуют и щекочут грудь. Когда мы въехали в наш двор, ветра уже не было, и крупные брызги дождя стучали по траве и по крышам. Около конюшни не было ни души.

Петр Сергеич сам разнуздал лошадей и повел их к стойлам. Ожидая, когда он кончит, я стояла у порога и смотрела на косые дождевые полосы; приторный, возбуждающий запах сена чувствовался здесь сильнее, чем в поле; от туч и дождя было сумеречно.

— Вот так удар! — сказал Петр Сергеич, подходя ко мне после одного очень сильного, раскатистого громового удара, когда, казалось, небо треснуло пополам. — Каково?

Он стоял рядом на пороге и, тяжело дыша от быстрой езды, глядел на меня. Я заметила, что он любуется.

— Наталья Владимировна, — сказал он, — я отдал бы все, чтобы только подольше стоять так и глядеть на вас. Сегодня вы прекрасны.

Глаза его глядели восторженно и с мольбой, лицо было бледно, на бороде и усах блестели дождевые капли, которые тоже, казалось, с любовью глядели на меня.

— Я люблю вас, — сказал он. — Люблю и счастлив, что вижу вас. Я знаю, вы не можете быть моей женой, но ничего я не хочу, ничего мне не нужно, только знайте, что я люблю вас. Молчите, не отвечайте, не обращайте внимания, а только знайте, что вы мне дороги, и позвольте смотреть на вас.

Его восторг сообщился и мне. Я глядела на его вдохновенное лицо, слушала голос, который мешался с шумом дождя, и, как очарованная, не могла шевельнуться.

Мне без конца хотелось глядеть на блестящие глаза и слушать.

— Вы молчите — и прекрасно! — сказал Петр Сергеич. — Продолжайте молчать.

Мне было хорошо. Я засмеялась от удовольствия и побежала под проливным дождем к дому; он тоже засмеялся и, подпрыгивая, побежал за мной.

Оба мы шумно, как дети, мокрые, запыхавшиеся, стуча по лестницам, влетели в комнаты. Отец и брат, не привыкшие видеть меня хохочущей и веселой, удивленно поглядели на меня и тоже стали смеяться.

Грозовые тучи ушли, гром умолк, а на бороде Петра Сергеича все еще блестели дождевые капли. Весь вечер до ужина он пел, насвистывал, шумно играл с собакой, гоняясь за нею по комнатам, так что едва не сбил с ног человека с самоваром. А за ужином он много ел,

говорил глупости и уверял, что когда зимою ешь свежие огурцы, то во рту пахнет весной.

Ложась спать, я зажгла свечу и отворила настежь свое окно, и неопределенное чувство овладело моей душой. Я вспомнила, что я свободна, здорова, знатна, богата, что меня любят, а главное, что я знатна и богата, — знатна и богата — как это хорошо, боже мой!.. Потом, пожимаясь в постели от легкого холода, который пробирался ко мне из сада вместе с росой, я старалась понять, люблю я Петра Сергеича или нет... И не поняв ничего, уснула.

А когда утром увидала на своей постели дрожащие солнечные пятна и тени липовых ветвей, в моей памяти живо воскресло вчерашнее. Жизнь показалась мне богатой, разнообразной, полной прелести. Напевая, я быстро оделась и побежала в сад...

А потом что было? А потом — ничего. Зимою, когда мы жили в городе, Петр Сергеич изредка приезжал к нам. Деревенские знакомые очаровательны только в деревне и летом, в городе же и зимою они теряют половину своей прелести. Когда в городе поишь их чаем, то кажется, что на них чужие сюртуки и что они слишком долго мешают ложечкой свой чай. И в городе Петр Сергеич иногда говорил о любви, но выходило совсем не то, что в деревне. В городе мы сильнее чувствовали стену, которая была между нами: я знатна и богата, а он беден, он не дворянин даже, сын дьякона, он исправляющий должность судебного следователя и только; оба мы — я по молодости лет, а он бог знает почему — считали эту стену очень высокой и толстой, и он, бывая у нас в городе, натянуто улыбался и критиковал высший свет, и угрюмо молчал, когда при нем был кто-нибудь в гостиной. Нет такой стены, которой нельзя было бы пробить, но герои современного романа, насколько я их знаю, слишком робки, вялы, ленивы и мнительны и слишком скоро мирятся с мыслью о том, что они неудачники, что личная жизнь обманула их; вместо того чтобы бороться, они лишь критикуют, называя свет пошлым и забывая, что сама их критика мало-помалу переходит в пошлость.

Меня любили, счастье было близко и, казалось, жило со мной плечо о плечо; я жила припеваючи, не стараясь понять себя, не зная, чего я жду и чего хочу от

жизни, а время шло и шло... Проходили мимо меня люди со своей любовью, мелькали ясные дни и теплые ночи, пели соловьи, пахло сеном, — и все это, милое, изумительное по воспоминаниям, у меня, как у всех, проходило быстро, бесследно, не ценилось и исчезало, как туман... Где все оно?

Умер отец, я постарела; все, что нравилось, ласкало, давало надежду — шум дождя, раскаты грома, мысли о счастье, разговоры о любви, — все это стало одним воспоминанием, и я вижу впереди ровную, пустынную даль: на равнине ни одной живой души, а там на горизонте темно, страшно...

Вот звонок... Это пришел Петр Сергеич. Когда я зимою вижу деревья и вспоминаю, как они зеленели для меня летом, я шепчу:

— О, мои милые!

А когда я вижу людей, с которыми я провела свою весну, мне становится грустно, тепло, и я шепчу то же самое.

Его давно уже, по протекции моего отца, перевели в город. Он немножко постарел, немножко осунулся. Он давно уже перестал объясняться в любви, не говорит уже вздора, службы своей не любит, чем-то болен, в чем-то разочарован, махнул на жизнь рукой и живет нехотя. Вот он сел у камина; молча глядит на огонь... Я, не зная, что сказать, спросила:

— Ну, что?

— Ничего... — ответил он.

И опять молчание. Красный свет от огня запрыгал по его печальному лицу.

Вспомнилось мне прошлое, и вдруг мои плечи задрожали, голова склонилась, и я горько заплакала. Мне стало невыносимо жаль самое себя и этого человека и страстно захотелось того, что прошло и в чем теперь отказывает нам жизнь. И теперь уже я не думала о том, как я знатна и богата.

Я громко всхлипывала, сжимая себе виски, и бормотала:

— Боже мой, боже мой, погибла жизнь...

А он сидел, молчал и не сказал мне: «Не плачьте». Он понимал, что плакать нужно и что для этого наступило время. Я видела по его глазам, что ему жаль меня; и мне тоже было жаль его и досадно на этого робкого

неудачника, который не сумел устроить ни моей жизни, ни своей.

Когда я провожала его, то он в передней, как мне показалось, нарочно долго надевал шубу. Раза два молча поцеловал мне руку и долго глядел мне в заплаканное лицо. Я думаю, что в это время вспоминал он грозу, дождевые полосы, наш смех, мое тогдашнее лицо. Ему хотелось сказать мне что-то, и он был бы рад сказать, но ничего не сказал, а только покачал головой и крепко пожал руку. Бог с ним!

Проводив его, я вернулась в кабинет и опять села на ковре перед камином. Красные уголья подернулись пеплом и стали потухать. Мороз еще сердитее застучал в окно, и ветер запел о чем-то в каминной трубе.

Вошла горничная и, думая, что я уснула, окликнула меня...

*1887*

## БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

В V веке, как и теперь, каждое утро вставало солнце и каждый вечер оно ложилось спать. Утром, когда с росою целовались первые лучи, земля оживала, воздух наполнялся звуками радости, восторга и надежды, а вечером та же земля затихала и тонула в суровых потемках. День походил на день, ночь на ночь. Изредка набегала туча и сердито гремел гром, или падала с неба зазевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братии, что недалеко от монастыря он видел тигра — и только, а потом опять день походил на день, ночь на ночь.

Монахи работали и молились богу, а их настоятель старик играл на органе, сочинял латинские стихи и писал ноты. Этот чудный старик обладал необычайным даром. Он играл на органе с таким искусством, что даже самые старые монахи, у которых к концу жизни притупился слух, не могли удержать слез, когда из его кельи доносились звуки органа. Когда он говорил о чем-нибудь, даже самом обыкновенном, например, о деревьях, зверях или о море, его нельзя было слушать без улыбки или без слез, и казалось, что в душе его звучали такие же струны, как и в органе. Если же он гневался или предавался сильной радости, или начинал говорить о чем-нибудь ужасном и великом, то страстное вдохновение овладевало им, на сверкающих глазах выступали слезы, лицо румянилось, голос гремел, как гром, и монахи, слушая его, чувствовали, как его вдохновение ско-

вывало их души; в такие великолепные, чудные минуты власть его бывала безгранична, и если бы он приказал своим старцам броситься в море, то они все до одного с восторгом поспешили бы исполнить его волю.

Его музыка, голос и стихи, в которых он славил бога, небо и землю, были для монахов источником постоянной радости. Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы, весна, осень, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным пение птиц, но таланты старика настоятеля, подобно хлебу, нужны были каждый день.

Проходили десятки лет, и все день походил на день, ночь на ночь. Кроме диких птиц и зверей, около монастыря не показывалась ни одна душа. Ближайшее человеческое жилье находилось далеко, и чтобы пробраться к нему от монастыря или от него в монастырь, нужно было пройти верст сто пустыней. Проходить пустыню решались только люди, которые презирали жизнь, отрекались от нее и шли в монастырь, как в могилу.

Каково же поэтому было удивление монахов, когда однажды ночью в их ворота постучался человек, который оказался горожанином и самым обыкновенным грешником, любящим жизнь. Прежде чем попросить у настоятеля благословения и помолиться, этот человек потребовал вина и есть. На вопрос, как он попал из города в пустыню, он отвечал длинной охотничьей историей: пошел на охоту, выпил лишнее и заблудился. На предложение поступить в монахи и спасти свою душу он ответил улыбкой и словами: «Я вам не товарищ».

Насвшись и напившись, он оглядел монахов, которые прислуживали ему, покачал укоризненно головой и сказал:

— Ничего вы не делаете, монахи. Только и знаете, что едите да пьете. Разве так спасают душу? Подумайте: в то время как вы сидите тут в покое, едите, пьете и мечтаете о блаженстве, ваши ближние погибают и идут в ад. Поглядите-ка, что делается в городе! Одни умирают с голоду, другие, не зная, куда девать свое золото, топят себя в разврате и гибнут, как мухи, вязнущие в меду. Нет в людях ни веры, ни правды!

Чье же дело спасать их? Чье дело проповедовать? Не мне ли, который от утра до вечера пьян? Разве смиренный дух, любящее сердце и веру бог дал вам на то, чтобы вы сидели здесь в четырех стенах и ничего не делали?

Пьяные слова горожанина были дерзки и неприличны, но странным образом подействовали на настоятеля. Старик переглянулся со своими монахами, побледнел и сказал:

— Братья, а ведь он правду говорит! В самом деле, бедные люди по неразумию и слабости гибнут в пороке и неверии, а мы не двигаемся с места, как будто нас это не касается. Отчего бы мне не пойти и не напомнить им о Христе, которого они забыли?

Слова горожанина увлекли старика; на другой же день он взял свою трость, простился с братией и отправился в город. И монахи остались без музыки, без его речей и стихов.

Проскучали они месяц, другой, а старик не возвращался. Наконец после третьего месяца послышался знакомый стук его трости. Монахи бросились к нему навстречу и осыпали его вопросами, но он, вместо того чтобы обрадоваться им, горько заплакал и не сказал ни одного слова. Монахи заметили: он сильно состарился и похудел; лицо его было утомлено и выражало глубокую скорбь, а когда он заплакал, то имел вид человека, которого оскорбили.

Монахи тоже заплакали и с участием стали расспрашивать, зачем он плачет, отчего лицо его так угрюмо, но он не сказал ни слова и заперся в своей келье. Семь дней сидел он у себя, ничего не ел, не пил, не играл на органе и плакал. На стук в его дверь и на просьбы монахов выйти и поделиться с ними своею печалью он отвечал глубоким молчанием.

Наконец он вышел. Собрав вокруг себя всех монахов, он с заплаканным лицом и с выражением скорби и негодования начал рассказывать о том, что было с ним в последние три месяца. Голос его был спокоен, и глаза улыбались, когда он описывал свой путь от монастыря до города. На пути, говорил он, ему пели птицы, журчали ручьи, и сладкие, молодые надежды волновали его душу; он шел и чувствовал себя солдатом, который идет на бой и уверен в победе; мечтая,

он шел и слагал стихи и гимны и не заметил, как кончился путь.

Но голос его дрогнул, глаза засверкали, и весь он распалился гневом, когда стал говорить о городе и людях. Никогда в жизни он не видел, даже не дерзал воображать себе то, что он встретил, войдя в город. Только тут, первый раз в жизни, на старости лет, он увидел и понял, как могуч дьявол, как прекрасно зло и как слабы, малодушны и ничтожны люди. По несчастной случайности, первое жилище, в которое он вошел, был дом разврата. С полсотни человек, имеющих много денег, ели и без меры пили вино. Опьяненные вином, они пели песни и смело говорили страшные, отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся бога; безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что хотели, и шли туда, куда гнала их похоть. А вино, чистое, как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел еще пить. На улыбку человека оно отвечало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости.

Старик, все больше распаляясь и плача от гнева, продолжал описывать то, что он видел. На столе, среди пировавших, говорил он, стояла полунагая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с черными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!» Шелк и парча красивыми складками спускались с ее плеч, но красота не хотела прятаться под одеждой, а, как молодая зелень из весенней почвы, жадно пробивалась сквозь складки. Наглая женщина пила вино, пела песни и отдавалась всякому, кто только хотел.

Далее старик, гневно потрясая руками, описал конские ристалища, бой быков, театры, мастерские художников, где пишут и лепят из глины нагих женщин. Говорил он вдохновенно, красиво и звучно, точно играл на невидимых струнах, а монахи, оцепеневшие, жадно

внимали его речам и задыхались от восторга... Описав все прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, старик проклял дьявола, повернул назад и скрылся за своею дверью.

Когда он на другое утро вышел из кельи, в монастыре не оставалось ни одного монаха. Все они бежали в город.

*1887*

## СПАТЬ ХОЧЕТСЯ

Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет:

Баю-баюшки-баю,
А я песенку спою...

Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку... Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром.

Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычет она, — тебе кашки наварю...

В печке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью, похрапывает хозяин и подмастерье Афанасий... Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлычет — и все это сливается в нудную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в

постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее.

Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени; по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тенями падают на землю в жидкую грязь. «Зачем это?» — спрашивает Варька. «Спать, спать!» — отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их.

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою... — мурлычет Варька и уже видит себя в темной, душной избе.

На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, «разыгралась грыжа». Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь:

— Бу-бу-бу-бу...

Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому «бу-бу-бу». Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу; его не видно в потемках, но слышно как он кашляет и щелкает дверью.

— Засветите огонь, — говорит он.

— Бу-бу-бу... — отвечает Ефим.

Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку.

— Сейчас, батюшка, сейчас, — говорит Пелагея, бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком.

Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как-то особенно остр, точно Ефим видит насквозь и избу и доктора.

— Ну, что? Что ты это вздумал? — говорит доктор, нагибаясь к нему. — Эге! Давно ли это у тебя?

— Чего-с? Помирать, ваше благородие, пришло время... Не быть мне в живых...

— Полно вздор говорить... Вылечим!

— Это как вам угодно, ваше благородие, благодарим покорно, а только мы понимаем... Коли смерть пришла, что уж тут.

Доктор с четверть часа возится с Ефимом; потом поднимается и говорит:

— Я ничего не могу поделать... Тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай... Непременно поезжай! Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слышишь?

— Батюшка, да на чем же он поедет? — говорит Пелагея. — У нас нет лошади.

— Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь.

Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится «бу-бу-бу»... Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет...

Но вот наступает хорошее, ясное утро. Пелагеи нет дома: она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет:

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою...

Возвращается Пелагея; она крестится и шепчет:

— Ночью вправили ему, а к утру богу душу отдал... Царство небесное, вечный покой... Сказывают, поздно захватили... Надо бы раньше...

Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина-сапожника.

— Ты что же это, паршивая? — говорит он, — Дитё плачет, а ты спишь?

Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталон и пеленок колеблются, мигают

ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать; она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься.

— Подайте милостынки Христа ради! — просит мать у встречных. — Явите божескую милость, господа милосердные!

— Подай сюда ребенка! — отвечает ей чей-то знакомый голос. — Подай сюда ребенка! — повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. — Спишь, подлая?

Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело: нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синеет воздух, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро.

— Возьми! — говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. — Плачет. Должно, сглазили.

Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают, и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется! Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются, и голова тяжела.

— Варька, затопи печку! — раздается за дверью голос хозяина.

Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли.

— Варька, поставь самовар! — кричит хозяйка.

Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ:

— Варька, почисть хозяину калоши!

Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу

и подремать в ней немножко... И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собою всю комнату, Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах.

— Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно!

Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной.

Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать.

День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости.

— Варька, ставь самовар! — кричит хозяйка.

Самовар у хозяев маленький, и, прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний.

— Варька, сбегай купи три бутылки пива!

Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон.

— Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку!

Но вот наконец гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.

— Варька, покачай ребенка! — раздается последний приказ.

В печке кричит сверчок; зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычет она, — а я песенку спою...

А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить.

Этот враг — ребенок.

Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются.

Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам... Убить ребенка, а потом спать, спать, спать...

Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...

*1888*

## СТЕПЬ

*История одной поездки*

### I

Из N., уездного города Z-ой губернии, ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная, ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении; ей угрюмо вторило ведро, привязанное к ее задку, — и по одним этим звукам да по жалким кожаным тряпочкам, болтавшимся на ее облезлом теле, можно было судить о ее ветхости и готовности идти в слом.

В бричке сидело двое N-ских обывателей: N-ский купец Иван Иваныч Кузьмичов, бритый, в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца, и другой — отец Христофор Сирийский, настоятель N-ской Николаевской церкви, маленький длинноволосый старичок, в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом, цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхивал головою, чтобы прогнать дремоту; на лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего; второй же влажными глазками удивленно глядел на мир божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его

было красно и имело озябший вид. Оба они, как Кузьмичов, так и о. Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Прощаясь с домочадцами, они только что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили... Настроение духа у обоих было прекрасное.

Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стегавшего по паре шустрых гнедых лошадок, в бричке находился еще один пассажир — мальчик лет девяти, с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичова. С разрешения дяди и с благословения о. Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованных людей и благородное общество, умолила своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию; и теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтоб не свалиться, и подпрыгивал, как чайник на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать.

Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна, на крест, блестевший на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день Казанской божией матери, он ходил с мамашей в острожную церковь на престольный праздник; а еще ранее, на пасху, он приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а один из них подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия.

Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади. За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за ними уютное зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишневых деревьев и издали кажутся белыми пят-

нами. Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с вишневыми цветами в белое море; а когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как кровь, точками. За оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит...

А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимался вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лошади, покрытые красной пылью...

За заводами кончался город и начиналось поле. Егорушка в последний раз оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал...

— Ну, не отревелся еще, рёва! — сказал Кузьмичов. — Опять, баловник, слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой не тянет!

— Ничего, ничего, брат Егор, ничего... — забормотал скороговоркой о. Христофор. — Ничего, брат... Призывай бога... Не за худом едешь, а за добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье — тьма... Истинно так.

— Хочешь вернуться? — спросил Кузьмичов.

— Хо... хочу... — ответил Егорушка, всхлипывая.

— И вернулся бы. Все равно попусту едешь, за семь верст киселя хлебать.

— Ничего, ничего, брат... — продолжал о. Христофор. — Бога призывай... Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу... Так-то.

— Польза разная бывает... — сказал Кузьмичов, закуривая дешевую сигару. — Иной двадцать лет обучается, а никакого толку.

— Это бывает.

— Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра — женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

— А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учения постигать.

И, думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичов и о. Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание.

Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается... Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала, далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля — все, побуревшее от зноя, рыжее, и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и

медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски...

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же — небо, равнину, холмы... Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной.

Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что́ ему нужно. А вдали машет крыльями мельница...

Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и — опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи...

Но вот, слава богу, навстречу едет воз со снопами. На самом верху лежит девка. Сонная, изможденная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных. Дениска зазевался на нее, гнедые протягивают морды к снопам, бричка, взвизгнув, целуется с возом, и колючие колосья, как веником, проезжают по цилиндру о. Христофора.

— На людей едешь, пухлая! — кричит Дениска. — Ишь рожу-то раскорячило, словно шмель укусил!

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится... А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он здесь — бог его знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью страшные ночи, когда

видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра, а главное — всю жизнь один, один... За тополем ярко-желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят... Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: «вжжи, вжжи!» По движениям баб, вяжущих снопы, по лицам косарей, по блеску кос видно, что зной жжет и душит. Черная собака с высунутым языком бежит от косарей навстречу к бричке, вероятно, с намерением залаять, но останавливается на полдороге и равнодушно глядит на Дениску, грозящего ей кнутом: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обеими руками за измученную спину, провожает глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвет ей понравился, или вспомнила она про своих детей, только долго стоит она неподвижно и смотрит вслед...

Но вот промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо, опять носится над землею коршун. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Надоело глядеть на нее, и кажется, что до нее никогда не доедешь, что она бежит от брички.

Отец Христофор и Кузьмичов молчали. Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что он давно уже едет и подпрыгивает, что солнце давно уже печет ему в спину. Не проехали еще и десяти верст, а он уже думал: «Пора бы отдохнуть!» С лица дяди мало-помалу сошло благодушие и осталась одна только деловая сухость, а бритому, тощему лицу, в особенности когда оно в очках, когда нос и виски покрыты пылью, эта сухость придает неумолимое, инквизиторское выражение. Отец же Христофор не переставал удивленно глядеть на мир божий и улыбаться. Молча он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла в его мозгу от жары...

— А что, Дениска, догоним нынче обозы? — спросил Кузьмичов.

Дениска поглядел на небо, приподнялся, стегнул по лошадям и потом уже ответил:

— К ночи, бог даст, догоним.

Послышался собачий лай. Штук шесть громадных степных овчарок вдруг, выскочив точно из засады, с свирепым воющим лаем бросились навстречу бричке. Все они, необыкновенно злые, с мохнатыми паучьими мордами и с красными от злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая друг друга, подняли хриплый рев. Они ненавидели страстно и, кажется, готовы были изорвать в клочья и лошадей, и бричку, и людей... Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке. Псы пуще захрипели, лошади понесли; и Егорушка, еле державшийся на передке, глядя на глаза и зубы собак, понимал, что, свались он, его моментально разнесут в клочья, но страха не чувствовал, а глядел так же злорадно, как Дениска, и жалел, что у него в руках нет кнута.

Бричка поравнялась с отарой овец.

— Стой! — закричал Кузьмичов. — Держи! Тпрр...

Дениска подался всем туловищем назад и осадил гнедых. Бричка остановилась.

— Поди сюда! — крикнул Кузьмичов чебану. — Уйми собак, будь они прокляты!

Старик чебан, оборванный и босой, в теплой шапке, с грязным мешком у бедра и с крючком на длинной палке — совсем ветхозаветная фигура — унял собак и, снявши шапку, подошел к бричке. Точно такая же ветхозаветная фигура стояла, не шевелясь, на другом краю отары и равнодушно глядела на проезжих.

— Чья это отара? — спросил Кузьмичов.

— Варламовская! — громко ответил старик.

— Варламовская! — повторил чебан, стоявший на другом краю отары.

— Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет?

— Никак нет... Приказчик ихний проезжали, это точно...

— Трогай!

Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она

становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце.

Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали, ехали, а она все уходила влево и не исчезала из глаз.

— Славный ветряк поставил сыну Болтва! — заметил Дениска.

— А что-то хутора его не видать.

— Он туда, за балочкой.

Скоро показался и хутор Болтвы, а ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. Какой колдун.

## II

Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных, уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу; горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу; но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такою же речонкой, потому что шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетело три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми, на разостланном войлоке и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу о. Христофора, после того как он напился воды и съел

одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал:

— Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста бог вложил в меня смысл и понятие, так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял полатынски все равно, как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Puer bone, quam appellaris?»[1] А я отвечаю: «Christophorus sum»[2]. А он: «Ergo connominati summus», то есть мы, значит, тезки... Потом спрашивает по-латынски: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона Сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латынский диспут, тоже не мало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, — говорил отец, — весь век учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы!

— Должно быть, вы уж все науки забыли! — заметил Кузьмичов.

---

[1] Милый мальчик, как тебя зовут? *(лат.)*

[2] Христофор *(лат.)*.

— Как не забыть? Слава богу, уж восьмой десяток пошел! Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл.

Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса:

— Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению.

Он покрутил головой и засмеялся от умиления.

— Духовная пища! — сказал он. — Истинно, материя питает плоть, а духовная пища душу!

— Науки науками, — вздохнул Кузьмичов, — а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука.

— Человек — не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится.

Над осокой пролетели знакомые три бекаса, и в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он апатично, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти.

— Дениска, где ты там! Поди ешь! — сказал Кузьмичов, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся.

Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков» (выбрать помельче и посвежее он посовестился), взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка.

— Бери, бери! — поторопил его Кузьмичов.

Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле, спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску.

Закусивши, Кузьмичов достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке:

— Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили.

Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на о. Христофоре были настоящие парусиновые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он, со своими длинными волосами и бородой, очень похож на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофор и Кузьмичов легли в тень под бричкой, лицом друг к другу, и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза.

— Поглядывай, чтоб кто коней не увел! — сказал он Егорушке и тотчас же заснул.

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости; мягко картавя, журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту.

Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире; на нем лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и о. Христофор крепко спали; сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади... Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная... Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки; во рту его стало холодно и запахло болиголовом; пил он сначала с охотой, потом через силу и до тех пор,

пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичов всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них, и теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов... Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так, в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя... И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичову.

В то время как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...

Егорушка послушал немного, и ему стало казаться, что от заунывной, тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее... Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто

пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала; из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно на кумачовую рубаху Егорушки.

Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды.

И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим, оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачовую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство; быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил:

— Тебя как звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом:

— Тит.

Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра.

Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову... Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем, душном воздухе, ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже сто лет... Не хотел ли бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и, как холмы, окаменели бы и остались навеки на одном месте?

Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше... Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайною быстротою за убегавшею далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза...

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил:

— Анафема идолова, нет на тебя погибели!

Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил:

— Скоро поедем?

Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил:

— Должно, скоро.

Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге.

— А ну-ка, кто скорей доскачет до осоки! — сказал он.

Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около двадцати лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он

занялся чем-нибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасыванья камешков. Всякому взрослому при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет, лишь бы не дрался! Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой, искренний пес и начинает играть с ними.

Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом и, чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке, не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке? Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел.

Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичов распекал его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве.

— Есть! — прохрипел он торжествующе и, вставши, поднес к глазам Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся крови, и предложил ее кузнечику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили, он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху; она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичов. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно

скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове.

— Отец Христофор, вставайте, пора! — заговорил он встревоженно. — Будет спать, и так уж дело проспали! Дениска, запрягай!

Отец Христофор проснулся с такою же улыбкою, с какою уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься.

— Отец Христофор! — сказал укоризненно Кузьмичов. — Пора ехать, уж лошади готовы, а вы, ей-богу...

— Сейчас, сейчас... — забормотал о. Христофор. — Кафизмы почитать надо... Не читал еще нынче.

— Можно и после с кафизмами.

— Иван Иваныч, на каждый день у меня положение... Нельзя.

— Бог не взыскал бы.

Целую четверть часа о. Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичов почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда о. Христофор после каждой «славы» втягивал в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтоб другие крестились, говорил трижды:

— Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава тебе, боже!

Наконец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и, кладя псалтирь в карман, сказал:

— Fini! [1]

Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании. Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, исто-

[1] Кончил! *(лат.)*

щивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью — я, мол, готово — и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке.

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков... Дрожа в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, потом, вероятно испуганный облаком пыли, понесся в сторону, и долго еще было видно его мелькание...

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чем дело, из травы вылетел коростель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. О. Христофор и Кузьмичов, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы... Хорошо, если бы брызнул дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. Но невидимая гнетущая сила

мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу...

Затем скоро наступил вечер.

## III

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было и стоял он посреди степи ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи.

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса — один мужской, другой женский, — завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навыпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов.

Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

— Ах, боже мой, боже мой! — заговорил он тонким, певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодви-

жениями мешая пассажирам вылезти из брички. — И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я таперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу... милости просим! Давайте мне все ваши вещи... Ах, боже мой!

Мойсей Мойсеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь:

— Соломон! Соломон!

— Соломон, Соломон! — повторил в доме женский голос.

Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких, кудрявых волос; одет он был в короткий очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ощипанная птица. Это был Соломон, брат Мойсея Мойсеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.

— Иван Иваныч и отец Христофор приехали! — сказал ему Мойсей Мойсеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. — Ай, вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйте, дорогие гости!

Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой да трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей

силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения (думалось, что их пробил каблуком все тот же силач), и, казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны, — понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.

Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать — все это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.

— Когда проехали тут наши подводы? — спросил его Кузьмичов.

— Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала.

— А... Проезжал тут Варламов или нет?

— Нет, Иван Иваныч. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он, надо быть, таперичка на хуторе у молокана.

— Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.

— Да бог с вами, Иван Иваныч! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. — Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!

— Некогда, некогда... Извините, Мойсей Мойсеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.

— Четверть часика! — взвизгнул Мойсей Мойсеич. — Да побойтесь вы бога, Иван Иваныч! Вы меня заста-

вите, чтоб я ваши шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

— Некогда нам с чаями да с сахарáми, — сказал Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:

— Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч!

— Что ж, чайку можно попить, — сочувственно вздохнул о. Христофор. — Это не задержит.

— Ну, ладно! — согласился Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона:

— Роза! Роза! Давай самовар!

Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и попрежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно — явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые, выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:

— Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?

Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.

Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, ощипанная фигурка.

Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.

— Приятного аппетиту! Чай да сахар! — начал он занимать гостей. — Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? — спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.

— Это сынок сестры Ольги Ивановны, — ответил Кузьмичов.

— А куда же он едет?

— Учиться. В гимназию его везем.

Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.

— О, это хорошо! — сказал он, грозя самовару пальцем. — Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!

Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:

— Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.

— Да, вздумал вот на старости лет... — сказал о. Христофор и засмеялся. — Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице... Суета!

— Зато грошей будет много!

— Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы!

— Отчего же он сам не поехал?

— А оттого... Материнее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать — ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и — «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!» То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иваныч, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними!

— Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! — вздохнул Мойсей Мойсеич. — У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!

— М-да... — согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан. — Мне-то, собственно, нечего бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай бог всякому... Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было, и теперь ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Все у меня есть и все слава богу. Счастливей меня во всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один бог без греха. Ведь верно?

— Стало быть, верно.

— Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се... одышка и всякое там... Болею, плоть немощна, ну, да ведь, сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.

Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсейч из приличия тоже засмеялся и закашлялся.

— Потеха! — сказал о. Христофор и махнул рукой. — Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах... Хорошо-с... Я ему и говорю: «Вот, говорю, одышка, то да се... Ты доктор, лечи отца!» Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки... живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом».

Отец Христофор захохотал судорожно, до слез и поднялся.

— А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. — Бог с ним, с этим сжатым воздухом!

Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.

— Бог с ним, с этим сжатым воздухом! — повторил о. Христофор хохоча.

Мойсей Мойсеич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.

— О боже мой... — стонал он среди смеха. — Дайте вздохнуть... Так насмешили, что... ох!.. — смерть моя.

Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ощипанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей.

Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичов расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.

— Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем, — сказал Кузьмичов.

Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.

— В рублевых пачках по скольку? — начал о. Христофор.

— По пятьдесят... В трехрублевых по девяносто... Четвертные и сторублевые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте...

Егорушка отродясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую о. Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников; теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались, и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.

— Ах, деньги, деньги! — вздыхал о. Христофор улыбаясь. — Горе с вами! Теперь мой Михайло небось спит и видит, что я ему такую кучу привезу.

— Ваш Михайло Тимофеич человек непонимающий, — говорил вполголоса Кузьмичов, — не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения...

— Нет, Иван Иванович, — вздыхал о. Христофор. — Благодарим вас за внимание... Конечно, ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой...

Вошел на цыпочках Мойсей Мойсеич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.

— А пойдем-ка, паничок, — сказал он вполголоса, — какого я тебе медведика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Мойсеем Мойсеичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка.

Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками; она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.

— Кушай, детка, кушай! — сказала она. — Ты здесь без маменьке, и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Мойсей Мойсеич и еврейка глядели и вздыхали.

— Ты куда едешь, детка? — спросила еврейка.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— А сколько вас у маменьке?

— Я один. Больше нету никого.

— А-ох! — вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. — Бедная маменьке, бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума! Ох!

— Ах, Наум, Наум! — вздохнул Мойсей Мойсеич, и на его бледном лице нервно задрожала кожа. — А он такой больной.

Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и, в общем, его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту...» Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая... Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра.

— Гал-гал-гал-гал... — говорил Мойсей Мойсеич.

— Ту-ту-ту-ту... — отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.

— Возьми, детка, — сказала она, подавая Егорушке пряник. — У тебя теперь нету маменьке, некому тебе гостинца дать.

Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уж не мешал себе думать.

Кузьмичов только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам.

Отец Христофор беседовал с Соломоном.

— Ну что, Соломон премудрый? — спрашивал он, зевая и крестя рот. — Как дела?

— Это вы про какие дела говорите? — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

— Вообще... Что поделываешь?

— Что я поделываю? — переспросил Соломон и пожал плечами. — То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проез-

жающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

— То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

— Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами.

Отец Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

— Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

— Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. — Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!

Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях; сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.

— Постой... — перебил его о. Христофор. — Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех; тот последний человек, кто над своей верой глумится.

— Вы ничего не понимаете! — грубо оборвал его Соломон. — Я вам говорю одно, а вы другое...

— Вот и видно сейчас, что ты глупый человек, — вздохнул о. Христофор. — Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебя по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: бла-бла-бла! Чудак, право...

Вошел Мойсей Мойсеич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой

и поглядел вокруг себя; мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти и когда тень от его длинного носа пересекла всю левую щеку; презрительная улыбка, смешанная с этою тенью, блестящие, насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, вероятно на нечистого духа.

— Какой-то он у вас бесноватый, Мойсей Мойсеич, бог с ним! — сказал с улыбкой о. Христофор. — Вы бы его пристроили куда-нибудь или женили, что ли... На человека не похож...

Кузьмичов сердито нахмурился. Мойсей Мойсеич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.

— Соломон, выйди отсюда! — строго сказал он. — Выйди!

И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.

— А что такое? — испуганно спросил Мойсей Мойсеич о. Христофора.

— Забывается, — ответил Кузьмичов. — Грубитель и много о себе понимает.

— Так и знал! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. — Ах, боже мой! Боже мой! — забормотал он вполголоса. — Уж вы будьте добрые, извините и не серчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, но, кроме горя, я от него ничего не видел. Ведь он, знаете...

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба и продолжал:

— Не в своем уме... пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится... Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене... А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит это божья воля, а я разве виноват?

Прошло минут десять, а Мойсей Мойсеич все еще бормотал вполголоса и вздыхал:

— Ночью он не спит и все думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит... И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоялый двор, женился и таперичка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза... Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. О. Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Мойсей Мойсеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон как ни в чем не бывало стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.

— Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто! — стонал Мойсей Мойсеич с мучительно-сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. — Мы люди простые, ваше сиятельство!

Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

— Проезжал здесь сегодня Варламов? — спросил женский голос.

— Нет, ваше сиятельство! — ответил Мойсей Мойсеич.

— Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку.

Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.

— Какой хорошенький мальчик! — сказала дама. — Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый...

И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто-то входил и выходил.

— Егорушка! Егорушка! — раздался густой шепот двух голосов. — Вставай, ехать!

Кто-то, кажется Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути он открыл наполовину глаза и ещё раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.

— Тпрр! — донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться; он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.

— Графиня Драницкая, — прошептал о. Христофор, полезая в бричку.

— Да, графиня Драницкая, — повторил Кузьмичов тоже шепотом.

Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонек.

## IV

Кто же наконец этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине?

Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег; об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда «кружился в этих местах» и что его всегда ищут.

Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не «кружилась», а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иваныч, не раз бывавший у графини по делам, рассказывали много чудесного; так, говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса, на утесе стоял дыбом золотой конь с брильянтовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов; все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное (например, зимою, на рождество, подавались малина и клубника) и плясали под музыку, которая играла день и ночь...

«А какая она красивая!» — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку.

Кузьмичов, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал:

— Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.

— От ляха иного и ждать нельзя, — сказал о. Христофор.

— А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит!

Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фанта-

стические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами — стоит только хорошенько встряхнуть головой — исчезают бесследно; да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное, налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсеича под одеялом.

В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты — все мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-а!», и дремота отпускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет или заливается истерическим плачем — это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы... Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладкоприторен и нежен.

Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха; он не шеве-

лится, ждет и что-то держит в руках... Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрение.

А когда восходит луна, ночь становится бледной и темной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы... Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова.

Едешь час-другой... Попадается на пути молчаливый старик курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как

будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!

— Тпрр! Здорово, Пантелей! Все благополучно?

— Слава богу, Иван Иваныч!

— Не видали, ребята, Варламова?

— Нет, не видали.

Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади — маленькими и коротконогими.

— Так мы, значит, теперь к молокану поедем! — громко говорил Кузьмичов. — Жид сказывал, что Варламов у молокана ночует. В таком случае прощайте, братцы! С богом!

— Прощайте, Иван Иваныч! — ответило несколько голосов.

— Вот что, ребята, — живо сказал Кузьмичов, — вы бы взяли с собой моего парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк, и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..

Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.

— Эй, возьми свою пальтишку! — крикнул где-то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.

«Спать, спать, спать...» — думал он.

— Вы же, черти, его не забижайте! — послышался снизу голос Дениски.

— Прощайте, братцы! С богом! — крикнул Кузьмичов. — Я на вас надеюсь!

— Будьте покойны, Иван Иваныч!

Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:

— Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий... Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой за веревку, которою был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели...

Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее... Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили — это видно было по дыму, который шел изо всех труб и сизой, прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачу-

щих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории; заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!

По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.

Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около двадцати, и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как о. Христофор, но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на о. Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз небось приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза:

— А, проснулся, молодчик! Сынком Ивану Ивановичу-то доводишься?

— Нет, племянник...

— Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее... Слободнее, молодчик... То есть без сапогов-то... Значит, племянник? А он хороший человек, ничего... Дай бог здоровья... Ничего...

Я про Ивана Иваныча-то... К молокану поехал... О господи, помилуй!

Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.

Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное, красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правою помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос.

Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную, прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин, руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг возможно пошире; когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки; одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары навыпуск, а обут в лапти.

Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавши разговор, он уж не прекращал его.

— Ты куда же едешь? — спросил он, притопывая ногами.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— Учиться? Ага... Ну, помогай царица небесная. Так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку бог один ум дает, а другому два ума, а иному и три... Иному три, это верно... Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то... А помрем все как есть.

Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал:

— Максим Николаич, барин из-под Славяносербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего, хороший... Дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в ученье... В Славяносербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету... А город ничего, хороший... Школа обыкновенная, для простого звания есть, а чтоб насчет большого ученья, таких нету... Нету, это верно. Тебя как звать?

— Егорушка.

— Стало быть, Егорий... Святого великомученика Егоргия Победоносца числа двадцать третьего апреля. А мое святое имя Пантелей... Пантелей Захаров Холодов... Мы Холодовы будем... Сам я уроженный, может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик... Мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда... домой то есть. И в деревне был и в городе... В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю... Может, кто и помер... А помирать уж время, потому все старые, есть которые постаршее меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, в чертоги божии запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно... Потому ей бог в небесех такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву ее насчет покаяния молить.

Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло,

себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносербска:

— Да, повез парнишку... Повез, это верно...

Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет тридцати, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху навыпуск. Этот разразился басистым, кашляющим смехом и закричал:

— Братцы, Дымов змея убил! Ей-богу!

Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.

— Это не змея, а уж, — крикнул кто-то.

Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.

— Каторжный! — закричал он глухим, плачущим голосом. — За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь ужика убил! А ежели бы тебя так?

— Ужа нельзя убивать, это верно... — покойно забормотал Пантелей. — Нельзя... Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная... Человека любит... Уж-то...

Дымову и чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим возам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый

уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом:

— Дед, ну за что он убил ужика?

Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.

— Дед, ну за что убил? — повторил он, шагая рядом с Пантелеем.

— Глупый человек, руки чешутся, оттого и убил, — ответил старик. — А ужа бить нельзя... Это верно... Дымов, известно, озорник, все убьет, что под руку попадется, а Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а он — ха-ха-ха да хо-хо-хо... А ты, Вася, не серчай... Зачем серчать? Убили, ну и бог с ними... Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума... Ничего... Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно... Потому человек образованный, а они глупые... Емельян-то... Он не тронет.

Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, когда Пантелей и Вася поравнялись с ним, пошел рядом.

— О чем разговор? — спросил он сиплым, придушенным голосом.

— Да вот Вася серчает, — сказал Пантелей. — Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит... Эх, ножки мои больные, стуженые! Э-эх! Раззуделись ради воскресенья, праздничка господня!

— Это от ходьбы, — заметил Вася.

— Не, паря, не... Не от ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согреюсь — смерть моя. Ходить мне вольготней.

Емельян в рыжем пальто стал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.

— Нету у меня голосу! — сказал он. — Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи, помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в голове и в глотке... так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету голосу!

Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал:

— Пятнадцать лет был в певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу все равно, что работнику без руки.

— Это верно, — согласился Пантелей.

— Об себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего.

В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.

— И паничек с нами едет! — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. — Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить.

Мысль о совместимости в одном теле паничка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул вверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи, помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками.

За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли; увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым, басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же; когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первый подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном, потом повернулся и громко, на всю степь, произнес штук пять нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним

его родные и знакомые, сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И, как нарочно, Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу; он громко засмеялся и крикнул:

— Братцы, старик ночью мальчишку родил!

Кирюха закашлялся от басового смеха. Засмеялся и еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек.

Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки... А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку.

Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман.

— Дед, зачем ты пьешь из лампадки? — удивился Егорушка.

— Кто пьет из ведра, а кто из лампадки, — ответил уклончиво старик. — Каждый по-своему... Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье...

— Голубушка моя, матушка-красавица, — заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. — Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.

— Кому это ты? — спросил Кирюха.

— Лисичка-матушка... легла на спину и играет, словно собачка...

Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться вдаль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Немудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву — это видел всякий, проезжавший степью, — но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои «точки». Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне.

## V

Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе.

Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний мальчик-хохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шаро-

варах навыпуск, болтавшихся при ходьбе, как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно.

В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и, один за другим, с громким смехом и предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу.

— Ге-ге-ге! — кричал он. — Лови, держи его!

Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше: глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх, он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь: лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и встоячую — как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск — то Степка и Кирюха «драли» раков.

— Рак! Гляди, братцы: рак! — закричал торжествующе Кирюха и показал действительно рака.

Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом иле, он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил:

— Дурак! Я тебе в морду дам!

Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил:

— Мерзавец! Сукин сын!

А Дымов как ни в чем не бывало уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал:

— Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!

— А что ж? — согласился Кирюха. — Должно, тут много рыбы...

— Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня!

— Не дадут!

— Дадут! Ты попроси! Скажи, чтоб они заместо Христа ради, потому мы все равно — странники.

— Это верно!

Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колена в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другою гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшийся и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто

собирался выбранить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос.

— А ты отчего не купаешься? — спросил Егорушка у Васи.

— А так... Не люблю... — ответил Вася.

— Отчего это у тебя подбородок распух?

— Болит... Я, паничек, на спичечной фабрике работал... Доктор сказывал, что от этого самого у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих ребят черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.

Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша; тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой; последний захлебывался и пускал пузыри, а Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредне, оба барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила она шалость.

— Глыбоко, — хрипел Кирюха. — Ничего не поймаешь!

— Не дергай, черт! — кричал Дымов, стараясь придать бредню надлежащее положение. — Держи руками!

— Тут вы не поймаете! — кричал им с берега Пантелей. — Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влево! Там мельчее!

Раз над бреднем блеснула крупная рыбешка; все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла, и на лице его выразилась досада.

— Эх! — крякнул Пантелей и притопнул ногами. — Прозевали чикамаса! Ушел!

Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста; видно было, как они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу, волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать ее к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колена, шли обратно к камышу. О чем-то они говорили,

но о чем — не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал:

— Поглядите, какой чикамас! Таких уж штук пять есть!

Видно было, как, вытащив бредень, Дымов, Кирюха и Степка всякий раз долго копались в иле, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали; изредка что-нибудь попавшее в бредень они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали...

— Что там? — кричали им с берега.

Степка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды и, держа ведро обеими руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам.

— Уже полное! — кричал он, тяжело дыша. — Давайте другое!

Егорушка заглянул в ведро: оно было полно; из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле нее копошились раки и мелкие рыбешки. Егорушка запустил руку на дно и взболтал воду; щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь. Вася тоже заглянул в ведро. Глаза его замаслились, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал жевать. Послышалось хрустенье.

— Братцы, — удивился Степка, — Васька пескаря живьем ест! Тьфу!

— Это не пескарь, а бобырик, — покойно ответил Вася, продолжая жевать.

Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какою он жевал пескаря, делали его похожим на животное.

Егорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около возов, подумал и от скуки поплелся к деревне.

Немного погодя он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую конопле́й, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от недавнего купанья, он узнал Емельяна. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято; виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали, как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своем месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, робкий вид во время купанья и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое.

— А я здесь! — сказал он, дернув его за рукав.

Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него исподлобья и сказал:

— Не балуйся в церкви!

Затем Егорушка пробрался вперед поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господин и дама. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчовую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий, бритый подбородок. В его стоячих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине и в трости чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая, в белой шелковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: «Ах, не беспокойтесь благодарить! Я этого не люблю...» Вокруг ковра густой стеной стояли хохлы.

Егорушка подошел к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он

не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему.

— Раздавали уж просфору? — спросил он.

— Нету, нету... — угрюмо забормотал сторож. — Нечего тут...

Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади. На своем веку перевидал он не мало деревень, площадей и мужиков, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашел в лавку, над дверями которой висела широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещенных половин: в одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты; из той, другой, шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что весь он был покрыт узорами и каббалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому великоросс. Он пил чай вприкусу и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Ужо погоди, задам я тебе!»

— Дай мне на копейку подсолнухов! — обратился к нему Егорушка.

Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причем мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина:

— Почем эти пряники?

— Копейка пара.

Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:

— А такие пряники у тебя почем?

Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.

— Такие? — спросил он.

Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:

— Три копейки пара...

Наступило молчание.

— Вы чьи? — спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.

— Племянник Ивана Иваныча.

— Иваны Иванычи разные бывают, — вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: — Чайку не желаете ли?

— Пожалуй... — согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннем чае.

Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел еще спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завел об этом речь, как вошел покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем, и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, все время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок.

— Хиба це овес? — сказал печально покупатель. — Це не овес, а полова, курам на смих... Ни, пиду к Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костер. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Степка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки.

Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поем...» Дымов бродил около лошадей.

Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду.

— Класть сала? — спросил Степка, снимая ложкой пену.

— Зачем? Рыба свой сок пустит, — ответил Кирюха.

Перед тем как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду три пригоршни пшена и ложку соли; в заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул — это значило, что каша уже готова.

Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.

— Вы! Дайте парнишке ложку! — строго заметил Пантелей. — Чай, небось тоже есть хочет!

— Наша еда мужицкая!.. — вздохнул Кирюха.

— И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота.

Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя на него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.

— Дед, а ты чего не ешь? — спросил его Емельян.

— Не ем я раков... Ну их! — сказал старик и брезгливо отвернулся.

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и прежде, чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево! Теперь же дороги

стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бобыля, работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь.

Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.

— Ты, нехристь, сними шапку! — сказал он грубо. — Нешто можно в шапке есть? А еще тоже барин!

Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступились за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло.

После обеда все поплелись к возам и повалились в тень.

— Дед, скоро мы поедем? — спросил Егорушка у Пантелея.

— Когда бог даст, тогда и поедем... Сейчас не поедешь, жарко... Ох, господи твоя воля, владычица... Ложись, парнишка!

Скоро из-под возов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком.

## VI

Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, внизу шел Пантелей, притопывал ногами,

хлопал себя по бедрам и бормотал; в воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег; день прошел благополучно, наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе... Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды.

Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...

Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями; он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу; припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку... Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и в конце концов, изнемогши от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему; лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет...

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал перекличку своим мыслям.

— Ничего... хорошие господа... — бормотал он. — Повезли парнишку в ученье, а как он там, не слыхать про

то... В Славяносербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума доводить... Нету, это верно... А парнишка хороший, ничего... Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Так от бога положено... Чти отца твоего и матерь твою... У меня у самого были детки, да погорели... И жена сгорела и детки... Это верно, под крещенье ночью загорелась изба... Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В Орел... Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками... Да... На другой день одни только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку; они исчезли в потемках, но все время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали; значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном; хотя и светила луна, но за красным пятном все казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги; в темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначались возы с тюками и лошади. В двадцати шагах от костра, на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги.

Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь; тень от Степки прыгала по нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало... Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву.

Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна.

В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое... Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней, и кажется, что кузнецы кричат сдержанней... И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою...

— Дед, зачем это крест стоит? — спросил Егорушка.

Пантелей поглядел на крест, потом на Дымова и спросил:

— Микола, это, бывает, не то место, где косари купцов убили?

Дымов нехотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил:

— Оно самое...

Наступило молчание. Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и сунул под котел. Огонь ярче вспыхнул; Степку обдало черным дымом, и в потемках по дороге около возов пробежала тень от креста.

— Да, убили... — сказал нехотя Дымов. — Купцы, отец с сыном, ехали образа продавать. Остановились тут недалече в постоялом дворе, что теперь Игнат Фомин держит. Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много. Купцы, известно, народ хвастливый, не дай бог... Не утерпит, чтоб не показать себя перед нашим братом в лучшем виде. А в ту пору на постоялом дворе косари ночевали. Ну, услыхали это они, как купец хвастает, и взяли себе во внимание.

— О господи... владычица! — вздохнул Пантелей.

— На другой день, чуть свет, — продолжал Дымов, — купцы собрались в дорогу, а косари с ними ввязались. «Пойдем, ваше степенство, вместе. Веселей, да и опаски меньше, потому здесь место глухое...» Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку...

Дымов стал на колени и потянулся.

— Да, — продолжал он, зевая. — Все ничего было, а как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын, молодец был, выхватил у

одного косу и тоже давай чистить... Ну, конечно, те одолели, потому их человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось; кончили свое дело и стащили с дороги обоих, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть... Цел ли — не знаю... Отсюда не видать.

— Цел, — сказал Кирюха.

— Сказывают, денег потом нашли мало.

— Мало, — подтвердил Пантелей. — Рублей сто нашли.

— Да, а трое из них потом померли, потому купец их тоже больно косой порезал... Кровью сошли. Одному купец руку отхватил, так тот, сказывают, версты четыре без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточках, голову на колени положил, словно задумавшись, а поглядели — в нем души нет, помер...

— По кровяному следу его нашли... — сказал Пантелей.

Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно из балочки, донесся грустный крик птицы: «Сплю! сплю! сплю!..»

— Злых людей много на свете, — сказал Емельян.

— Много, много! — подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. — Много, — продолжал он вполголоса. — Перевидал я их на своем веку видимо-невидимо... Злых-то людей... Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть... Спаси и помилуй, царица небесная... Помню раз, годов тридцать назад, а может и больше, вез я купца из Моршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах... купец-то... Хороший человек, ничего... Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы, и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, и все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этак

немножко, вот как до возов, примерно, и вижу — огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и акромя меня с купцом других постояльцев не было... Откуда огню быть? Взяло меня сумнение... Подошел я поближе... к огню-то... Господи, помилуй и спаси, царица небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой... в доме-то... Лег я на землю и поглядел; как поглядел, так по всему моему телу и пошел мороз...

Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал:

— Поглядел я туда, а там подвал, большой такой, темный да сумный... На бочке фонарик горит. Посреди подвала стоят человек десять народу в красных рубахах, засучили рукава и длинные ножики точат... Эгэ! Ну, значит, мы в шайку попали, к разбойникам... Что тут делать? Побег я к купцу, разбудил его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купец, не пужайся, а дело наше плохо... Мы, говорю, в разбойничье гнездо попали». Он сменился с лица и спрашивает: «Что ж мы теперь, Пантелей, делать станем? При мне денег сиротских много... Насчет души, говорит, моей волен господь бог, не боюсь помереть, а, говорит, страшно сиротские деньги загубить...» Что тут прикажешь делать? Ворота запертые, некуда ни выехать, ни выйти... Будь забор, через забор перелезть можно, а то двор крытый!.. «Ну, говорю, купец, ты не пужайся, а молись богу. Может, господь не захочет сирот обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тем временем, может, и придумаю что...» Ладно... Помолился я богу, и наставил меня бог на ум... Взлез я на свой тарантас и тихонько... тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе, проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то... Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге что есть духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти... Может, верст пять пробежал одним духом, а то и больше... Благодарить бога, вижу — стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. «Православные, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить...» Побудил всех... Собрались мужики и пошли со мной... Кто с веревкой, кто с дубьем, кто с вилами... Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас в подвал... А разбой-

ники ножики-то уж поточили и собрались купца резать. Забрали их мужики всех, как есть, перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях три сотенных пожертвовал, а мне пять лобанчиков дал и имя мое в поминанье к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человечьих нашли видимо-невидимо. Костей-то... Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было. Ну, потом их в Моршанске через палачей наказывали.

Пантелей кончил рассказ и оглядел своих слушателей. Те молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Степка снимал пену.

— Сало-то готово? — спросил его шепотом Кирюха.

— Погоди маленько... Сейчас.

Степка, не отрывая глаз от Пантелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к возам; скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать в ней свиное сало.

— Ехал я в другой раз тоже с купцом... — продолжал Пантелей по-прежнему вполголоса и не мигая глазами. — Звали его, как теперь помню, Петр Григорьич. Хороший был человек... купец-то... Остановились мы таким же манером на постоялом дворе... Он в комнатке, я при лошадях... Хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чует мое сердце! Чует, да и шабаш. И ворота отпертые, и народу кругом много, а все как будто страшно, не по себе. Все давно позаснули, уж совсем ночь, скоро вставать надо, а я один только лежу у себя в кибитке и глаз не смыкаю, словно сыч какой. Только, братцы, это самое, слышу: туп! туп! туп! Кто-то к кибитке крадется. Высовываю голову, гляжу — стоит баба в одной рубахе, босая... «Что тебе, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это самое, лица на ей нет... «Вставай, говорит, добрый человек! Беда... Хозяева лихо задумали... Хотят твоего купца порешить. Сама, говорит, слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались...» Ну, недаром сердце болело! «Кто же ты сама?» — спрашиваю. «А я, говорит, ихняя стряпуха...» Ладно... Вылез я из кибитки и пошел к купцу. Разбудил его и говорю: «Так и так, говорю, Петр Григорьич, дело не совсем чисто... Успеешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одевайся, говорю, да подобру-

здорову подальше от греха...» Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуйте... гляжу — мать-царица! — входят к нам в комнатку хозяин с хозяйкой и три работника... Значит, и работников подговорили... Денег у купца много, так вот, мол, поделим... У всех у пятерых в руках по ножику длинному... По ножику-то... Запер хозяин на замок двери и говорит: «Молитесь, проезжие, богу... А ежели, говорит, кричать станете, то и помолиться не дадим перед смертью...» Где уж тут кричать! У нас от страху и глотку завалило, не до крику тут... Купец заплакал и говорит: «Православные! Вы, говорит, порешили меня убить, потому на мои деньги польстились. Так тому и быть, не я первый, не я последний; много уж нашего брата-купца на постоялых дворах перерезано. Но за что же, говорит, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И так это жалостно говорит! А хозяин ему: «Ежели, говорит, мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Все равно, говорит, что одного убить, что двух. Семь бед, один ответ... Молитесь богу, вот и все тут, а разговаривать нечего!» Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали и давай бога молить. Он деток своих вспоминает, я в ту пору еще молодой был, жить хотел... Глядим на образа, молимся, да так жалостно, что и теперь слеза бьет... А хозяйка, баба-то, глядит на нас и говорит: «Вы же, говорит, добрые люди, не поминайте нас на том свете лихом и не молите бога на нашу голову, потому мы это от нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а бог-то нас и услышал. Сжалился, значит... В самый раз, когда хозяин купца за бороду взял, чтоб, значит, ножиком его по шее полоснуть, вдруг кто-то ка-ак стукнет со двора по окошку! Все мы так и присели, а у хозяина руки опустились... Постучал кто-то по окошку да как закричит: «Петр Григорьич, кричит, ты здесь? Собирайся, поедем!» Видят хозяева, что за купцом приехали, испужались и давай бог ноги... А мы скорей на двор, запрягли и — только нас и видели...

— Кто же это в окошко стучал? — спросил Дымов.

— В окошко-то? Должно, угодник божий или ангел. Потому акромя некому... Когда мы выехали со двора, на улице ни одного человека не было... Божье дело!

Пантелей рассказал еще кое-что, и во всех его рассказах одинаково играли роль «длинные ножики» и одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого, или сам сочинил их в далеком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал пережитое с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого? Все может быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось рассказывать, отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому слову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не было.

За кашей все молчали и думали о только что слышанном. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былью, и разве только человек, сильно искусившийся на грамоте, недоверчиво покосится, да и то смолчит. Крест у дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, — все это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью.

Все ели из котла, Пантелей же сидел в стороне особняком и ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, как у всех, а кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, вспомнил о лампадном стаканчике и спросил тихо у Степки:

— Зачем это дед особо сидит?

— Он старой веры, — ответили шепотом Степка и Вася, и при этом они так глядели, как будто говорили о слабости или тайном пороке.

Все молчали и думали. После страшных рассказов не хотелось уж говорить о том, что обыкновенно. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив свои тусклые глаза в одну точку, навострил уши.

— Что такое? — спросил его Дымов.

— Человек какой-то идет, — ответил Вася.

— Где ты его видишь?

— Во-он он! Чуть-чуть белеется...

Там, куда смотрел Вася, не было видно ничего, кроме потемок; все прислушались, но шагов не было слышно.

— По шляху он идет? — спросил Дымов.

— Не, полем... Сюда идет.

Прошла минута в молчании.

— А может, это по степи гуляет купец, что тут похоронен, — сказал Дымов.

Все покосились на крест, переглянулись и вдруг засмеялись; стало стыдно за свой страх.

— Зачем ему гулять? — сказал Пантелей. — Это только те по ночам ходят, кого земля не принимает. А купцы ничего... Купцы мученический венец приняли...

Но вот послышались шаги. Кто-то торопливо шел.

— Что-то несет, — сказал Вася.

Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава и потрескивал бурьян, но за светом костра никого не было видно. Наконец раздались шаги вблизи, кто-то кашлянул; мигавший свет точно расступился, с глаз спала завеса, и подводчики вдруг увидели перед собой человека.

Огонь ли так мелькнул, или оттого, что всем хотелось разглядеть прежде всего лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет тридцати, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий и длинноногий; вообще все у него казалось длинным, и только одна шея была так коротка, что делала его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги и в сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое, белое и на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попав из потемок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня

улыбка!» Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал:

— Хлеб да соль, братцы!

— Милости просим! — отвечал за всех Пантелей.

Незнакомец положил около костра то, что держал в руках — это была убитая дрохва, — и еще раз поздоровался.

Все подошли к дрохве и стали осматривать ее.

— Важная птица! Чем это ты ее? — спросил Дымов.

— Картечью... Дробью не достанешь, не подпустит... Купите, братцы! Я б вам за двугривенный отдал.

— А на что она нам? Она жареная годится, а вареная небось жесткая — не укусишь...

— Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снесть, те бы полтинник дали, да далече — пятнадцать верст!

Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть.

— Ты кто сам? — спросил его Дымов.

Незнакомец не слышал вопроса; он не ответил и даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его бродило что-то шальное.

— Я тебя спрашиваю: ты кто? — повторил Дымов.

— Я-то? — встрепенулся неизвестный. — Константин Звоныk, из Ровного. Отсюда версты четыре.

И, желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить:

— Мы пасеку держим и свиней кормим.

— При отце живешь али сам?

— Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь!.. Ныне восемнадцатый день, как обзаконился.

— Хорошее дело! — сказал Пантелей. — Жена ничего... Это бог благословил...

— Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, — засмеялся Кирюха. — Чудак!

Константин, точно его ущипнули за самое живое место, встрепенулся, засмеялся, вспыхнул...

— Да господи, нету ее дома! — сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. — Нету! Поехала к матери на два дня! Ей-богу, она поехала, а я как неженатый...

Константин махнул рукой и покрутил головою; он хотел продолжать думать, но радость, которою светилось лицо его, мешала ему. Он, точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью.

— Поехала в Демидово к матери! — сказал он, краснея и перекладывая на другое место ружье. — Завтра вернется... Сказала, что к обеду назад будет.

— А тебе скучно? — спросил Дымов.

— Да господи, а то как же? Без году неделя, как оженился, а она уехала... А? У, да бедовая, накажи меня бог! Там такая хорошая да славная, такая хохотунья да певунья, что просто чистый порох! При ней голова ходором ходит, а без нее вот словно потерял что, как дурак по степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул кричи.

Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся.

— Любишь, значит... — сказал Пантелей.

— Там такая хорошая да славная, — повторил Константин, не слушая, — такая хозяйка, умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. Уехала... А ведь скучает, я зна-аю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра к обеду вернется... А ведь какая история! — почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя позу, — теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить!

— Да ты ешь! — сказал Кирюха.

— Не хотела за меня выходить! — продолжал Константин не слушая. — Три года с ней бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике, полюбил до смерти, хоть на шибеницу полезай... Я в Ровном, она в Демидовом, друг от дружки за двадцать пять верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она: не хо́чу! Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда — не хо́чу! Вот тут и поди. Оно, ежели рассудить, то какая я ей пара? Она моло-

дая, красивая, с порохом, а я старый, скоро тридцать годов будет, да и красив очень, борода окладистая — гвоздем, лицо чистое — все в шишках. Где ж мне с ней равняться! Разве вот только, что богато живем, да ведь и они, Вахраменки, хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел... Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи господи! Хочется ее повидать, а она в Демидове... И что ж вы думаете? Накажи меня бог, не брешу, раза три на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил! Такое затмение нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отец раз десять бить принимался. Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в извозчики... Значит, не судьба! На Святой пошел я в Демидово в последний разочек на нее поглядеть...

Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, веселым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.

— Гляжу, она с парубка́ми около речки, — продолжал он. — Взяло меня зло... Отозвал я ее в сторонку и, может, с целый час ей разные слова... Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!..

— А какие слова? — спросил Дымов.

— Слова? И не помню... Нешто вспомнишь? Тогда, как вода из желоба, без передышки: та-та-та-та! А теперь ни одного слова не выговорю... Ну, и пошла за меня... Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без нее по степу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!

Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпер голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он наконец уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра, и, по походке, по

движению его лопаток, видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.

А костер уже потухал. Свет уже не мелькал, а красное пятно сузилось, потускнело... И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на той стороне неясно вырисовывался другой крест...

Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли... Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.

— Братцы! — сказал он умоляюще. — Давайте споем что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазах.

— Братцы! — повторил он, прижимая руку к сердцу. — Давайте споем что-нибудь божественное!

— Я не умею, — сказал Константин.

Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание...

Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником... Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать...

От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики

и Константин сидели около них, темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек — тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.

— «Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!» — запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость.

— Время ехать! — сказал Пантелей. — Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой.

— Прощайте, братцы! — крикнул он, когда обоз тронулся. — Спасибо вам за хлеб, за соль! А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!

И он скоро исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро; солнце еще не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи, сидя на казачьем жеребчике, у самого переднего воза разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.

— Дед, какая это деревня? — спросил Егорушка.

— Это, молодчик, армянские хутора, — отвечал Пантелей. — Тут армяшки живут. Народ ничего... армяшки-то.

Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.

— Экие дела, подумаешь! — вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. — Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет... Степку послать бы!

— Дед, а кто это? — спросил Егорушка.

— Варламов.

Боже мой! Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда «кружится» и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая.

— Ничего, хороший человек... — говорил Пантелей, глядя на хутора. — Дай бог здоровья, славный господин... Варламов-то, Семен Александрыч... На таких людях, брат, земля держится. Это верно... Петухи еще не поют, а он уж на ногах... Другой бы спал или дома с гостями тары-бары-растабары, а он целый день по степу... Кружится... Этот уж не упустит дела... Не-ет! Это молодчина....

Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил; жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

— Семен Александрыч, — крикнул Пантелей, снимая шляпу, — дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтоб Степку послать!

Но вот наконец от хутора отделился верховой. Сильно накренившись набок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротою птицы полетел к обозу.

— Это, должно, его объездчик, — сказал Пантелей. — У него их, объездчиков-то, человек, может, сто, а то и больше.

Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь и, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочел их и крикнул:

— А где же записка Иванчука?

Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами; он стал говорить о чем-то, вероятно оправдывался и просил позволения съездить еще раз на хутора. Жеребчик вдруг задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Варламов тоже задвигался.

— Пошел вон! — крикнул он сердито и замахнулся на верхового нагайкой.

Потом он повернул лошадь назад и, рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он

подъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар. Лицо его с небольшой седой бородкой, простое, русское, загорелое лицо, было красно, мокро от росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же деловую сухость, как лицо Ивана Иваныча, тот же деловой фанатизм. Но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Иванычем! У дяди Кузьмичова рядом с деловою сухостью всегда были на лице забота и страх, что он не найдет Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену; ничего подобного, свойственного людям маленьким и зависимым, не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью.

Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него; один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими, глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал картавя:

— Здгаствуй, стагик!

Беседа Варламова с верховым и взмах нагайкой, повидимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день.

— Крутой старик... — бормотал Пантелей. — Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек... Не обидит задаром... Ничего...

Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман; жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге.

## VII

И в следующую за тем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было

душно; все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась.

У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги и то и дело заводил речь о наглой смерти.

Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку; выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное... Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду; Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, а от дневного зноя у него болела голова.

Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.

— Расселся, шишка, и первый лезет с ложкой! — сказал он, глядя со злобой на Емельяна. — Жадность! Так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает — барин! Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит!

— Да ты что пристал? — спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.

— А то, что не суйся первый к котлу. Не понимай о себе много!

— Дурак, вот и все, — просипел Емельян.

Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не браниться попусту.

— Певчий... — не унимался озорник, презрительно усмехаясь. — Этак всякий может петь. Сиди себе в церкви на паперти, да и пой: «Подайте милостыньки Христа ради!» Эх, вы!

Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:

— Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать!

— Да что ты ко мне пристал, мазепа? — вспыхнул Емельян. — Я тебя трогаю?

— Как ты меня обозвал? — спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. — Как? Я мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай ищи!

Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее, а Емельян умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал, как ребенок.

Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жег лицо; ему захотелось скорее бежать к обозу в потемки, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:

— Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!

После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:

— На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Иванычу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!

— Тоже, скажи пожалуйста! — усмехнулся Дымов. — Свиненок всякий, еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем: он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:

— Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него из глаз; ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал:

— Мама! Мама!

И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, — все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю, в компанию страшных мужиков? Где теперь дядя, о. Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно и так жутко,

что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге, но воспоминание о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его... И только когда он шептал: «Мама! мама!» — ему становилось как будто легче...

Должно быть, и подводчикам было жутко. После того как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом вполголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собираться и уходить от него... Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье.

Перед тем как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо:

— Как его звать?

— Егорий... — ответил Пантелей.

Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера! — сказал он тихо. — На, бей!

Егорушка с удивлением посмотрел на него; в это время сверкнула молния.

— Ничего, бей! — повторил Дымов.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал:

— Скушно мне!

Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:

— Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля, — сказал он, проходя мимо Емельяна. — Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали.

— Егорий, возьми! — крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

— Что это? — спросил Егорушка.

— Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо.

— Дед, гроза будет? — спросил Егорушка.

— Ах, ножки мои больные, стуженые! — говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.

Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.

— А он обложной! — крикнул Кирюха.

Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие черные лохмотья; точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.

— Скушно мне! — донесся с передних возов крик Дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. — Скушно!

Вдруг рванул ветер, и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно! Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний.

Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, стал на колени и укрылся рогожей.

— Пантелле-ей! — крикнул кто-то впереди. — А... а...ва!

— Не слыхать! — ответил громко и нараспев Пантелей.

— А...а...ва! Аря...а!

Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод.

— Свят, свят, свят, господь Саваоф, — прошептал Егорушка, крестясь, — исполнь небо и земля славы твоея...

Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; тотчас же опять загремел гром; едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда все кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка в надежде, что туча, быть может, уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидел ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился он туда, где была недавно луна, но там чернела такая же тьма, как и на возу. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.

— Пантелей! — позвал Егорушка.

Ответа не последовало. Но вот наконец ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты, и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа, как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и препротивно, как две сороки.

Егорушка стоял на коленях, или, вернее, сидел на сапогах. Когда дождь застучал по рогоже, он подался туловищем вперед, чтобы заслонить собою колени, которые вдруг стали мокры; колени удалось прикрыть, но

зато меньше чем через минуту резкая, неприятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить в потемках невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и за воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда все кончится.

— Свят, свят, свят... — шептал он.

Вдруг над самой головой его с страшным, оглушительным треском разломалось небо; он нагнулся и притаил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно-едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало и издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки.

«Тррах! тах, тах! тах!» — явственно отчеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым — «трра!..»

Раньше молнии были только страшны, при таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Что сделать, чтобы не видеть их? Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад.

«Трах! тах! тах!» — понеслось над его головой, упало под воз и разорвалось — «ррра!»

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность; за возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумье. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом, закричал:

— Пантелей! Дед!

«Трах! тах! тах!» — ответило ему небо.

Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии.

— Дед, великаны! — крикнул ему Егорушка плача.

Но дед не слышал. Далее шел Емельян. Этот был покрыт большой рогожей с головы до ног и имел теперь форму треугольника. Вася, ничем не покрытый, шагал так же деревянно, как всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колен. При блеске молнии казалось, что обоз не двигался и подводчики застыли, что у Васи онемела поднятая нога...

Егорушка еще позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж не ждал, когда все кончится. Он был уверен, что сию минуту его убьет гром, что глаза нечаянно откроются и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился, не звал деда, не думал о матери и только коченел от холода и уверенности, что гроза никогда не кончится.

Но вдруг послышались голоса.

— Егорий, да ты спишь, что ли? — крикнул внизу Пантелей. — Слезай! Оглох, дурачок!..

— Вот так гроза! — сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки.

Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольник-Емельян и великаны. Последние были теперь много ниже ростом и, когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. В промежутке между Пантелеем и треугольником светилось окно невысокой избы. Значит, обоз стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди

и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала все небо.

— Гроза хорошая, ничего... — бормотал Пантелей. — Слава богу... Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего... Слез, Егоргий? Ну, иди в избу... Ничего...

— Свят, свят, свят... — просипел Емельян. — Беспременно где-нибудь ударило... Вы тутошние? — спросил он великанов.

— Не, из Глинова... Мы глиновские. У господ Платеров работаем.

— Молотите, что ли?

— Разное. Покеда еще пшеницу убираем. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не было...

Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая, горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала.

— Грозу-то какую бог послал! — говорила она. — А наши в степу ночуют, то-то натерпятся, сердешные! Раздевайся, батюшка, раздевайся...

Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, с головы текло...

— Что ж, хлопчик, раскорякой-то стоять? — сказала старуха. — Иди садись!

Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней.

— Кушай, батюшка! Больше угощать нечем... — сказала она зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов. — Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа, как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней.

— Наши в степу ночуют... — вздыхала старуха, пока он ел. — Страсти господни... Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Кушай, батюшка, кушай...

Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо.

— Должно, часа два теперь, — сказала она. — Скоро и вставать пора. Наши-то в степу ночуют... Небось вымокли все...

— Бабушка, — сказал Егорушка, — я спать хочу.

— Ложись, батюшка, ложись... — вздохнула старуха зевая. — Господи Иисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу бог послал... Свечечку бы засветить, да не нашла.

Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

— Гроза-то не унимается, — бормотала она. — Как бы неровен час, чего не спалило. Наши-то в степу ночуют... Ложись, батюшка, спи... Христос с тобой, внучек... Дыню-то я убирать не стану, может, вставши, покушаешь.

Вздохи и зеванье старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом.

— Парнишка лег? — послышался через минуту шепот Пантелея.

— Лег! — ответила шепотом старуха. — Страсти-то, страсти господни! Гремит, гремит, и конца не слыхать...

— Сейчас пройдет... — прошипел Пантелей, садясь. — Потише стало... Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались... Ребята-то... Нельзя... Уведут лошадей... Вот посижу маленько и пойду на смену... Нельзя, уведут...

Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый, тяжелый тулуп, но все тело тряслось, руки и ноги сводило судорогами,

внутренности дрожали... Он разделся под тулупом, но и это не помогло. Озноб становился все сильней и сильней.

Пантелей ушел на смену и потом опять вернулся, а Егорушка все еще не спал и дрожал всем телом. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это: шепот ли стариков, или тяжелый запах овчины? От съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный, металлический вкус. К тому же еще кусались блохи.

— Дед, мне холодно! — сказал он и не узнал своего голоса.

— Спи, внучек, спи... — вздохнула старуха.

Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. О. Христофор не такой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и с кропилом в руке, прошелся вокруг мельницы, покропил ее святой водой, и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза.

— Дед! — позвал он. — Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине; на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой, наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошел в него и сел в темном углу на кизяк.

В его тяжелой голове путались мысли, во рту было сухо и противно от металлического вкуса. Он оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда комок бурой, липкой замазки. Как эта замазка попала ему в карман? Он подумал, понюхал: пахнет медом. Ага, это еврейский пряник! Как он, бедный, размок!

Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, сшитое на манер сюртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальной, рядом с

мамашиными платьями; надевать его позволялось только по праздникам. Поглядев на него, Егорушка почувствовал к нему жалость, вспомнил, что он и пальто — оба брошены на произвол судьбы, что им уж больше не вернуться домой, и зарыдал так, что едва не свалился с кизяка.

Большая белая собака, смоченная дождем, с клочьями шерсти на морде, похожими на папильотки, вошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала: залаять или нет? Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла.

— Это варламовские! — крикнул кто-то на улице.

Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплелся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка поглядел на них и подумал: «Как скучно и неудобно быть мужиком!» Он подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю.

— Дед, мне холодно! — сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава.

— Ничего, скоро до места доедем, — зевнул Пантелей. — Оно ничего, согреешься.

Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и с поднятыми кулаками, или же слышалось, как он тосковал: «Скушно мне!» Проезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, несносны и надоедливы!

Раз — это было уже перед вечером — он поднял голову, чтобы попросить пить. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела

громадная гора, усеянная домами и церквами; у подножия горы около товарных вагонов бегал локомотив...

Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился; на лице не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крякнул и покрутил головой.

— Захворал наш парнишка! — сказал он. — Должно, живот застудил... парнишка-то... На чужой стороне... Плохо дело!

## VIII

Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил:

— А мы еще вчера вечером приехали... Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!

Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска.

— Дяденька и отец Христофор теперь в номере, — продолжал Дениска, — чай пьют. Пойдем!

И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный, узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иваныч и о. Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость.

— А-а, Егор Никола-аич! — пропел о. Христофор. — Господин Ломоносов!

— А, господа дворяне! — сказал Кузьмичов. — Милости просим.

Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и о. Христофору и сел за стол.

— Ну, как доехал, puer bone?[1] — засыпал его о. Христофор вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновению, лучезарно улыбаясь. — Небось надоело? И не дай бог на обозе или на волах ехать! Едешь, едешь, прости господи, взглянешь вперед, а степь все такая ж протяженно-сложенная, как и была: конца краю не видать! Не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей! А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава богу! Продали шерсть Черепахину и так, как дай бог всякому... Хорошо попользовались.

При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал о. Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что, собственно, пожаловаться. Но голос о. Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег.

— Вот-те на! — удивился о. Христофор. — А как же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал.

— Вот-те на! — повторил о. Христофор, поднимаясь и идя к дивану. — Георгий, что с тобой? Что ты плачешь?

— Я... я болен! — проговорил Егорушка.

— Болен? — смутился о. Христофор. — Вот это уж и не хорошо, брат... Разве можно в дороге болеть? Ай, ай, какой ты, брат... а?

Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал:

— Да, голова горячая... Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал... Ты бога призывай.

— Хинины ему дать... — сказал смущенно Иван Иваныч.

— Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать... Георгий, хочешь супчику? А?

— Не... не хочу... — ответил Егорушка.

— Тебя знобит, что ли?

— Прежде знобило, а теперь... теперь жар. У меня все тело болит...

---

[1] милый мальчик *(лат.)*.

Иван Иваныч подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу.

— Вот что, ты раздевайся и ложись спать, — сказал о. Христофор, — тебе выспаться надо.

Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Иваныча, затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра; Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку.

— Бейте его! Бейте его! — крикнул Егорушка.

— Бредит... — проговорил вполголоса о. Христофор.

— Хлопоты! — вздохнул Иван Иваныч.

— Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет.

Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. О. Христофор и Иван Иваныч уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти: веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется; сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст зятю Михайле толстый бумажник и скажет: «На, получай! Вот как надо дела делать!» Кузьмичов же не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу.

— Эх, кабы знатье, что Черепахин даст такую цену, — говорил он вполголоса, — то я б дома не продавал Макарову тех трехсот пудов! Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?

Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. О. Христофор шепнул ему что-то на ухо; тот сделал таинственное лицо, как заговорщик — понимаю, мол, — вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иваныч постлал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег.

— А завтра я в собор думаю... — сказал о. Христофор. — Там у меня ключарь знакомый. К преосвященному бы надо после обедни, да, говорят, болен.

Он зевнул и потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка.

— Говорят, не принимает, — продолжал о. Христофор, разоблачаясь. — Так и уеду не повидавшись.

Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузе. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал:

— Ломоносов, ты спишь? Встань-ка! Я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сел. О. Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь.

— Во имя отца и сына и святаго духа... — шептал он. — Ложись спиной кверху!.. Вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай... Как огонь, горячий! Небось в грозу в дороге были?

— В дороге.

— Еще бы не захворать! Во имя отца и сына и святаго духа... Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Иваныча, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили десять. Егорушка вспомнил, как еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал.

Ему казалось, что он недолго лежал, припавши лбом к спинке дивана, но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. О. Христофора и Ивана Иваныча не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло о. Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков (дома он делал из васильков

кропила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь). Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом все сухо и на потолке нет молний и грома.

Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное; от вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть, на них. Когда он, умывшись, надевал кумачовую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок, и на пороге показался о. Христофор в своем цилиндре, с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя (старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние), он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал:

— Бог милости прислал! Ну, как здоровье?

— Теперь хорошо, — ответил Егорушка, целуя ему руку.

— Слава богу... А я из обедни... Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить спозаранку. Бог с ними!

Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.

— Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил, — сказал о. Христофор. — В будень не из чего бы роскошествовать, да подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая...

Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой.

— Кушай, — сказал о. Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. — Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все

науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал, а иной про Петра Могилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать! Выучись по-латынски, по-французски, по-немецки... географию, конечно, историю, богословие, философию, математику... А когда всему выучишься не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись да благодати набирайся, а уж бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли...

Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал:

— Апостол Павел говорит: на учения странна и различна не прилагайтеся. Конечно, если чернокнижие, буесловие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что бог благословил. Ты соображайся... Святые апостолы говорили на всех языках — и ты учи языки; Василий Великий учил математику и философию — и ты учи, святый Нестор писал историю — и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся...

Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.

— Хорошо! — сказал он. — Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно... Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге; все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами запанибрата: по-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю... И им приятно. Так-то вот, брат... Ученье свет, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно, тяжело: в теперешнее время ученье дорого обходится... Маменька твоя вдовица, пенсией живет, ну да ведь...

Отец Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом:

— Иван Иваныч будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся.

Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише:

— Только ты смотри, Георгий, боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Иваныча. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иваныч тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людями по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!

Отец Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском:

— Горе! Горе!

Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус; он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь, и вошел Иван Иваныч. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай.

— Ну, со всеми делами справился, — сказал он. — Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна, так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет.

Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел:

— «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме». Надо будет сейчас пойти поискать ее. Хлопоты!

Вскоре после чаю Иван Иваныч и Егорушка уж выходили из подворья.

— Хлопоты! — бормотал дядя. — Привязался ты ко мне, как репейник, и ну тебя совсем к богу! Вам ученье да благородство, а мне одна мука с вами...

Когда они проходили двором, то возов и подводчиков уже не было, все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка; возле нее стояли гнедые и ели овес.

«Прощай, бричка!» — подумал Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь; тут Иван Иваныч справился у городового, где Малая Нижняя улица.

— Эва! — усмехнулся городовой. — Она далече, туда к выгону!

На пути попадались навстречу извозчичьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот.

— Скажите, пожалуйста, — обратился Иван Иваныч к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, — где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

— Никакой тут Тоскуновой нет, — ответил старик подумав. — Может, Тимошенко?

— Нет, Тоскунова...

— Извините, Тоскуновой нету...

Иван Иваныч пожал плечами и поплелся дальше.

— Да не ищите! — крикнул ему сзади старик. — Говорю — нету, значит нету!

— Послушай, тетенька, — обратился Иван Иваныч к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши, — где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась.

— Да нешто Настасья Петровна теперь в своем доме живет? — спросила она. — Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала! Там теперь зять живет.

А глаза ее говорили: «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?»

— А где она теперь живет? — спросил Иван Иваныч.

— Господи! — удивилась старуха, всплескивая руками. — Она уж давно на квартире живет! Уж годов восемь, как свой дом зятю отказала. Что вы!

Она, вероятно, ожидала, что Иван Иваныч тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!!», но тот очень покойно спросил:

— Где ж ее квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом:

— Идите все прямо, прямо, прямо... Вот как пройдете красненький домичек, так на левой руке будет

переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа...

Иван Иваныч и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иваныч отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, с засученными рукавами и с поднятым фартуком, стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно-тонко, как и торговка:

— Цып!.. цып! цып!

Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором (все рыжие собаки лают тенором).

— Кого вам? — крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца.

— Здравствуйте! — тоже крикнул ей Иван Иваныч, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. — Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?

— Здесь! А на что вам?

Иван Иваныч и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила:

— На что она вам?

— Да, может, вы сами Настасья Петровна?

— Ну, я!

— Очень приятно... Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат, Иван Иваныч... Вы ведь наша N-ская... Вы у нас и родились и замуж выходили...

Наступило молчание. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Иваныча, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками; из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы.

— Ольга Ивановна! — взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. — Голубушка моя родная! Ах, батюшки,

так что же я, как дура, стою? Ангельчик ты мой хорошенький...

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала.

— Господи! — сказала она, ломая руки. — Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому; гости поплелись за ней.

— У меня не прибрано! — говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. — Ах, матерь божия! Василиса, поди хоть ставни отвори! Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!

Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иваныч пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку; тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил:

— Как тебя звать?

Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо ответила:

— Атька...

Это значило: Катька.

— Он у вас будет жить, — шептал в зале Иван Иваныч, — ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем по десяти рублей в месяц платить. Он у нас мальчик не балованный, тихий....

— Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иваныч! — плаксиво вздыхала Настасья Петровна. — Десять рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно! Вдруг заболеет или что...

Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иваныч уже стоял со шляпой в руках и прощался.

— Что ж? Значит, пускай теперь и остается у вас, — говорил он. — Прощайте! Оставайся, Егор! — сказал он,

обращаясь к племяннику. — Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну... Прощай! Я приду еще завтра.

И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные, горячие щи.

А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей... В печке кричал сверчок, и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса и то и дело от волнения роняла наперсток, а Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез... И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой.

На другой день утром приходили прощаться Иван Иваныч и о. Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иваныч, очень спешивший, махнул рукой и сказал:

— Некогда нам с чаями да с сахарами! Мы сейчас уйдем.

Перед прощаньем все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа.

— Ну, — начал Иван Иваныч, поднимаясь, — значит, ты остаешься...

С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал:

— Смотри же, учись... Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну... Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. О. Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку.

— Во имя отца и сына и святаго духа... Учись, — сказал он. — Трудись, брат... Ежели помру, поминай. Вот прими и от меня гривенничек...

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.

— Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение, — сказал Иван Иваныч таким голосом, как будто в зале был покойник. — Седьмого августа вы его на экзамен сведете... Ну, прощайте! Оставайтесь с богом. Прощай, Егор!

— Да вы бы хоть чайку покушали! — простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о. Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иваныч и о. Христофор, помахивая — первый палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито; он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него...

Какова-то будет эта жизнь?

*1888*

## ОГНИ

За дверью тревожно залаяла собака. Инженер Ананьев, его помощник студент фон Штенберг и я вышли из барака посмотреть, на кого она лает. Я был гостем в бараке и мог бы не выходить, но, признаться, от выпитого вина у меня немножко кружилась голова, и я рад был подышать свежим воздухом.

— Никого нет... — сказал Ананьев, когда мы вышли. — Что ж ты врешь, Азорка? Дурак!

Кругом не было видно ни души. Дурак Азорка, черный дворовый пес, желая, вероятно, извиниться перед нами за свой напрасный лай, несмело подошел к нам и завилял хвостом. Инженер нагнулся и потрогал его между ушей.

— Что ж ты, тварь, понапрасну лаешь? — сказал он тоном, каким добродушные люди разговаривают с детьми и с собаками. — Нехороший сон увидел, что ли? Вот, доктор, рекомендую вашему вниманию, — сказал он, обращаясь ко мне, — удивительно нервный субъект! Можете себе представить, не выносит одиночества, видит всегда страшные сны и страдает кошмарами, а когда прикрикнешь на него, то с ним делается что-то вроде истерики.

— Да, деликатный пес... — подтвердил студент.

Азорка, должно быть, понял, что разговор идет о нем; он поднял морду и жалобно заскулил, как будто хотел сказать: «Да, временами я невыносимо страдаю, но вы, пожалуйста, извините!»

Ночь была августовская, звездная, но темная. Оттого, что раньше я никогда в жизни не находился при такой исключительной обстановке, в какую попал случайно теперь, эта звездная ночь казалась мне глухой, неприветливой и темнее, чем она была на самом деле. Я был на линии железной дороги, которая еще только строилась. Высокая, наполовину готовая насыпь, кучи песку, глины и щебня, бараки, ямы, разбросанные кое-где тачки, плоские возвышения над землянками, в которых жили рабочие, — весь этот ералаш, выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную, дикую физиономию, напоминавшую о временах хаоса. Во всем, что лежало передо мной, было до того мало порядка, что среди безобразно изрытой, ни на что не похожей земли как-то странно было видеть силуэты людей и стройные телеграфные столбы; те и другие портили ансамбль картины и казались не от мира сего. Было тихо, и только слышалось, как над нашими головами, где-то очень высоко, телеграф гудел свою скучную песню.

Мы взобрались на насыпь и с ее высоты взглянули на землю. В саженях пятидесяти от нас, там, где ухабы, ямы и кучи сливались всплошную с ночною мглой, мигал тусклый огонек. За ним светился другой огонь, за этим третий, потом, отступя шагов сто, светились рядом два красных глаза — вероятно, окна какого-нибудь барака — и длинный ряд таких огней, становясь все гуще и тусклее, тянулся по линии до самого горизонта, потом полукругом поворачивал влево и исчезал в далекой мгле. Огни были неподвижны. В них, в ночной тишине и в унылой песне телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволоки...

— Экая благодать, господи! — вздохнул Ананьев. — Столько простора и красоты, что хоть отбавляй! А какова насыпь-то! Это, батенька, не насыпь, а целый Монблан! Миллионы стоит...

Восхищаясь огнями и насыпью, которая стоит миллионы, охмелевший от вина и сентиментально настроенный инженер похлопал по плечу студента фон Штенберга и продолжал в шутливом тоне:

— Что, Михайло Михайлыч, призадумались? Небось приятно поглядеть на дела рук своих? В прошлом

году на этом самом месте была голая степь, человечьим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! И как все это хорошо, ей-богу! Мы с вами железную дорогу строим, а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и — закипит машина! А?

Студент стоял неподвижно, засунув руки в карманы, и не отрывал глаз от огней. Он не слушал инженера, о чем-то думал и, по-видимому, переживал то настроение, когда не хочется ни говорить, ни слушать. После долгого молчания он обернулся ко мне и сказал тихо:

— Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом. Для полноты иллюзии не хватает только трубных звуков да чтобы на каком-нибудь эфиопском языке перекликивались часовые.

— Пожалуй... — согласился инженер.

И, как нарочно, по линии пробежал ветер и донес звук, похожий на бряцание оружия. Наступило молчание. Не знаю, о чем думали теперь инженер и студент, но мне уж казалось, что я вижу перед собой действительно что-то давно умершее и даже слышу часовых, говорящих на непонятном языке. Воображение мое спешило нарисовать палатки, странных людей, их одежду, доспехи...

— Да, — пробормотал студент в раздумье. — Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдут тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые теперь спят после тяжелого труда, не останется и пыли. В сущности, это ужасно!

— А вы эти мысли бросьте... — сказал инженер серьезно и наставительно.

— Почему?

— А потому... Такими мыслями следует оканчивать жизнь, а не начинать. Вы еще слишком молоды для них.

— Почему же? — повторил студент.

— Все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потемках и проч., все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней работы, выстраданы и в самом деле составляют умственное богатство; для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастие! Несчастие! — повторил Ананьев и махнул рукой. — По-моему, в ваши годы лучше совсем не иметь головы на плечах, чем мыслить в таком направлении. Я вам, барон, серьезно говорю. И давно уж я собирался поговорить с вами об этом, так как еще с первого дня нашего знакомства заметил в вас пристрастие к этим анафемским мыслям!

— Господи, да почему же они анафемские? — спросил, улыбаясь, студент, и по его голосу и по лицу было заметно, что он отвечает только из простой вежливости и что спор, затеваемый инженером, нисколько не интересует его.

Глаза мои слипались. Я мечтал, что тотчас же после прогулки мы пожелаем друг другу покойной ночи и ляжем спать, но мечта моя сбылась нескоро. Когда мы вернулись в барак, инженер убрал пустые бутылки под кровать, достал из большого плетеного ящика две полные и, раскупорив их, сел за свой рабочий стол с очевидным намерением продолжать пить, говорить и работать. Отхлебывая понемножку из стакана, он делал карандашом пометки на каких-то чертежах и продолжал доказывать студенту, что тот мыслит неподобающим образом. Студент сидел рядом с ним, проверял какие-то счеты и молчал. Ему, как и мне, не хотелось ни говорить, ни слушать. Я, чтобы не мешать людям работать и ожидая каждую минуту, что мне предложат лечь в постель, сидел в стороне от стола на походной, кривоногой кровати инженера и скучал. Был первый час ночи.

От нечего делать я наблюдал своих новых знакомых. Ни Ананьева, ни студента я никогда не видел раньше и познакомился с ними только в описываемую ночь. Поздно вечером я возвращался верхом с ярмарки к помещику, у которого гостил, попал в потемках не на ту дорогу и заблудился. Кружась около линии и видя,

как густеет темная ночь, я вспомнил о «босоногой чугунке», подстерегающей пешего и конного, струсил и постучался в первый попавшийся барак. Тут меня радушно встретили Ананьев и студент. Как это бывает с людьми, чужими друг другу, сошедшимися случайно, мы быстро познакомились, подружились и сначала за чаем, потом за вином уже чувствовали себя так, как будто были знакомы целые годы. Через какой-нибудь час я уже знал, кто они и как судьба занесла их из столицы в далекую степь, а они знали, кто я, чем занимаюсь и как мыслю.

Инженер Ананьев, Николай Анастасьевич, был плотен, широк в плечах и, судя по наружности, уже начинал, как Отелло, «опускаться в долину преклонных лет» и излишне полнеть. Он находился в той самой поре, которую свахи называют «мужчина в самом соку», то есть не был ни молод, ни стар, любил хорошо поесть, выпить и похвалить прошлое, слегка задыхался при ходьбе, во сне громко храпел, а в обращении с окружающими проявлял уже то покойное, невозмутимое добродушие, какое приобретается порядочными людьми, когда они переваливают в штаб-офицерские чины и начинают полнеть. Его голове и бороде далеко еще было до седых волос, но он уж как-то невольно, сам того не замечая, снисходительно величал молодых людей «душа моя» и чувствовал себя как бы вправе добродушно журить их за образ мыслей. Движения его и голос были покойны, плавны, уверенны, как у человека, который отлично знает, что он уже выбился на настоящую дорогу, что у него есть определенное дело, определенный кусок хлеба, определенный взгляд на вещи... Его загорелое, толстоносое лицо и мускулистая шея как бы говорили: «Я сыт, здоров, доволен собой, а придет время, и вы, молодые люди, будете тоже сыты, здоровы и довольны собой...» Одет он был в ситцевую рубаху с косым воротом и в широкие полотняные панталоны, засунутые в большие сапоги. По некоторым мелочам, как, например, по цветному гарусному пояску, вышитому вороту и латочке на локте, я мог догадаться, что он был женат и, по всей вероятности, нежно любим своей женой.

Барон фон Штенберг, Михаил Михайлович, студент института путей сообщения, был молод, лет двадцати трех — двадцати четырех. Только одни русые волосы и

жидкая бородка, да, пожалуй, еще некоторая грубость и сухость черт лица напоминали о его происхождении от остзейских баронов, все же остальное — имя, вера, мысли, манеры и выражение лица были у него чисто русские. Одетый так же, как и Ананьев, в ситцевую рубаху навыпуск и в большие сапоги, сутуловатый, давно не стриженный, загорелый, он походил не на студента, не на барона, а на обыкновенного российского подмастерья. Говорил и двигался он мало, вино пил нехотя, без аппетита, счеты проверял машинально и все время, казалось, о чем-то думал. Движения и голос его также были покойны и плавны, но его покой был совсем иного рода, чем у инженера. Загорелое, слегка насмешливое, задумчивое лицо, его глядевшие немножко исподлобья глаза и вся фигура выражали душевное затишье, мозговую лень... Он глядел так, как будто бы для него было решительно все равно, горит ли перед ним огонь, или нет, вкусно ли вино, или противно, верны ли счеты, которые он проверял, или нет... И на его умном, покойном лице я читал: «Ничего я пока не вижу хорошего ни в определенном деле, ни в определенном куске хлеба, ни в определенном взгляде на вещи. Все это вздор. Был я в Петербурге, теперь сижу здесь в бараке, отсюда осенью уеду опять в Петербург, потом весной опять сюда... Какой из всего этого выйдет толк, я не знаю, да и никто не знает... Стало быть, и толковать нечего...»

Инженера слушал он без интереса, с тем снисходительным равнодушием, с каким кадеты старших классов слушают расходившегося добряка-дядьку. Казалось, что все, сказанное инженером, было для него не ново и что если бы ему самому было не лень говорить, то он сказал бы нечто более новое и умное. Ананьев же между тем не унимался. Он уж оставил добродушно-шутливый тон и говорил серьезно, даже с увлечением, которое совсем не шло к его выражению покоя. По-видимому, он был неравнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но трактовать их не умел и не привык. И эта непривычка так сильно сказывалась в его речи, что я не сразу понял, чего он хочет.

— Всей душой ненавижу эти мысли! — говорил он. — Я сам был болен ими в юности, теперь еще не совсем избавился от них и скажу вам, — может быть, оттого, что я глуп и что эти мысли были для меня не

по коню корм, — они не принесли мне ничего, кроме зла. Это так понятно! Мысль о бесцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская «суета сует» составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления. Дошел мыслитель до этой ступени и — стоп машина! Дальше идти некуда. Этим завершается деятельность нормального мозга, что естественно и в порядке вещей. Наше же несчастие в том, что мы начинаем мыслить именно с этого конца. Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем. Мы с первого же абцуга, едва только мозг начинает самостоятельную работу, взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать не хотим тех ступеней, которые пониже.

— Чем же это худо? — спросил студент.

— Да поймите же, что это ненормально! — крикнул Ананьев, поглядев на него почти со злобой. — Если мы нашли способ взбираться на верхнюю ступень без помощи нижних, то уж вся длинная лестница, то есть вся жизнь с ее красками, звуками и мыслями, теряет для нас всякий смысл. Что в ваши годы такое мышление составляет зло и абсурд, вы можете понять из каждого шага вашей разумной, самостоятельной жизни. Положим, что сию вот минуту вы садитесь читать какого-нибудь Дарвина или Шекспира. Едва прочли вы одну страницу, как отрава начинает уж сказываться: и ваша длинная жизнь, и Шекспир, и Дарвин представляются вам вздором, нелепостью, потому что вы знаете, что вы умрете, что Шекспир и Дарвин тоже умерли, что их мысли не спасли ни их самих, ни земли, ни вас, и что если таким образом жизнь лишена смысла, то все эти знания, поэзия и высокие мысли являются только ненужной забавой, праздной игрушкой взрослых детей. И вы прекращаете чтение на второй же странице. Теперь, положим, к вам, как к умному человеку, приходят люди и спрашивают вашего мнения, например, хоть о войне: желательна, нравственна она или нет? В ответ на этот страшный вопрос вы только пожмете плечами и ограничитесь каким-нибудь общим местом, потому что для вас, при вашей манере мыслить, решительно все равно, умрут ли сотни тысяч людей насильственной, или же своей смертью: в том и в другом случае результаты одни и те же — прах и забвение. Строим мы

с вами железную дорогу. К чему, спрашивается, нам ломать головы, изобретать, возвышаться над шаблоном, жалеть рабочих, красть или не красть, если мы знаем, что эта дорога через две тысячи лет обратится в пыль? И так далее и так далее... Согласитесь, что при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс, ни науки, ни искусства, ни само мышление. Нам кажется, что мы умнее толпы и Шекспира, в сущности же наша мыслительская работа сводится на ничто, так как спускаться на нижние ступени у нас нет охоты, а выше идти некуда, так и стоит наш мозг на точке замерзания — ни тпрру ни ну... Я находился под гнетом этих мыслей около шести лет, и, клянусь вам богом, за все это время я не прочел ни одной путевой книги, не стал умнее ни на грош и ни на одну букву не обогатил своего нравственного кодекса. Разве это не несчастье? Засим, мало того, что мы сами отравлены, но мы еще вносим отраву в жизнь окружающих нас. Добро бы мы со своим пессимизмом отказывались от жизни, уходили бы в пещеры или спешили умереть, а то ведь мы, покорные общему закону, живем, чувствуем, любим женщин, воспитываем детей, строим дороги!

— От наших мыслей никому ни тепло ни холодно... — сказал студент нехотя.

— Нет, уже это вы — ах, оставьте! Вы еще не нюхали как следует жизни, а вот как поживете с мое, батенька, так и узнаете кузькину мать! Наше мышление не так невинно, как вы думаете. В практической жизни, в столкновениях с людьми оно ведет только к ужасам и глупостям. Мне приходилось переживать такие положения, каких я злому татарину не пожелаю.

— Например? — спросил я.

— Например? — переспросил инженер; он подумал, улыбнулся и сказал: — Например, взять хоть такой случай. Вернее, это не случай, а целый роман с завязкой и развязкой. Прекраснейший урок! Ах, какой урок!

Он налил вина нам и себе, выпил, погладил ладонями свою широкую грудь и продолжал, обращаясь больше ко мне, чем к студенту:

— Это было летом тысяча восемьсот семьдесят... года, вскоре после войны и по окончании мною курса. Я поехал на Кавказ и остановился проездом дней на пять в приморском городе N. Надо вам сказать, что в

этом городе я родился и вырос, а потому нет ничего мудреного, что N. казался мне необыкновенно уютным, теплым и красивым, хотя столичному человеку живется в нем так же скучно и неуютно, как в любой Чухломе или Кашире. С грустью прошелся я мимо гимназии, в которой учился, с грустью погулял по очень знакомому городскому саду, сделав грустную попытку посмотреть поближе людей, которых давно не видел, но помнил... Все с грустью...

Между прочим, в один из вечеров поехал я в так называемый Карантин. Это небольшая, плешивая рощица, в которой когда-то в забытое чумное время в самом деле был карантин, теперь же живут дачники. Ехать к ней приходится от города четыре версты по хорошей мягкой дороге. Едешь и видишь: налево голубое море, направо бесконечную, хмурую степь; дышится легко, и глазам не тесно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустив своего извозчика, я вошел в знакомые ворота и первым делом направился по аллее к небольшой каменной беседке, которую любил в детстве. По моему мнению, эта круглая, тяжелая беседка на неуклюжих колоннах, соединявшая в себе лиризм старого могильного памятника с топорностью Собакевича, была самым поэтическим уголком во всем городе. Она стояла на краю берега, над самой кручей, и с нее отлично было видно море.

Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз. От беседки по крутому, почти отвесному берегу, мимо глиняных глыб и репейника бежала тропинка; там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Море было такое же величавое, бесконечное и неприветливое, как семь лет до этого, когда я, кончив курс в гимназии, уезжал из родного города в столицу; вдали темнела полоска дыма — это шел пароход, и, кроме этой едва видимой и неподвижной полоски да мартышек, которые мелькали над водой, ничто не оживляло монотонной картины моря и неба. Направо и налево от беседки тянулись неровные глинистые берега...

Вы знаете, когда грустно настроенный человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным, то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он

проживет и погибнет в безвестности, и он рефлективно хватается за карандаш и спешит записать на чем попало свое имя. Потому-то, вероятно, все одинокие укромные уголки, вроде моей беседки, всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел: «О. П. (то есть оставил память) Иван Корольков 16 мая 1876 года». Тут же рядом с Корольковым расписался какой-то местный мечтатель и еще добавил: «На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн». И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шелк. Какой-то Кросс, вероятно, очень маленький и незначительный человечек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, все это дела не касается... Простите, я не умею рассказывать коротко.

Я грустил и немножко скучал. Скука, тишина и мурлыканье волн мало-помалу навели меня на то самое мышление, о котором мы только что говорили. Тогда, в конце семидесятых годов, оно начинало входить в моду у публики и потом в начале восьмидесятых стало понемногу переходить из публики в литературу, в науку и политику. Мне было тогда не больше двадцати шести лет, но я уж отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что все обман и иллюзия, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что все вздор и чепуха и что ну его все к черту! Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставляющей меня жить: на, мол, смотри, сила, ставлю жизнь ни в грош, а живу! Мыслил я в одном определенном направлении, но на всевозможные лады, и в этом отношении походил на того тонкого гастронома, который из одного картофеля умел приготовлять сотню вкусных блюд. Несомненно, что я был односторонен и до некоторой степени даже узок, но мне тогда казалось, что мой мыслительный горизонт не имеет ни начала, ни конца и что мысль моя широка, как море. Ну-с, насколько я могу судить по себе, мыш-

ление, о котором идет речь, содержит в своей сути что-то втягивающее, наркотическое, как табак или морфий. Оно становится привычкой, потребностью. Каждой минутой одиночества и каждым удобным случаем вы пользуетесь для того, чтобы посладострастничать мыслями о бесцельной жизни и загробных потемках. Когда я сидел в беседке, то по аллее чинно прогуливались греческие дети с длинными носами. Я воспользовался сим удобным случаем и, оглянувшись на них, стал думать в таком роде:

«К чему, спрашивается, родятся и живут вот эти самые дети? Есть ли хоть какой-нибудь смысл в их существовании? Вырастут, сами не зная для чего, проживут в этой глуши без всякой надобности и помрут...»

И мне даже стало досадно на этих детей за то, что они чинно ходят и о чем-то солидно разговаривают, как будто в самом деле недешево ценят свои маленькие, бесцветные жизни и знают, для чего живут... Помню, далеко в конце аллеи показались три женских фигуры. Какие-то барышни — одна в розовом платье, две в белом — шли рядом, взявшись под руки, о чем-то говорили и смеялись. Провожая их глазами, я думал:

«Хорошо бы теперь от скуки дня на два сойтись тут с какой-нибудь женщиной!»

Я кстати вспомнил, что у своей петербургской барыни в последний раз я был три недели тому назад, и подумал, что мимолетный роман был бы для меня теперь очень кстати. Средняя барышня в белом казалась моложе и красивее своих подруг и, судя по манерам и смеху, была гимназисткой старшего класса. Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней:

«Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека-пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего, кучу детей и умрет. Нелепая жизнь!»

Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань бюстам и ножкам. Нашему милому барону его высокопробные мысли тоже нисколько не мешают ездить по субботам в Вуколовку и совершать там донжуанские набеги. Говоря по совести, насколько

я себя помню, отношения мои к женщинам были самые оскорбительные. Теперь вот, вспомнив о гимназистке, я покраснел за свои тогдашние мысли, тогда же совесть моя была совершенно покойна. Я, сын благородных родителей, христианин, получивший высшее образование, по природе не злой и не глупый, не чувствовал ни малейшего беспокойства, когда платил женщинам, как говорят немцы, Blutgeld[1], или когда провожал гимназисток оскорбительными взглядами... Беда в том, что молодость имеет свои права, а наше мышление в принципе ничего не имеет против этих прав, хороши ли они, или отвратительны. Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе: борись или не борись — все равно умрешь и сгниешь... Во-вторых, сударь мои, наше мышление поселяет даже в очень молодых людях так называемую рассудочность. Преобладание рассудка над сердцем у нас подавляющее. Непосредственное чувство, вдохновение — все заглушено мелочным анализом. Где же рассудочность, там холодность, а холодные люди — нечего греха таить — не знают целомудрия. Эта добродетель знакома только тем, кто тепел, сердечен и способен любить. В-третьих, наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи Степановны, то для меня решительно все равно, оскорблена она или нет. Сегодня оскорбил ее человеческое достоинство, заплатил ей Blutgeld, а завтра уж и не помнишь о ней.

Итак, я сидел в беседке и наблюдал барышень. На аллее показалась еще одна женская фигура с непокрытой белокурой головой и с белым вязаным платком на плечах. Она погуляла по аллее, потом вошла в беседку и, взявшись за перила, равнодушно поглядела вниз и вдаль на море. Войдя, она не обратила на меня никакого внимания, точно не заметила. Я оглядел ее с ног до головы (но не с головы до ног, как оглядывают мужчин) и нашел, что она молода, не старше двадцати пяти лет, миловидна, хорошо сложена, по всей вероятности, уже не барышня и принадлежит к разряду порядочных.

[1] Вознаграждение за бесчестье.

Одета она была по-домашнему, но модно и со вкусом, как вообще одеваются в N. все интеллигентные барыни.

«Вот с этой бы сойтись... — подумал я, оглядывая ее красивую талию и руки. — Ничего себе... Должно быть, супруга какого-нибудь эскулапа или учителя гимназии...»

Но сойтись с ней, то есть сделать ее героиней одного из тех экспромтных романов, до которых так падки туристы, было нелегко и едва ли возможно. Это почувствовал я, всмотревшись в ее лицо. Она так глядела и имела такое выражение, как будто море, дымок вдали и небо давно уже надоели ей и утомили ее зрение; она, по-видимому, устала, скучала, думала о чем-то невеселом, и на ее лице не было даже того суетного, натянуто равнодушного выражения, какое бывает почти у всякой женщины, когда она чувствует вблизи себя присутствие незнакомого мужчины.

Блондинка мельком и скучающе взглянула на меня, села на скамью и о чем-то задумалась, и я по ее взгляду понял, что ей не до меня и что я со своею столичной физиономией не возбудил в ней даже простого любопытства. Но я все-таки решил заговорить с ней и спросил:

— Сударыня, позвольте вас спросить, в котором часу уходят отсюда в город линейки?

— Кажется, в десять или в одиннадцать...

Я поблагодарил. Она взглянула на меня раз-другой, и на ее бесстрастном лице мелькнуло вдруг любопытство, потом что-то похожее на удивление... Я поспешил придать себе равнодушное выражение и принять подобающую позу: клюет! Она, точно ее что-то больно укусило, вдруг поднялась со скамьи, кротко улыбнулась и, торопливо оглядывая меня, спросила робко:

— Послушайте, вы, бывает, не Ананьев?

— Да, я Ананьев... — ответил я.

— А меня вы не узнаете? Нет?

Я немножко смутился, пристально поглядел на нее и, можете себе представить, узнал ее не по лицу, не по фигуре, а по кроткой, усталой улыбке. Это была Наталья Степановна, или, как ее называли, Кисочка, та самая, в которую я был по уши влюблен семь-восемь лет назад, когда еще носил гимназический мундир. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой

гимназисточкой пятнадцати — шестнадцати лет, когда она изображала собою нечто в гимназическом вкусе, созданное природой специально для платонической любви. Что за прелесть девочка! Бледненькая, хрупкая, легкая, — кажется, дуньте на нее, и она улетит, как пух, под самые небеса — лицо кроткое, недоумевающее, ручки маленькие, волосы длинные до пояса, мягкие, талия тонкая, как у осы, — в общем, нечто эфирное, прозрачное, похожее на лунный свет, одним словом, с точки зрения гимназиста, красота неописанная... Я влюблен был в нее — во как! Ночей не спал, стихи писал... Бывало, по вечерам она сидела в городском саду на скамье, а мы, гимназисты, толпились около нее и благоговейно созерцали... В ответ на все наши комплименты, позы и вздохи она нервно пожималась от вечерней сырости, жмурилась да кротко улыбалась, и в это время ужасно походила на маленького, хорошенького котеночка; когда мы созерцали ее, всякому из нас приходило желание приласкать ее и погладить, как кошку, — отсюда прозвище Кисочка.

За семь-восемь лет, пока мы не виделись, Кисочка сильно изменилась. Она стала мужественнее, полнее и совсем утеряла сходство с мягким, пушистым котенком. Черты ее не то чтобы постарели или поблекли, а как будто потускнели и стали строже, волоса казались короче, рост выше, плечи почти вдвое шире, а, главное, на лице было уже выражение материнства и покорности, какое бывает у порядочных женщин в ее годы и какого я раньше, конечно, не видел у нее... Одним словом, от прежнего гимназического и платонического уцелела одна только кроткая улыбка и больше ничего...

Мы разговорились. Узнавши, что я уже инженер, Кисочка ужасно обрадовалась.

— Как это хорошо! — сказала она, радостно заглядывая мне в глаза. — Ах, как хорошо! И какие вы все молодцы! Из всего вашего выпуска нет ни одного неудачника, из всех люди вышли. Один инженер, другой доктор, третий учитель, четвертый, говорят, теперь знаменитый певец в Петербурге... Все, все вы молодцы! Ах, как это хорошо!

В глазах Кисочки светились искренняя радость и доброжелательство. Она любовалась мной, как старшая

сестра или бывшая учительница. А я глядел на ее милое лицо и думал: «Хорошо бы сегодня сойтись с ней!»

— Помните, Наталья Степановна, — спросил я, — как я однажды в саду поднес вам букет с записочкой? Вы прочли мою записочку, и по вашему лицу разлилось такое недоумение...

— Нет, этого не помню, — сказала она, засмеявшись. — А вот помню, как вы из-за меня хотели вызвать Флоренса на дуэль...

— Ну, а я этого, представьте, не помню...

— Да, что было, то прошло... — вздохнула Кисочка. — Когда-то я у вас была божком, а теперь наступила моя очередь глядеть на всех вас снизу вверх...

Из дальнейшего разговора я узнал, что Кисочка года через два после окончания курса в гимназии вышла замуж за одного местного обывателя, полугрека-полурусского, служащего не то в банке, не то в страховом обществе и в то же время занимающегося пшеничной торговлей. Фамилия у него была какая-то мудреная, что-то вроде Популаки или Скарандопуло... Черт его знает, забыл... Вообще о себе Кисочка говорила мало и неохотно. Разговор шел только обо мне. Она расспрашивала меня об институте, о моих товарищах, о Петербурге, о моих планах, и все, что я говорил, возбуждало в ней живую радость и восклицание: «Ах, как это хорошо!»

Мы спустились вниз к морю, погуляли по песку, потом, когда с моря повеяло вечерней сыростью, вернулись наверх. Все время разговор шел обо мне и о прошлом. Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения вечерней зари.

— Пойдемте ко мне чай пить, — предложила мне Кисочка. — Должно быть, самовар давно уже на столе... Я дома одна, — сказала она, когда сквозь зелень акаций показалась ее дача. — Муж всегда в городе и возвращается только ночью, да и то не каждый день, и у меня, признаться, такая скука, что просто смерть.

Я шел за ней, любовался ее спиной и плечами. Мне было приятно, что она замужем. Для мимолетных романов замужние представляют более подходящий материал, чем барышни. Приятно также было мне, что ее мужа нет дома... Но в то же время я чувствовал, что роману не быть...

Мы вошли в дом. Комнаты у Кисочки были невелики, с низкими потолками, мебель дачная (а на дачах русский человек любит мебель неудобную, тяжелую, тусклую, которую и выбросить жалко и девать некуда), но по некоторым мелочам все-таки можно было заметить, что Кисочка с супругом жила не бедно и проживала тысяч пять-шесть в год. Помню, посреди комнаты, которую Кисочка назвала столовой, стоял круглый стол почему-то на шести ножках, на нем самовар и чашки, а на краю стола лежали раскрытая книга, карандаш и тетрадка. Я заглянул в книжку и узнал в ней арифметический задачник Малинина и Буренина. Раскрыта она была, как теперь помню, на «правилах товарищества».

— Это вы с кем занимаетесь? — спросил я Кисочку.

— Ни с кем... — ответила она. — Это я так... От скуки и от нечего делать, старину вспоминаю, задачи решаю.

— У вас есть дети?

— Был один мальчик, но прожил неделю и умер.

Стали пить чай. Любуясь мной, Кисочка опять заговорила о том, как хорошо, что я инженер, и как она рада моим успехам. И чем больше она говорила и чем искреннее улыбалась, тем сильнее становилась во мне уверенность, что я уеду от нее не солоно хлебавши. Я тогда уже был специалистом по части романов и умел верно взвешивать свои шансы на успех или неуспех. Вы смело можете рассчитывать на успех, если охотитесь на дуру, или на такую же искательницу приключений и ощущений, как вы сами, или женщину-пройдоху, для которой вы чужды. Если же вы встречаете женщину, неглупую и серьезную, лицо которой выражает усталую покорность и доброжелательство, которая искренне радуется вашему присутствию, а главное — уважает вас, то можете поворачивать назад оглобли. Тут, чтобы иметь успех, нужен более продолжительный срок, чем один день.

А Кисочка при вечернем освещении казалась еще интереснее, чем днем. Она мне нравилась все больше и больше, я тоже, по-видимому, был симпатичен ей. Да и обстановка была самая подходящая для романа: мужа нет дома, прислуги не видно, кругом тишина... Как ни мало я верил в успех, но все-таки порешил на всякий случай начать атаку. Прежде всего нужно было пе-

рейти на фамильярный тон и лирически-серьезное настроение Кисочки сменить на более легкое...

— Давайте, Наталья Степановна, переменим разговор, — начал я. — Поговоримте о чем-нибудь веселом... Прежде всего позвольте мне по старой памяти величать вас Кисочкой.

Она позволила.

— Скажите, пожалуйста, Кисочка, — продолжал я, — какая это муха укусила весь здешний прекрасный пол? Что с ним поделалось? Прежде все были такие нравственные, добродетельные, а теперь, помилуйте, про кого ни спросишь, про всех говорят такое, что просто за человека страшно... Одна барышня с офицером бежала, другая бежала и увлекла с собой гимназиста, третья, барыня, уехала от мужа с актером, четвертая от мужа ушла к офицеру и так далее и так далее... Целая эпидемия! Этак, пожалуй, в вашем городе скоро не останется ни одной барышни и ни одной молодой жены!

Я говорил пошлым, заигрывающим тоном. Если бы в ответ мне Кисочка засмеялась, то я продолжал бы в таком роде: «О, смотрите, Кисочка, как бы вас здесь не похитил какой-нибудь офицер или актер!» Она опустила бы глазки и сказала: «Кому придет охота похищать меня такую? Есть помоложе и красивее...» А я бы ей: «Полноте, Кисочка, да я бы первый с наслаждением похитил вас!» И так далее в таком роде, и в конце концов дело мое было бы в шляпе. Но в ответ мне Кисочка не засмеялась, а, напротив, сделала серьезное лицо и вздохнула.

— Все это, что рассказывают, правда... — сказала она. — С актером уехала от мужа моя двоюродная сестра Соня. Конечно, это нехорошо... Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено, но я не осуждаю их и не виню... Обстоятельства бывают иногда сильнее человека!

— Это так, Кисочка, но какие же обстоятельства могли народить целую эпидемию?

— Очень просто и понятно... — сказала Кисочка, поднимая брови. — У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться. Уезжать на курсы или поступать в учительницы, вообще жить идеями и целями, как мужчины живут, не всякая может.

Надо выходить замуж... А за кого прикажете? Вы, мальчики, кончаете курс в гимназии и уезжаете в университет, чтобы больше никогда не возвращаться в родной город, и женитесь в столицах, а девочки остаются!.. За кого же им прикажете выходить? Ну, за неимением порядочных, развитых людей, и выходят бог знает за кого, за разных маклеров да пиндосов, которые только и умеют, что пить да в клубе скандальничать... Выходят девушки так, зря... Какая ж после этого жизнь? Сами понимаете, женщина образованная и воспитанная живет с глупым, тяжелым человеком; встретится ей какой-нибудь интеллигентный человек, офицер, актер или доктор, ну полюбит, станет ей невыносима жизнь, она и бежит от мужа. И осуждать нельзя!

— Если так, Кисочка, то зачем же замуж идти? — спросил я.

— Конечно, — вздохнула Кисочка, — но ведь каждой девушке кажется, что лучше хоть какой-нибудь муж, чем ничего... Вообще, Николай Анастасьевич, нехорошо здесь живется, очень нехорошо! И в девушках душно и замужем душно... Вот смеются над Соней за то, что она бежала, да еще с актером, а если бы заглянули ей в душу, то не смеялись бы...

За дверью опять залаял Азорка. Он злобно огрызнулся на кого-то, потом завыл с тоской и всем телом шарахнулся о стену барака... Лицо Ананьева поморщилось от жалости; он прервал свой рассказ и вышел. Минуты две слышно было, как он утешал за дверью собаку: «Хороший пес! Бедный пес!»

— Наш Николай Анастасьич любит поговорить, — сказал фон Штенберг усмехаясь. — Хороший человек! — добавил он после некоторого молчания.

Вернувшись в барак, инженер подлил вина в наши стаканы и, улыбаясь, поглаживая себя по груди, продолжал:

— Итак, моя атака не удалась. Нечего было делать, я оставил нечистые мысли до более благоприятного случая, помирился со своей неудачей и, что называется, махнул рукой. Мало того, под влиянием Кисочкиного голоса, вечернего воздуха и тишины, я сам мало-помалу впал в тихое, лирическое настроение. Помню, сидел я в кресле у настежь открытого окна и глядел на деревья и темневшее небо. Силуэты акаций и лип были

все те же, что и восемь лет тому назад; так же, как и тогда, во времена детства, где-то далеко бренчало плохое фортепьяно, все та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперед, но не те были люди. Уж по аллеям ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какие-то чужие гимназисты, чужие барышни. И стало мне грустно. А когда на свои расспросы о знакомых я раз пять получил от Кисочки в ответ: «умер», моя грусть обратилась в чувство, какое испытываешь на панихиде по хорошем человеке. И я, сидя тут у окна, глядя на гуляющую публику и слушая бренчанье фортепьяно, первый раз в жизни собственными глазами увидел, с какою жадностью одно поколение спешит сменить другое и какое роковое значение в жизни человека имеют даже какие-нибудь семь-восемь лет!

Кисочка поставила на стол бутылку сантуринского. Я выпил, раскис и стал длинно рассказывать о чем-то. Кисочка слушала и по-прежнему любовалась мной и моим умом. А время шло. Небо уже потемнело так, что силуэты акаций и лип слились вместе, публика уже не гуляла по аллеям, фортепьяно затихло, и только слышался ровный шум моря.

Молодые люди все одинаковы. Приласкайте, приголубьте вы молодого человека, угостите его вином, дайте ему понять, что он интересен, и он рассядется, забудет о том, что ему пора уходить, и будет говорить, говорить, говорить... У хозяев слипаются глаза, им пора уже спать, а он все сидит и говорит. Так и я. Раз нечаянно взглянул я на часы: было половина одиннадцатого. Я стал прощаться.

— Выпейте на дорожку, — сказала Кисочка.

Я выпил на дорожку, опять заговорил длинно, забыл, что пора уходить, и сел. Но вот послышались мужские голоса, шаги и звяканье шпор. Какие-то люди прошли под окнами и остановились около двери.

— Кажется, муж вернулся... — сказала Кисочка, прислушиваясь.

Дверь щелкнула, голоса раздались уже в передней, и я видел, как мимо двери, ведущей в столовую, прошли два человека: один — полный, солидный брюнет с горбатым носом и в соломенной шляпе и другой — молодой офицер в белом кителе. Проходя мимо двери, оба

они равнодушно и мельком взглянули на меня и Кисочку, и мне показалось, что оба они были пьяны.

— Она, значит, тебе наврала, а ты поверил! — раздался через минуту громкий голос с сильным носовым прононсом. — Во-первых, это было не в большом клубе, а в малом.

— Ты, Юпитер, сердишься, стало быть, ты неправ... — сказал другой, смеющийся и кашляющий, очевидно, офицерский голос. — Послушай, мне можно остаться у тебя ночевать? Ты по совести: я тебя не стесню?

— Что за вопрос?! Не только можно, даже должно. Ты чего хочешь, пива или вина?

Оба сидели через две комнаты от нас, громко говорили и, видимо, не интересовались ни Кисочкой, ни ее гостем. С Кисочкой же, когда вернулся муж, произошла заметная перемена. Она сначала покраснела, потом лицо ее приняло робкое, виноватое выражение; ею овладело какое-то беспокойство, и мне стало казаться, что ей совестно показывать мне своего мужа, и хочется, чтобы я ушел.

Я начал прощаться. Кисочка проводила меня до крыльца. Я отлично помню ее кроткую, грустную улыбку и ласковые, покорные глаза, когда она мне пожала руку и сказала:

— Вероятно, мы уж больше никогда не увидимся... Ну, дай бог вам всего хорошего. Спасибо вам!

Ни одного вздоха, ни одной фразы. Прощаясь, она держала в руках свечу; светлые пятна прыгали по ее лицу и шее, точно гоняясь за ее грустной улыбкой; я вообразил себе прежнюю Кисочку, которую, бывало, хотелось погладить, как кошку, пристально поглядел на теперешнюю, припомнились мне почему-то ее слова: «Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено», — и у меня на душе стало нехорошо. Мое чутье угадало, и моя совесть шепнула мне, счастливому и равнодушному, что передо мной стоит хороший, доброжелательный, любящий, но замученный человек...

Я раскланялся и пошел к воротам. Было уже темно. В июле на юге вечера наступают рано и воздух темнеет быстро. К десяти часам бывает уж так темно, что хоть глаз выколи. Пока я почти ощупью добрался до ворот, то сжег десятка два спичек.

— Извозчик! — крикнул я, выйдя за ворота; в ответ мне ни гласа, ни воздыхания... — Извозчик! — повторил я. — Эй! линейки!

Но нет ни извозчиков, ни линеек. Гробовая тишина. Я только слышу, как шумит сонное море и как бьется от сантуринского мое сердце. Поднимаю глаза к небу — там ни одной звезды. Темно и пасмурно. Очевидно, небо покрыто облаками. Я для чего-то пожимаю плечами, глупо улыбаюсь и еще раз, уж не так решительно, зову извозчика.

— Ощ! — отвечает мне эхо.

Пройти пешком четыре версты полем, да еще в потемках — перспектива неприятная. Прежде чем решиться идти пешком, я долго размышляю и зову извозчика, потом пожимаю плечами и без всякой определенной цели лениво возвращаюсь назад в рощу. В роще темно ужасно. Кое-где между деревьями тускло краснеют окна дачников. Ворона, разбуженная моими шагами и испугавшись спичек, которыми я освещаю свой путь к беседке, перелетает с дерева на дерево и шуршит в листве. Мне и досадно и стыдно, а ворона как будто понимает это и дразнит — крррра! Досадно мне, что придется идти пешком, и стыдно, что у Кисочки я разболтался, как мальчик.

Добрался я до беседки, нащупал скамью и сел. Далеко внизу, за густыми потемками тихо и сердито ворчало море. Помню, я, как слепой, не видел ни моря, ни неба, ни даже беседки, в которой сидел, и мне представлялось уже, что весь этот свет состоит только из мыслей, которые бродят в моей охмелевшей от вина голове, и из невидимой силы, монотонно шумящей где-то внизу. А потом, когда я задремал, мне стало казаться, что шумит не море, а мои мысли, и что весь мир состоит из одного только меня. И, сосредоточив таким образом в себе самом весь мир, я забыл и про извозчиков, и про город, и про Кисочку и отдался ощущению, которое я так любил. Это — ощущение страшного одиночества, когда вам кажется, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете только вы один. Ощущение гордое, демоническое, доступное только русским людям, у которых мысли и ощущения так же широки, безграничны и суровы, как их равнины, леса, снега. Если бы я был художником, то непременно изобразил бы выражение

лица у русского человека, когда он сидит неподвижно и, подобрав под себя ноги, обняв голову руками, предается этому ощущению... А рядом с этим ощущением мысли о бесцельной жизни, о смерти, загробных потемках... мысли не стоят гроша медного, но выражение лица, должно быть, прекрасно...

Пока я сидел и дремал, не решаясь подняться — мне было тепло и покойно, — вдруг среди ровного, однообразного шума моря, как на канве, стали обозначаться звуки, отвлекшие мое внимание от самого себя... Кто-то торопливо шел по аллее. Подойдя к беседке, этот кто-то остановился, всхлипнул, как девочка, и спросил голосом плачущей девочки:

— Боже мой, когда же наконец все это кончится? Господи!

Судя по голосу и по плачу, это была девочка лет десяти — двенадцати. Она нерешительно вошла в беседку, села и стала вслух не то молиться, не то жаловаться...

— Господи! — говорила она протяжно и плача. — Ведь это же невыносимо! Этого не выдержит никакое терпение! Я терплю, молчу, но ведь, пойми же, и мне жить хочется... Ах, боже мой, боже мой!

И все в таком роде... Мне захотелось взглянуть на девочку и поговорить с ней. Чтобы не испугать ее, я сначала громко вздохнул и кашлянул, потом осторожно чиркнул спичкой... Яркий свет блеснул в потемках и осветил того, кто плакал. Это была Кисочка...

— Чудеса в решете! — вздохнул фон Штенберг. — Черная ночь, шум моря, страдающая *она, он* с ощущением вселенского одиночества... черт знает что! Недостает только черкесов с кинжалами.

— Я рассказываю вам не сказку, а быль.

— Ну, хоть бы и быль... Это все ни к чему и давно уже известно...

— Погодите презирать, дайте кончить! — сказал Ананьев, досадливо махнув рукой. — Не мешайте, пожалуйста! Я не вам рассказываю, а доктору... Ну-с, — продолжал он, обращаясь ко мне и искоса поглядывая на студента, который нагнулся к своим счетам и, казалось, был очень доволен тем, что поддразнил инженера. — Ну-с, увидев меня, Кисочка не удивилась и не испугалась, как будто раньше знала, что увидит меня в беседке. Она прерывисто дышала и дрожала всем телом,

как в лихорадке, а лицо ее, мокрое от слез, насколько я мог разглядеть, зажигая спичку за спичкой, было уж не прежнее умное, покорное и усталое лицо, а какое-то другое, которое я до сих пор никак не могу понять. Оно не выражало ни боли, ни беспокойства, ни тоски, ничего такого, что выражали ее слова и слезы... Признаюсь, оттого, вероятно, что я не понимал его, оно казалось мне бессмысленным и пьяным.

— Я не могу больше... — забормотала Кисочка голосом плачущей девочки. — Нет моих сил, Николай Анастасьич! Простите, Николай Анастасьич... Я не в состоянии жить так... Уйду в город к матери... Проводите меня... Ради бога, проводите!

В присутствии плачущих я не умел ни говорить, ни молчать. Я растерялся и в утешение забормотал какой-то вздор.

— Нет, нет, я поеду к матери! — сказала решительно Кисочка, поднимаясь и судорожно хватая меня за руку (руки и рукава у нее были мокры от слез). — Простите, Николай Анастасьич, поеду... Больше не могу...

— Кисочка, но ведь ни одного извозчика нет! — сказал я. — На чем вы поедете?

— Ничего, я пешком пойду... Тут недалеко. А я больше не в состоянии...

Я был смущен, но не растроган. Для меня в слезах Кисочки, в ее дрожи и в тупом выражении лица чувствовалась несерьезная французская или малороссийская мелодрама, где каждый золотник пустого, дешевого горя заливается пудом слез. Я не понимал ее и знал, что не понимаю, мне бы следовало молчать, но почему-то, вероятно, чтобы молчание мое не было понято как глупость, я считал нужным уговаривать ее не ехать к матери и сидеть дома. Плачущие не любят, когда кто видит их слезы. А я зажигал спичку за спичкой и чиркал до тех пор, пока не опустела коробка. К чему мне понадобилась эта невеликодушная иллюминация, до сих пор никак не могу понять. Вообще холодные люди часто бывают неловки и даже глупы.

В конце концов Кисочка взяла меня под руку, и мы пошли. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спеша по мягкой, пыльной дороге. Было темно; когда же глаза мои мало-помалу привыкли к темноте, я стал различать силуэты старых, но тощих дубов и лип,

которые росли по сторонам дороги. Скоро направо неясно обозначилась черная полоса неровного, обрывистого берега, пересеченная кое-где небольшими, глубокими оврагами и промоинами. Около оврагов ютились невысокие кусты, похожие на сидящих людей. Становилось жутко. Я подозрительно косился на берег, и уж шум моря и тишина поля неприятно пугали мое воображение. Кисочка молчала. Она не переставала дрожать и, не пройдя полуверсты, уж ослабела от ходьбы и задыхалась. Я тоже молчал.

В версте от Карантина стоит заброшенное четырехэтажное здание с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня. Оно стоит одиноко на берегу, и днем его бывает далеко видно с моря и с поля. Оттого, что оно заброшено и что в нем никто не живет, и оттого, что в нем сидит эхо и отчетливо повторяет шаги и голоса прохожих, оно кажется таинственным. И вот представьте меня в темную ночь под руку с женщиной, которая бежит от мужа, около длинной и высокой громадины, повторяющей каждый мой шаг и неподвижно глядящей на меня сотнею своих черных окон. Нормальный молодой человек при такой обстановке ударился бы в романтизм, я же глядел на темные окна и думал: «Все это внушительно, но придет время, когда и от этого здания, и от Кисочки с ее горем, и от меня с моими мыслями не останется и пыли... Все вздор и суета...»

Когда мы поравнялись с мукомольней, Кисочка вдруг остановилась, освободила свою руку и заговорила, но уж голосом не девочки, а своим собственным:

— Николай Анастасьич, я знаю, вам все это кажется странным. Но я страшно несчастна! И представить даже вы себе не можете, как я несчастна! Невозможно представить! Я вам не рассказываю, потому что и рассказывать нельзя... Такая жизнь, такая жизнь...

Кисочка не договорила, стиснула зубы и простонала так, как будто старалась изо всех сил не крикнуть от боли.

— Такая жизнь! — повторила она с ужасом и нараспев, с тем южным, немножко хохлацким акцентом, который, особенно у женщин, придает возбужденной речи характер песни. — Такая жизнь! А, боже мой, боже мой, что же это такое? А, боже мой, боже мой!

Точно желая разгадать тайну своей жизни, она в недоумении пожимала плечами, качала головой и всплескивала руками. Говорила она, словно пела, двигалась грациозно и красиво и напоминала мне одну знаменитую хохлацкую актрису.

— Господи, да я же как в яме! — продолжала она, ломая руки. — Хоть бы одну минуточку пожить в радости, как люди живут! А, боже мой, боже мой! Дожила до такого срама, что при чужом человеке ухожу ночью от мужа, как какая-нибудь беспутная. Чего же еше хорошего можно ждать после этого?

Любуясь ее движениями и голосом, я вдруг стал чувствовать удовольствие от того, что она не в ладах живет с мужем. «Хорошо бы сойтись с ней!» — мелькнуло у меня в мыслях, и эта безжалостная мысль остановилась в моем мозгу, не покидала меня во всю дорогу и улыбалась мне все шире и шире...

Пройдя версты полторы от мукомольни, нужно поворачивать к городу влево мимо кладбища. У поворота на углу кладбища стоит каменная ветряная мельница, а возле нее небольшая хатка, в которой живет мельник. Миновали мы мельницу и хатку, повернули влево и дошли до ворот кладбища. Тут Кисочка остановилась и сказала:

— Я вернусь, Николай Анастасьич! Вы идите себе с богом, а я сама вернусь. Мне не страшно.

— Ну вот еще! — испугался я. — Коли идти, так идти...

— Я напрасно погорячилась... Все ведь из-за пустяка вышло. Вы своими разговорами напомнили мне прошлое, навели меня на разные мысли... Я была грустна и хотела плакать, а муж при офицере сказал мне дерзость, ну я и не выдержала... И зачем мне идти в город к матери? Разве от этого я стану счастливее? Надо вернуться... А впрочем... пойдемте! — сказала Кисочка и засмеялась. — Все равно!

Я помнил, что на кладбищенских воротах есть надпись: «Грядет час, в онь же вси сущие во гробех услышат глас сына божия», отлично знал, что рано или поздно настанет время, когда и я, и Кисочка, и ее муж, и офицер в белом кителе будем лежать за оградой под темными деревьями, знал, что рядом со мной идет несчастный, оскорбленный человек, — все это я сознавал ясно, но в то же время меня волновал тяжелый, неприятный страх, что Кисочка вернется и что я не сумею сказать

ей то, что нужно. Никогда в другое время в моей голове мысли высшего порядка не переплетались так тесно с самой низкой, животной прозой, как в эту ночь... Ужасно!

Недалеко от кладбища мы нашли извозчика. Доехав до Большой улицы, где жила Кисочкина мать, мы отпустили извозчика и пошли по тротуару. Кисочка все время молчала, а я глядел на нее и злился на себя: «Что же ты не начинаешь? Пора!» В двадцати шагах от гостиницы, где я жил, Кисочка остановилась около фонаря и заплакала.

— Николай Анастасьич! — сказала она, плача, смеясь и глядя мне в лицо мокрыми, блестящими глазами. — Я вашего участия никогда не забуду... Какой вы хороший! И все вы такие молодцы! Честные, великодушные, сердечные, умные... Ах, как это хорошо!

Она видела во мне интеллигентного и передового во всех отношениях человека, и на ее мокром, смеющемся лице, рядом с умилением и восторгом, которые возбуждала в ней моя особа, была написана скорбь, что она редко видит таких людей и что бог не дал ей счастья быть женою одного из них. Она бормотала: «Ах, как это хорошо!» Детская радость на лице, слезы, кроткая улыбка, мягкие волосы, выбившиеся из-под платка, и самый платок, небрежно накинутый на голову, при свете фонаря напомнили мне прежнюю Кисочку, которую хотелось погладить, как кошку...

Я не выдержал и стал гладить ее волосы, плечи, руки...

— Кисочка, ну что ты хочешь? — забормотал я. — Хочешь, чтобы я с тобой на край света? Я увезу тебя из этой ямы и дам тебе счастье. Я тебя люблю... Поедем, моя прелесть? Да? Хорошо?

По лицу Кисочки разлилось недоумение. Она отступила от фонаря и, ошеломленная, поглядела на меня большими глазами. Я крепко схватил ее за руку, стал осыпать поцелуями ее лицо, шею, плечи и продолжал клясться и давать обещания. В любовных делах клятвы и обещания составляют почти физиологическую необходимость. Без них не обойдешься. Иной раз знаешь, что лжешь и что обещания не нужны, а все-таки клянешься и обещаешь. Ошеломленная Кисочка все пятилась назад и глядела на меня большими глазами...

— Не нужно! Не нужно! — забормотала она, отстраняя меня руками.

Я крепко обнял ее. Она вдруг истерично заплакала, и лицо ее приняло такое же бессмысленное, тупое выражение, какое я видел у нее в беседке, когда зажигал спички... Не спрашивая ее согласия, мешая ей говорить, я насильно потащил ее к себе в гостиницу... Она была как в столбняке и не шла, но я взял ее под руку и почти понес... Помню, когда мы поднимались вверх по лестнице, какая-то фигура с красным околышем удивленно поглядела на меня и поклонилась Кисочке...

Ананьев покраснел и умолк. Он молча прошелся около стола, досадливо почесал себе затылок и несколько раз судорожно пожал плечами и лопатками от холода, который пробегал по его большой спине. Ему уж было стыдно и тяжело вспоминать, и он боролся с собой...

— Нехорошо! — сказал он, выпивая стакан вина и встряхивая головой. — Говорят, что всякий раз во вступительной лекции по женским болезням советуют студентам-медикам, прежде чем раздевать и ощупывать больную женщину, вспоминать, что у каждого из них есть мать, сестра, невеста... Этот совет годился бы не для одних только медиков, но для всех, кому приходится так или иначе сталкиваться в жизни с женщинами. Теперь, когда у меня есть жена и дочка, ах, как я понимаю этот совет! Как понимаю, боже мой! Однако слушайте, что дальше... Ставши моей любовницей, Кисочка взглянула на дело иначе, чем я. Прежде всего она полюбила страстно и глубоко. То, что для меня составляло обыкновенный любовный экспромт, для нее было целым переворотом в жизни. Помню, мне казалось, что она сошла с ума. Счастливая первый раз в жизни, помолодевшая лет на пять, с вдохновенным, восторженным лицом, не зная, куда деваться от счастья, она то смеялась, то плакала и не переставала мечтать вслух о том, как завтра мы поедем на Кавказ, оттуда осенью в Петербург, как будем потом жить...

— А насчет мужа ты не беспокойся! — успокоивала она меня. — Он обязан дать мне развод. Всему городу известно, что он живет со старшей Костович. Мы получим развод и повенчаемся.

Женщины, когда любят, климатизируются и привыкают к людям быстро, как кошки. Побыла Кисочка у меня в номере часа полтора, а уж чувствовала себя в нем, как дома, и распоряжалась моим добром, как своим собственным. Она укладывала в чемодан мои вещи, журила меня за то, что я не вешаю на гвоздь свое новое дорогое пальто, а бросаю его на стул, как тряпку, и прочее.

Я глядел на нее, слушал и чувствовал усталость и досаду. Меня немножко коробило от мысли, что порядочная, честная и страдающая женщина так легко, в какие-нибудь три-четыре часа, сделалась любовницей первого встречного. Это уж мне, как порядочному человеку, видите ли, не нравилось. Потом, на меня еще неприятно действовало то, что женщины вроде Кисочки неглубоки и несерьезны, слишком любят жизнь и даже такой, в сущности, пустяк, как любовь к мужчине, возводят на степень счастья, страдания, жизненного переворота... К тому же теперь, когда я был сыт, мне было досадно на себя, что я сглупил и связался с женщиной, которую поневоле придется обмануть... А я, надо заметить, несмотря на свою непорядочность, терпеть не мог лгать.

Помню, Кисочка села у моих ног, положила голову мне на колени и, глядя на меня блестящими, любящими глазами, спросила:

— Коля, ты меня любишь? Очень? Очень?

И засмеялась от счастья... Это показалось мне сантиментально, приторно и неумно, а между тем я находился уже в таком настроении, когда во всем искал прежде всего «глубины мысли».

— Кисочка, ты бы ушла домой, — сказал я, — а то твои родные, чего доброго, хватятся тебя и будут искать по городу. Да и неловко, что ты к матери придешь под утро...

Кисочка согласилась со мною. На прощанье мы условились, что завтра в полдень я увижусь с нею в городском саду, а послезавтра мы вместе поедем в Пятигорск. Я вышел провожать ее на улицу и, помню, нежно и искренне ласкал ее дорогой. Была минута, когда мне вдруг стало невыносимо жаль, что она так беззаветно верит мне, и я порешил было взять ее с собой в Пятигорск, но, вспомнив, что у меня в чемодане только

шестьсот рублей и что осенью развязаться с нею будет гораздо трудней, чем теперь, я поспешил заглушить свою жалость.

Мы пришли к дому, где жила Кисочкина мать. Я дернул за звонок. Когда послышались за дверью шаги, Кисочка вдруг сделала серьезное лицо, взглянула на небо и несколько раз торопливо перекрестила меня, как ребенка, потом схватила мою руку и прижала к своим губам.

— До завтра! — проговорила она и исчезла за дверью.

Я перешел на противоположный тротуар и отсюда поглядел на дом. Сначала за окнами было темно, потом в одном из окон мелькнул слабый синеватый огонек только что зажженной свечки; огонек вырос, пустил от себя лучи, и я увидел, как вместе с ним по комнатам задвигались какие-то тени.

«Не ждали!» — подумал я.

Вернувшись к себе в номер, я разделся, выпил сантуринского, закусил свежей зернистой икрой, которую купил днем на базаре, не спеша лег в постель и уснул крепким, безмятежным сном туриста.

Утром проснулся я с головною болью и в дурном расположении духа. Что-то беспокоило меня.

«В чем дело? — спрашивал я себя, желая объяснить свое беспокойство. — Что тревожит меня?»

И свое беспокойство я объяснил боязнью, что сейчас, пожалуй, придет ко мне Кисочка, помешает мне уехать и я должен буду лгать и ломаться перед ней. Я быстро оделся, уложил свои вещи и вышел из гостиницы, приказав швейцару доставить мой багаж на вокзал к семи часам вечера. Весь день пробыл я у одного приятеля-доктора, а вечером уж выехал из города. Как видите, мое мышление не помешало мне удариться в подлое, изменническое бегство...

Все время, пока я сидел у приятеля и ехал потом на вокзал, меня мучило беспокойство. Мне казалось, что я боюсь встречи с Кисочкой и скандала. На вокзале я нарочно просидел в уборной до второго звонка, а когда пробирался к своему вагону, меня давило такое чувство, как будто весь я от головы до ног был обложен краденными вещами. С каким нетерпением и страхом я ждал третьего звонка!

Но вот раздался спасительный третий звонок, поезд тронулся; миновали мы тюрьму, казармы, выехали в поле, а беспокойство, к великому моему удивлению, все еще не оставляло меня, и все еще я чувствовал себя вором, которому страстно хочется бежать. Что за странность? Чтобы рассеяться и успокоить себя, я стал глядеть в окно. Поезд шел по берегу. Море было гладко, и в него весело и спокойно гляделось бирюзовое небо, почти наполовину выкрашенное в нежный, золотисто-багряный цвет заката. Кое-где на нем чернели рыбацкие лодочки и плоты. Город чистенький и красивый, как игрушка, стоял на высоком берегу и уж подергивался вечерним туманом. Золотые главы его церквей, окна и зелень отражали в себе заходившее солнце, горели и таяли, как золото, которое плавится... Запах поля мешался с нежною сыростью, веявшей с моря.

Поезд летел быстро. Слышался смех пассажиров и кондукторов. Всем было весело и легко, а мое непонятное беспокойство все росло и росло... Я глядел на легкий туман, покрывавший город, и мне представлялось, как в этом тумане около церквей и домов, с бессмысленным, тупым лицом мечется женщина, ищет меня и голосом девочки или нараспев, как хохлацкая актриса, стонет: «А, боже мой, боже мой!» Я вспоминал ее серьезное лицо и большие озабоченные глаза, когда она вчера крестила меня, как родного, и машинально оглядывал свою руку, которую она вчера целовала.

«Влюблен я, что ли?» — спрашивал я себя, почесывая руку.

Только с наступлением ночи, когда пассажиры спали и я один на один остался со своею совестью, мне стало понятно то, чего я никак не мог понять раньше. В вагонных сумерках стоял передо мной образ Кисочки, не отходил от меня, и я уже ясно сознавал, что мною совершено зло, равносильное убийству. Меня мучила совесть. Чтобы заглушить это невыносимое чувство, я уверял себя, что все вздор и суета, что я и Кисочка умрем и сгнием, что ее горе ничто в сравнении со смертью, и так далее и так далее... Что в конце концов свободной воли нет и что я, стало быть, не виноват; но все эти доводы только раздражали меня и как-то особенно быстро стушевывались среди других мыслей. В руке, которую поцеловала Кисочка, было ощущение тоски... Я то ло-

жился, то вставал, пил на станциях водку, насильно ел бутерброды, опять принимался уверять себя, что жизнь не имеет смысла, но ничто не помогало. В моей голове кипела странная и, если хотите, смешная работа. Самые разнообразные мысли в беспорядке громоздились одна на другую, путались, мешали друг другу, а я, мыслитель, уставясь в землю лбом, ничего не понимал и никак не мог ориентироваться в этой куче нужных и ненужных мыслей. Оказалось, что я, мыслитель, не усвоил себе еще даже техники мышления и что распоряжаться своей собственной головой я так же не умел, как починять часы. Первый раз в жизни я мыслил усердно и напряженно, и это казалось мне такой диковиной, что я думал: «Я схожу с ума!» Чей мозг работает не всегда, а только в тяжелые минуты, тому часто приходит мысль о сумасшествии.

Промаялся я таким образом ночь, день, потом еще ночь, и, убедившись, как мало помогает мне мое мышление, я прозрел и понял наконец, что я за птица. Я понял, что мысли мои не стоят гроша медного и что до встречи с Кисочкой я еще не начинал мыслить и даже понятия не имел о том, что значит серьезная мысль; теперь, настрадавшись, я понял, что у меня не было ни убеждений, ни определенного нравственного кодекса, ни сердца, ни рассудка; все умственное и нравственное богатство мое состояло из специальных знаний, обрывков, ненужных воспоминаний, чужих мыслей — и только, а психические движения мои были несложны, просты и азбучны, как у якута... Если я не любил говорить ложь, не крал, не убивал и вообще не делал очевидно грубых ошибок, то это не в силу своих убеждений, — их у меня не было, — а просто только потому, что я по рукам и ногам был связан нянюшкиными сказками и прописной моралью, которые вошли мне в плоть и кровь и которые незаметно для меня руководили мною в жизни, хотя я и считал их нелепостью...

Я понял, что я не мыслитель, не философ, а просто виртуоз. Бог дал мне здоровый, сильный русский мозг с задатками таланта. И вот представьте себе этот мозг на двадцать шестом году жизни, не дрессированный, совершенно свободный от постоя, не обремененный никакою кладью, а только слегка запылившийся кое-какими знаниями по инженерной части; он молод и физиологи-

чески алчет работы, ищет ее, и вдруг совершенно случайным путем западает в него извне красивая, сочная мысль о бесцельной жизни и загробных потемках. Он жадно втягивает ее в себя, дает в ее распоряжение весь свой простор и начинает играть с нею на всякие лады, как кошка с мышкой. У мозга ни эрудиции, ни системы, но это не беда. Он собственными, природными силами на манер самоучки справляется с широкой мыслью, и не проходит месяца, как уж обладатель мозга из одного картофеля готовит сотню вкусных блюд и мнит себя мыслителем...

Эту виртуозность, игру в серьезную мысль, наше поколение внесло в науку, в литературу, в политику и всюду, куда только оно не ленилось идти, а с виртуозностью вносило оно свой холод, скуку, односторонность и, как мне кажется, уже успело воспитать в массе новое, до сих пор небывалое отношение к серьезной мысли.

Свою ненормальность и круглое невежество я понял и оценил благодаря несчастью. Нормальное же мое мышление, как мне теперь кажется, началось только с того времени, когда я принялся за азбуку, то есть когда совесть погнала меня назад в N., и я, не мудрствуя лукаво, покаялся перед Кисочкой, вымолил у нее, как мальчишка, прощение и поплакал вместе с ней...

Ананьев вкратце описал свое последнее свидание с Кисочкой и умолк.

— Тэк-с... — процедил сквозь зубы студент, когда инженер кончил. — Такие-то дела на этом свете!

Лицо его по-прежнему выражало мозговую лень, и, по-видимому, рассказ Ананьева не тронул его нисколько. Только когда инженер, отдохнувши минутку, опять принялся развивать свою мысль и повторять то, что уже было сказано им вначале, студент раздраженно поморщился, встал из-за стола и отошел к своей кровати. Он постлал постель и стал раздеваться.

— У вас теперь такой вид, как будто вы в самом деле кого-нибудь убедили! — сказал он раздраженно.

— Я кого-нибудь убедил? — спросил инженер. — Душа моя, да разве я претендую на это? Бог с вами! Убедить вас невозможно! Дойти до убеждения вы можете только путем личного опыта и страданий!..

— И потом, удивительная логика! — проворчал студент, надевая ночную сорочку. — Мысли, которых вы

так не любите, для молодых гибельны, для стариков же, как вы говорите, составляют норму. Точно речь идет о сединах... Откуда эта старческая привилегия? На чем она основана? Уж коли эти мысли — яд, так яд для всех одинаково.

— Э, нет, душа моя, не говорите! — сказал инженер и хитро подмигнул глазом. — Не говорите! Старики, во-первых, не виртуозы. Их пессимизм является к ним не извне, не случайно, а из глубины собственного мозга и уж после того, как они проштудируют всяких Гегелей и Кантов, настрадаются, наделают тьму ошибок, одним словом, когда пройдут всю лестницу от низу до верху. Их пессимизм имеет за собой и личный опыт и прочное философское развитие. Во-вторых, у стариков мыслителей пессимизм составляет не шалтай-болтай, как у нас с вами, а мировую боль, страдание; он у них имеет христианскую подкладку, потому что вытекает из любви к человеку и из мыслей о человеке, и совсем лишен того эгоизма, какой замечается у виртуозов. Вы презираете жизнь за то, что ее смысл и цель скрыты именно от вас, и боитесь вы только своей собственной смерти, настоящий же мыслитель страдает, что истина скрыта от всех, и боится за всех людей. Например, тут недалече живет казенный лесничий Иван Александрыч. Хороший такой старичок. Когда-то он где-то был учителем, пописывал что-то, черт его знает, кем он был, но только умница замечательная и по части философии собаку съел. Читал он много и теперь постоянно читает. Ну-с, как-то недавно встретились мы с ним на Грузовском участке... А там как раз в это время клали шпалы и рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александрычу, как не специалисту, она показалась чем-то вроде фокуса. Для того, чтобы уложить шпалу и фиксировать к ней рельс, опытному мастеру нужно меньше минуты. Рабочие были в духе и работали действительно ловко и быстро; особенно один подлец необыкновенно ловко попадал молотком в головку гвоздя и вбивал его с одного размаха, а в рукоятке-то молотка чуть ли не сажень и каждый гвоздь в фут длиною. Иван Александрыч долго глядел на рабочих, умилился и сказал мне со слезами на глазах: «Как жаль, что эти замечательные люди умрут!» Такой пессимизм я понимаю...

— Все это ничего не доказывает и не объясняет, — сказал студент, укрываясь простыней, — и все это одно только толчение воды в ступе! Никто ничего не знает, и ничего нельзя доказать словами.

Он выглянул из-под простыни, приподнял голову и, раздраженно морщась, проговорил быстро:

— Надо быть очень наивным, чтобы верить и придавать решающее значение человеческой речи и логике. Словами можно доказать и опровергнуть все, что угодно, и скоро люди усовершенствуют технику языка до такой степени, что будут доказывать математически верно, что дважды два — семь. Я люблю слушать и читать, но верить, покорнейше благодарю, я не умею и не хочу. Я поверю одному только богу, а вам, хоть бы вы говорили мне до второго пришествия и обольстили еще пятьсот Кисочек, я поверю, разве только когда сойду с ума... Спокойной ночи!

Студент спрятал голову под простыню и отвернулся лицом к стенке, желая этим движением дать понять, что он уже не желает ни слушать, ни говорить. На этом и кончился спор.

Прежде чем лечь спать, я и инженер вышли из барака, и я еще раз видел огни.

— Мы утомили вас своей болтовней! — сказал Ананьев, зевая и глядя на небо. — Ну, да что ж, батенька! Только и удовольствия в этой скучище, что вот вина выпьешь да пофилософствуешь... Экая насыпь, господи! — умилился он, когда мы подошли к насыпи. — Это не насыпь, а Арарат-гора.

Он помолчал немного и сказал:

— Барону эти огни напоминают амалекитян, а мне кажется, что они похожи на человеческие мысли... Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке, тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок, и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то — далеко за старостью... Однако довольно философствовать! Пора байбай...

Когда мы вернулись в барак, инженер стал упрашивать меня, чтобы я лег непременно на его кровать.

— Ну, пожалуйста! — говорил он умоляюще, прижимая обе руки к сердцу. — Прошу вас! А насчет меня

не беспокойтесь. Я могу спать, где угодно, да и еще нескоро лягу... Сделайте такое одолжение!

Я согласился, разделся и лег, а он сел за стол и принялся за чертежи.

— Нашему брату, батенька, некогда спать, — говорил он вполголоса, когда я лег и закрыл глаза. — У кого жена да пара ребят, тому не до спанья. Теперь корми и одевай да на будущее припасай. А у меня их двое: сынишка и дочка... У мальчишки-подлеца хорошая рожа... Шести лет еще нет, а способности, доложу вам, необыкновенные... Тут у меня где-то их карточки были... Эх, деточки мои, деточки!

Он пошарил в бумагах, нашел карточки и стал глядеть на них. Я уснул.

Разбудили меня лай Азорки и громкие голоса. Фон Штенберг, в одном нижнем белье, босой и с всклоченными волосами, стоял на пороге двери и с кем-то громко разговаривал. Светало... Хмурый, синий рассвет гляделся в дверь, в окна и в щели барака и слабо освещал мою кровать, стол с бумагами и Ананьева. Растянувшись на полу на бурке, выпятив свою мясистую волосатую грудь и с кожаной подушкой под головой, инженер спал и храпел так громко, что я от души пожалел студента, которому приходится спать с ним каждую ночь.

— С какой же стати мы будем принимать? — кричал фон Штенберг. — Это нас не касается! Поезжай к инженеру Чалисову! От кого эти котлы?

— От Никитина... — отвечал угрюмо чей-то бас.

— Ну, так вот и поезжай к Чалисову... Это не по нашей части. Какого ж черта стоишь? Поезжай!

— Ваше благородие, мы уж были у господина Чалисова! — сказал бас еще угрюмее. — Вчера цельный день их искали по линии, и в ихнем бараке нам так сказали, что они на Дымковский участок уехали. Примите, сделайте милость! До каких же пор нам возить их?! Возим-возим по линии, и конца не видать...

— Что там? — прохрипел Ананьев, просыпаясь и быстро поднимая голову.

— От Никитина котлы привезли, — сказал студент, — и просят, чтобы мы их приняли. А какое нам дело принимать?

— Гоните их в шею!

— Сделайте милость, ваше благородие, доведите до порядка! Лошади два дня не евши и хозяин, чай, серчает. Назад нам везть, что ли? Железная дорога котлы заказывала, стало быть, она и принять должна...

— Да пойми же, дубина, что это не наше дело! Поезжай к Чалисову!

— Что такое? Кто там? — прохрипел опять Ананьев. — А черт их возьми совсем! — выбранился он, поднимаясь и идя к двери. — Что такое?

Я оделся и минуты через две вышел из барака. Ананьев и студент, оба в нижнем белье и босые, что-то горячо и нетерпеливо объясняли мужику, который стоял перед ними без шапки и с кнутом в руке, и по-видимому, не понимал их. На лицах обоих была написана самая будничная забота.

— На что мне сдались твои котлы? — кричал Ананьев. — На голову я себе их надену, что ли? Если ты не застал Чалисова, то поищи его помощника, а нас оставь в покое!

Увидев меня, студент, вероятно, вспомнил разговор, который был ночью, и на сонном лице его исчезла забота и показалось выражение мозговой лени. Он махнул рукой на мужика и, о чем-то думая, отошел в сторону.

Утро было пасмурное. По линии, где ночью светились огни, копошились только что проснувшиеся рабочие. Слышались голоса и скрип тачек. Начинался рабочий день. Одна лошаденка в веревочной сбруе уже плелась на насыпь и, изо всех сил вытягивая шею, тащила за собою телегу с песком...

Я стал прощаться... Многое было сказано ночью, но я не увозил с собою ни одного решенного вопроса, и от всего разговора теперь утром у меня в памяти, как на фильтре, оставались только огни и образ Кисочки. Севши на лошадь, я в последний раз взглянул на студента и Ананьева, на истеричную собаку с мутными, точно пьяными глазами, на рабочих, мелькавших в утреннем тумане, на насыпь, на лошаденку, вытягивающую шею, и подумал: «Ничего не разберешь на этом свете!»

А когда я ударил по лошади и поскакал вдоль линии и когда немного погодя я видел перед собою только бес-

конечную, угрюмую равнину и пасмурное, холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: «Да, ничего не поймешь на этом свете!»

Стало восходить солнце...

*1888*

## НЕПРИЯТНОСТЬ

Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет тридцати пяти, худосочный и нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике и горячей привязанностью к так называемым «бытовым вопросам», как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним, по обыкновению, следовал его фельдшер Михаил Захарович, пожилой человек, с жирным лицом, плоскими сальными волосами и с серьгой в ухе.

Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась в складки и упрямо задиралась вверх, несмотря на то, что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черном длинном сюртуке, на панталонах и даже на галстуке кое-где белел пух... Очевидно, фельдшер спал всю ночь не раздеваясь, и, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежа стесняла его.

Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное — напряженное усилие над самим собой и желание замаскировать свое состояние, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян, пьян тяжело, со вчерашнего... Он пережи-

вал мучительное состояние «перегара», страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой.

Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, вы пьяны!» Ему вдруг стали противны жилетка, длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда:

— Давали Герасиму молока?

— Давали-с... — ответил Михаил Захарыч тоже мягко.

Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась температура, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить, но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь:

— Отчего температура не записана?

— Нет, записана-с! — сказал мягко Михаил Захарыч, но, поглядев в листок и убедившись, что температура в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал: — Не знаю-с, это, должно быть, Надежда Осиповна...

— И вчерашняя вечерняя не записана! — продолжал доктор. — Только пьянствуете, черт вас возьми! И сейчас вы пьяны, как сапожник! Где Надежда Осиповна?

Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сделано и что все так же топорщится, мнется и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера, и ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но он сделал над собою усилие и продолжал обход.

За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся рукой.

«Это вчера они гуляли на именинах... — думал он, медленно снимая повязку. — Погодите, я покажу вам именины! Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу».

Он нащупал на вспухшей, багровой руке гнойник и сказал:

— Скальпель!

Михаил Захарыч, старавшийся показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель.

— Не этот! Дайте из новых, — сказал доктор.

Фельдшер засеменил к стулу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом, и стал торопливо рыться в нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по стулу, шуршал, что-то раза два уронил, а доктор сидел, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шепота и шороха.

— Скоро же? — спросил он. — Вы, должно быть, их внизу забыли...

Фельдшер подбежал к нему и подал два скальпеля, причем не уберегся и дыхнул в его сторону.

— Это не те! — сказал раздраженно доктор. — Я говорю вам русским языком, дайте из новых. Впрочем, ступайте и проспитесь, от вас несет, как из кабака! Вы невменяемы!

— Каких же вам еще ножей нужно? — спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами.

Ему было досадно на себя и стыдно, что на него в упор глядят больные и сиделки, и, чтобы показать, что ему не стыдно, он принужденно усмехнулся и повторил:

— Каких же вам еще ножей нужно?

Доктор почувствовал на глазах слезы и дрожь в пальцах. Он сделал над собой усилие и проговорил дрожащим голосом:

— Ступайте, проспитесь! Я не желаю говорить с пьяным...

— Вы можете только за дело с меня взыскивать, — продолжал фельдшер, — а ежели я, положим, выпивши, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я служу? Что ж вам еще! Ведь служу?

Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие оттого, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену, покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз, но, увидев около ненавистного лица бледные, встрево-

женные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты.

Во дворе встретилась ему шедшая в больницу Надежда Осиповна, девица лет двадцати семи, с бледно-желтым лицом и с распущенными волосами. Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле, и от этого шаги ее были очень мелки и часты. Она шуршала платьем, подергивала плечами в такт каждому своему шагу и покачивала головой так, как будто напевала мысленно что-то веселенькое.

«Ага, русалка!» — подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнят русалкой, и ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелкошагающую, влюбленную в себя франтиху.

— Где это вы пропадаете? — крикнул он, поравнявшись с ней. — Отчего вы не в больнице? Температура не записана, везде беспорядок, фельдшер пьян, вы спите до двенадцати часов!.. Извольте искать себе другое место! Здесь вы больше не служите!

Придя на квартиру, доктор сорвал с себя белый фартук и полотенце, которым был подпоясан, со злобой швырнул то и другое в угол и заходил по кабинету.

— Боже, что за люди, что за люди! — проговорил он. — Это не помощники, а враги дела! Нет сил служить больше! Не могу! Я уйду!

Сердце его сильно билось, он весь дрожал и хотел плакать, и, чтобы избавиться от этих ощущений, он начал успокаивать себя мыслями о том, как он прав и как хорошо сделал, что ударил фельдшера. Прежде всего гадко то, думал доктор, что фельдшер поступил в больницу не просто, а по протекции своей тетки, служащей в нянюшках у председателя земской управы (противно бывает глядеть на эту влиятельную тетушку, когда она, приезжая лечиться, держит себя в больнице, как дома, и претендует на то, чтобы ее принимали не в очередь). Дисциплинирован фельдшер плохо, знает мало и совсем не понимает того, что знает. Он нетрезв, дерзок, нечистоплотен, берет с больных взятки и тайком продает земские лекарства. Всем также известно, что он занимается практикой и лечит у молодых мещан секретные болезни, причем употребляет какие-то собственные средства. Добро бы это был просто шарлатан, каких много, но это шарлатан убежденный и втайне

протестующий. Тайком от доктора он ставит приходящим больным банки и пускает им кровь, на операциях присутствует с неумытыми руками, ковыряет в ранах всегда грязным зондом — этого достаточно, чтобы понять, как глубоко и храбро презирает он докторскую медицину с ее ученостью и педантизмом.

Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, доктор сел за стол и написал письмо к председателю управы: «Уважаемый Лев Трофимович! Если, по получении этого письма, ваша управа не уволит фельдшера Смирновского и не предоставит мне права самому выбирать себе помощников, то я сочту себя вынужденным (не без сожаления, конечно) просить вас не считать уже меня более врачом N-ской больницы и озаботиться приисканием мне преемника. Почтение Любовь Федоровне и Юсу. Уважающий Г. Овчинников». Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно коротко и недостаточно холодно. К тому же почтение Любовь Федоровне и Юсу (так дразнили младшего сына председателя) в деловом, официальном письме было более чем неуместно.

«Какой тут к черту Юс?» — подумал доктор, изорвал письмо и стал придумывать другое. «Милостивый государь...» — думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами, которые, покачиваясь и спотыкаясь, спешили по дороге, должно быть, к пруду; один утенок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк; другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился... Далеко около забора в кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей... Слышались голоса... Кучер Зот с уздечкой в руке и больничный мужик Мануйло в грязном фартуке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись.

«Это они о том, что я фельдшера ударил... — думал доктор. — Сегодня уже весь уезд будет знать об этом скандале... Итак: «Милостивый государь! Если ваша управа не уволит...»

Доктор отлично знал, что управа ни в каком случае не променяет его на фельдшера и скорее согласится не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишиться такого превосходного человека, как доктор Ов-

чинников. Наверное, тотчас же по получении письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет: «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое? Христос с вами? Зачем? С какой стати? Где он? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать! Чтоб завтра же его, подлеца, здесь не было!» Потом он пообедает с доктором, а после обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вверх, закроет лицо газетой и захрапит; выспавшись, напьется чаю и увезет к себе доктора ночевать. И вся история кончится тем, что и фельдшер останется в больнице и доктор не подаст в отставку.

Доктору же в глубине души хотелось не такой развязки. Ему хотелось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала и чтобы управа, невзирая на его восьмилетнюю добросовестную службу, без разговоров и даже с удовольствием приняла бы его отставку. Он мечтал о том, как он будет уезжать из больницы, к которой привык, как напишет письмо в газету «Врач», как товарищи поднесут ему сочувственный адрес...

На дороге показалась русалка. Мелко шагая и шурша платьем, она подошла к окну и спросила:

— Григорий Иваныч, сами будете принимать больных или без вас прикажете?

А глаза ее говорили: «Ты погорячился, но теперь успокоился, и тебе стыдно, но я великодушна и не замечаю этого».

— Хорошо, я сейчас, — сказал доктор.

Он опять надел фартук, подпоясался полотенцем и пошел в больницу.

«Нехорошо, что я убежал, когда ударил его... — думал он дорогой. — Вышло, как будто я сконфузился или испугался... Гимназиста разыграл... Очень нехорошо!»

Ему казалось, что когда он войдет в палату, то больным будет неловко глядеть на него и ему самому станет совестно, но когда он вошел, больные покойно лежали на кроватях и едва обратили на него внимание. Лицо чахоточного Герасима выражало совершенное равнодушие и как бы говорило: «Он тебе не потрафил, ты его маненько поучил... Без этого, батюшка, нельзя».

Доктор вскрыл на багровой руке два гнойника и наложил повязку, потом отправился в женскую половину,

где сделал одной бабе операцию в глазу, и все время за ним ходила русалка и помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось и все обстояло благополучно. После обхода палат началась приемка приходящих больных. В маленькой приемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сесть на подоконник и немножко нагнуться, чтобы увидеть на аршин от себя молодую траву. Вчера вечером был сильный ливень с грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые елки, одетые в пышные, зеленые платья, за ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез видно голубое, бездонное небо. Когда выглянешь в окно, то скворцы, прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна свои глупые носы и решают: испугаться или нет? И, решив испугаться, они один за другим с веселым криком, точно потешаясь над доктором, не умеющим летать, несутся к верхушкам берез...

Сквозь тяжелый запах йодоформа чувствуется свежесть и аромат весеннего дня... Хорошо дышать!

— Анна Спиридонова! — вызвал доктор.

В приемную вошла молодая баба в красном платье и помолилась на образ.

— Что болит? — спросил доктор.

Баба недоверчиво покосилась на дверь, в которую вошла, и на дверцу, ведущую в аптеку, подошла поближе к доктору и шепнула:

— Детей нету!

— Кто еще не записывался? — крикнула в аптеке русалка. — Подходите записываться!

— «Он уже тем скотина, — думал доктор, исследуя бабу, — что заставил меня драться первый раз в жизни. Я отродясь не дрался».

Анна Спиридонова ушла. После нее пришел старик с дурной болезнью, потом баба с тремя ребятишками в чесотке, и работа закипела. Фельдшер не показывался. За дверцей в аптеке, шурша платьем и звеня посудой, весело щебетала русалка; то и дело она вхо-

дила в приемную, чтобы помочь на операции или взять рецепты, и все с таким видом, как будто все было благополучно.

«Она рада, что я ударил фельдшера, — думал доктор, прислушиваясь к голосу акушерки. — Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят. И сиделки, кажется, рады... Как это противно!»

В самый разгар приемки ему стало казаться, что и акушерка, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушное и веселое выражение. Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали вид, что не понимают. И он, желая показать им, что ему вовсе не стыдно, кричал сердито:

— Эй вы, там! Затворяйте дверь, а то сквозит!

А ему уж было стыдно и тяжело. Приняв сорок пять больных, он не спеша вышел из больницы. Акушерка, уже успевшая побывать у себя на квартире и надеть на плечи ярко-пунцовый платок, с папироской в зубах и цветком в распущенных волосах, спешила куда-то со двора, вероятно, на практику или в гости. На пороге больницы сидели больные и молча грелись на солнышке. Скворцы по-прежнему шумели и гонялись за жуками. Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша в фортепьяно, резко выделялись и никуда не годились только две жизни: фельдшера и его. Фельдшер теперь, наверное, лег, чтобы проспаться, но никак не может уснуть от мысли, что он виноват, оскорблен и потерял место. Положение его мучительно. Доктор же, ранее никогда никого не бивший, чувствовал себя так, как будто навсегда потерял невинность. Он уже не обвинял фельдшера и не оправдывал себя, а только недоумевал: как это могло случиться, что он, порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить? Придя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диван, лицом к спинке, и стал думать таким образом:

«Он человек нехороший, вредный для дела; за три года, пока он служит, у меня накипело в душе, но тем не менее мой поступок ничем не может быть оправдан. Я воспользовался правом сильного. Он мой подчиненный,

виноват и к тому же пьян, а я его начальник, прав и трезв... Значит, я сильнее. Во-вторых, я ударил его при людях, которые считают меня авторитетом, и таким образом я подал им отвратительный пример...»

Доктора позвали обедать... Он съел несколько ложек щей и, вставши из-за стола, опять лег на диван.

«Что же теперь делать? — продолжал он думать. — Надо возможно скорее дать ему удовлетворение... Но каким образом? Дуэли он, как практический человек, считает глупостью или не понимает их. Если в той самой палате, при сиделках и больных, попросить у него извинения, то это извинение удовлетворит только меня, а не его; он, человек дурной, поймет мое извинение как трусость и боязнь, что он пожалуется на меня начальству. К тому же это мое извинение вконец расшатает больничную дисциплину. Предложить ему денег? Нет, это безнравственно и похоже на подкуп. Если теперь, положим, обратиться за разрешением вопроса к нашему прямому начальству, то есть к управе... Она могла бы объявить мне выговор или уволить меня... Но этого она не сделает. Да и не совсем удобно вмешивать в интимные дела больницы управу, которая кстати же не имеет на это никакого права...»

Часа через три после обеда доктор шел к пруду купаться и думал:

«А не поступить ли мне так, как поступают все при подобных обстоятельствах? То есть пусть он подаст на меня в суд. Я безусловно виноват, оправдываться не стану, и мировой присудит меня к аресту. Таким образом оскорбленный будет удовлетворен, и те, которые считают меня авторитетом, увидят, что я был неправ».

Эта идея улыбнулась ему. Он обрадовался и стал думать, что вопрос решен благополучно и что более справедливого решения не может быть.

«Что ж, превосходно! — думал он, полезая в воду и глядя, как от него убегали стаи мелких, золотистых карасиков. — Пусть подает... Это для него тем более удобно, что наши служебные отношения уже порваны и одному из нас после этого скандала все равно уж нельзя оставаться в больнице...»

Вечером доктор приказал заложить шарабан, чтобы ехать к воинскому начальнику играть в винт. Когда он,

в шляпе и в пальто, совсем уже готовый в путь, стоял у себя посреди кабинета и надевал перчатки, наружная дверь со скрипом отворилась, и кто-то бесшумно вошел в переднюю.

— Кто там? — спросил доктор.

— Это я-с... — глухо ответил вошедший.

У доктора вдруг застучало сердце, и весь он похолодел от стыда и какого-то непонятного страха. Фельдшер Михаил Захарыч (это был он) тихо кашлянул и несмело вошел в кабинет. Помолчав немного, он сказал глухим, виноватым голосом:

— Простите меня, Григорий Иваныч!

Доктор растерялся и не знал, что сказать. Он понял, что фельдшер пришел к нему унижаться и просить прощения не из христианского смирения и не ради того, чтобы своим смирением уничтожить оскорбителя, а просто из расчета: «Сделаю над собой усилие, попрошу прощения, и авось меня не прогонят и не лишат куска хлеба...» Что может быть оскорбительней для человеческого достоинства?

— Простите... — повторил фельдшер.

— Послушайте... — заговорил доктор, стараясь не глядеть на него и все еще не зная, что сказать. — Послушайте... Я вас оскорбил и... должен понести наказание, то есть удовлетворить вас... Дуэлей вы не признаете... Впрочем, я сам не признаю дуэлей. Я вас оскорбил, и вы... вы можете подать на меня жалобу мировому судье, и я понесу наказание... А оставаться нам тут вдвоем нельзя... Кто-нибудь из нас, я или вы, должен выйти! («Боже мой! Я не то ему говорю! — ужаснулся доктор. — Как глупо, как глупо!») Одним словом, подавайте прошение! А служить вместе мы уже не можем!.. Я или вы... Завтра же подавайте!

Фельдшер поглядел исподлобья на доктора, и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное презрение. Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой, а теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах...

— И подам, — сказал он угрюмо и злобно.

— Да, и подавайте!

— А что ж вы думаете? Не подам? И подам... Вы не имеете права драться. Да и стыдились бы! Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный...

В груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и он закричал не своим голосом:

— Убирайтесь вон!

Фельдшер нехотя тронулся с места (ему как будто хотелось еще что-то сказать), пошел в переднюю и остановился там в раздумье. И, что-то надумав, он решительно вышел...

— Как глупо, как глупо! — бормотал доктор по уходе его. — Как все это глупо и пошло!

Он чувствовал, что вел себя сейчас с фельдшером, как мальчишка, и уж понимал, что все его мысли насчет суда не умны, не решают вопроса, а только осложняют его.

«Как глупо! — думал он, сидя в шарабане и потом играя у воинского начальника в винт. — Неужели я так мало образован и так мало знаю жизнь, что не в состоянии решить этого простого вопроса? Ну, что делать?»

На другой день утром доктор видел, как жена фельдшера садилась в повозку, чтобы куда-то ехать, и подумал: «Это она к тетушке. Пусть!»

Больница обходилась без фельдшера. Нужно было написать заявление в управу, но доктор все еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноват не он, а я». Изложить же эту мысль так, чтобы вышло не глупо и не стыдно, — для порядочного человека почти невозможно.

Дня через два или три доктору донесли, что фельдшер был с жалобой у Льва Трофимовича. Председатель не дал ему сказать ни одного слова, затопал ногами и проводил его криком: «Знаю я тебя! Вон! Не желаю слушать!» От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу и подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине и ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участки неисправно и проч. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал: «Этакий дурак»! — и ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости; чем больше глупостей делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее.

Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судьи.

«Это уж совсем глупо... — думал он, расписываясь в получении. — Глупее и придумать ничего нельзя».

И когда он в пасмурное, тихое утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно, а досадно и противно. Он злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства...

«Возьму и скажу на суде: убирайтесь вы все к черту! — злился он. — Вы все ослы, и ничего вы не понимаете!»

Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц, и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась с ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидела главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить: «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!», но он сдержал себя и, стараясь казаться покойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста, и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письмоводителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломёнковом пиджаке с оттопыренными карманами — это был письмоводитель, и фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся; фельдшер сконфузился и тоже поднялся.

— Александр Архипович еще не приходил? — спросил доктор, конфузясь.

— Нет еще. Они дома... — ответил письмоводитель.

Камера помещалась в усадьбе мирового судьи, в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша направился к дому. Александра Архиповича застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чаю; увидев гостя, он быстро придвинул к себе другой стакан, налил его и, не здороваясь, спросил:

— Вам с сахаром или без сахару?

Когда-то, очень давно, мировой служил в кавалерии; теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине действительного статского, но все еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных

привычек. У него были длинные, полицмейстерские усы, брюки с кантами, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув назад голову и уснащая речь сочным, генеральским «мнэээ...», поводил плечами и играл глазами; здороваясь или давая закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнул и сказал:

— Н-да-с... Может быть, желаете мнээ... водки выпить и закусить? Мнэ-э?

— Нет, спасибо, я сыт.

Оба чувствовали, что им не миновать разговора о больничном скандале, и обоим было неловко. Доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил, потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой:

— Послушайте, отчего вы его не прогоните?

Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку; ему вдруг стало жаль себя, и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его наконец лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал:

— Прогнать! Как вы все рассуждаете, ей-богу... Удивительно, как вы все рассуждаете! Да разве я могу его прогнать? Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин и делаю все, что хочу! Удивительно, как вы все рассуждаете! Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такие шептуны и лакеи, как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство ставит нас, врачей, ни в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья? Черт их подери, я не желаю служить, вот и все! Не желаю!

— Ну, ну, ну... Вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать...

— Предводитель изо всех сил старается доказать, что все мы нигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и боль-

ных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый Семен Алексеич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба! Да черт его возьми! Я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочие клоуны! Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба! Покорнейше вас благодарю! И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать! Этот ваш член управы Камчатский в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много йодистого калия, и рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина! Что он понимает, я вас спрашиваю? Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить?

— Но... но ведь он хам, душа моя, холуй... На него нельзя обращать внимание...

— Хам, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос! Вы вот улыбаетесь! По-вашему, все это мелочи, пустяки, но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчинок гора! Я больше не могу! Сил нет, Александр Архипыч! Еще немного, и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы...

Глаза доктора налились слезами, и голос дрогнул; он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание.

— Н-да-с, почтеннейший... — пробормотал мировой в раздумье. — С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то... (мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку)... то, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы сто человек, а хорошего не найдете... Все мерзавцы (мировой погладил себя под мышками и медленно закурил папиросу). С этим злом надо мириться. Я должен вам сказать, что-о в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков,

то есть среди двух этих крайностей — и только. Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не дошедшие до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-с в юстиции со времен царя Гороха и во все время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на своем веку видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж о-о-о-о принципах, так сказать...

«Зачем он это говорит? — подумал доктор. — Не то мы с ним говорим, что нужно».

— Вот не дальше, как в прошлую пятницу, — продолжал мировой, — мой Дюжинский учинил такую, можете себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, черт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними в камере. Как вам это понравится? Я ничего не имею против питья. Черт с тобой, пей, но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь, судите сами, выкрасть из дел какой-нибудь документ, вексель и прочее — минутное дело! И что ж вы думаете? После той оргии я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что... Ну, что ж вы поделаете со стервецом? Прогнать? Хорошо-с... А чем вы поручитесь, что другой не будет хуже?

— Да и как его прогонишь? — сказал доктор. — Прогнать человека легко только на словах... Как я прогоню и лишу его куска хлеба, если знаю, что он семейный, голодный? Куда он денется со своей семьей?

«Черт знает что, не то я говорю!» — подумал он, и ему показалось странным, что он никак не может укрепить свое сознание на какой-нибудь одной, определенной мысли или на каком-нибудь одном чувстве. «Это оттого, что я неглубок и не умею мыслить», — подумал он.

— Средний человек, как вы назвали, не надежен, — продолжал он. — Мы его гоним, браним, бьем по физиономии, но ведь надо же войти и в его положение. Он ни мужик, ни барин, ни рыба ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только двадцать пять рублей в месяц, голодная семья и подчиненность, в будущем те же

двадцать пять рублей и зависимое положение, прослужи он хоть сто лет. У него ни образования, ни собственности; читать и ходить в церковь ему некогда, нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет изо дня в день до самой смерти без надежд на лучшее, обедая впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своих детей. Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципам!

«Мы, кажется, уж социальные вопросы решаем, — подумал он. — И как нескладно, господи! Да и к чему все это?»

Послышались звонки. Кто-то въехал во двор и подкатил сначала к камере, потом к крыльцу большого дома.

— Сам приехал, — сказал мировой, поглядев в окно. — Ну, будет вам на орехи!

— А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорее... — попросил доктор. — Если можно, то рассмотрите мое дело не в очередь. Ей-богу, некогда.

— Хорошо, хорошо... Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мне это дело. Отношения ведь у вас с фельдшером, так сказать, служебные, и к тому же вы смазали его при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, не знаю хорошенько. Спросим сейчас у Льва Трофимовича.

Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками.

— Мое почтение... — сказал он задыхаясь. — Уф, батюшки! Вели-ка, судья, подать мне квасу! Смерть моя...

Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором:

— Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иваныч! Одолжили, благодарю вас! Во веки веков аминь не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, а это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал? А?

Тараща глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал:

— Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески: «Голубушка, Лев Трофимыч, так и так, мол... Такого сорта история и прочее...» Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала... Тот дурак, словно белены объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы, срам сказать, извините за выражение, затеяли черт знает что, заставили того дурака подать в суд! Срам, чистый срам! Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я, председатель, и ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет! Очень, очень вам благодарен, Григорий Иваныч!

Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь, потом подошел к окну и крикнул:

— Жигалов, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтоб сию минуту сюда шел! Нехорошо-с! — сказал он, отходя от окна. — Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам. Уж очень вы, господа, умствуете! Все норовите, как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами, а выходит у вас только одно: тень наводите...

— Вы норовите все не по-умному, а у вас-то что выходит? — спросил доктор.

— Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя осрамили и нас... Счастье ваше, что я приехал!

Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал:

— Проси сейчас у доктора прощения!

Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.

— Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений! — продолжал председатель. — Он желает, чтоб ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?

— Даю... — угрюмо пробасил фельдшер.

— Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня в один миг потеряешь место! Если что случится, не проси милости... Ну, ступай домой...

Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.

— Вот и все! — сказал председатель. — И суда никакого не нужно.

Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал:

— Блажени миротворцы... Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить... Ну, и водочки...

— Господа, это невозможно! — сказал доктор, входя в столовую, все еще красный и ломая руки. — Это... это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!

— Что же вам нужно? — огрызнулся на него председатель. — Прогнать? Извольте, я прогоню...

— Нет, не прогнать... Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни... ах, боже мой! Это мучительно!

Доктор нервно засуетился и стал искать свою шляпу и, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.

— Гадко! — повторил он.

— Душа моя, — зашептал мировой, — отчасти я вас не понимаю, так сказать... Ведь вы виноваты в этом инциденте! Хлобыстать по физиономии в конце девятнадцатого века — это, некоторым образом, как хотите, не того... Он мерзавец, но-о-о согласитесь, и вы поступили неосторожно...

— Конечно! — согласился председатель.

Подали водку и закуску. На прощанье доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро.

«Неужели, — думал он, — в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло! Как глупо! Как глупо!»

Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей, стыдно за слова, которые он

говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря, стыдно за свой не понимающий, не глубокий ум... Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы... И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось и что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось:

«Глупо, глупо, глупо...»

*1888*

## КРАСАВИЦЫ

### I

Помню, будучи еще гимназистом V или VI класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой, Донской области, в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, томительно-скучный. От жара и сухого, горячего ветра, гнавшего нам навстречу облака пыли, слипались глаза, сохло во рту; не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать, и когда дремавший возница, хохол Карпо, замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я не протестовал, не издавал ни звука и только, очнувшись от полусна, уныло и кротко поглядывал вдаль: не видать ли сквозь пыль деревни? Кормить лошадей остановились мы в большом армянском селе Бахчи-Салах у знакомого дедушке богатого армянина. Никогда в жизни я не видел ничего карикатурнее этого армянина. Представьте себе маленькую, стриженую головку с густыми низко нависшими бровями, с птичьим носом, с длинными седыми усами и с широким ртом, из которого торчит длинный черешневый чубук; головка эта неумело приклеена к тощему, горбатому туловищу, одетому в фантастический костюм: в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары; ходила эта фигура, расставя ноги и шаркая туфлями, говорила, не вынимая изо рта чубука, а держала себя с чисто армянским достоинством: не улыбалась, пучила глаза и старалась обращать на своих гостей как можно меньше внимания.

В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи и

по дороге. Помню, запыленный и изможденный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. Некрашеные деревянные стены, мебель и наохренные полы издавали запах сухого дерева, прижженного солнцем. Куда ни взглянешь, всюду мухи, мухи, мухи... Дедушка и армянин вполголоса говорили о попасе, о толоке, об овцах... Я знал, что самовар будут ставить целый час, что дедушка будет пить чай не менее часа и потом заляжет спать часа на два, на три, что у меня четверть дня уйдет на ожидание, после которого опять жара, пыль, тряские дороги. Я слушал бормотанье двух голосов, и мне начинало казаться, что армянина, шкап с посудой, мух, окна, в которые бьет горячее солнце, я вижу давно-давно и перестану их видеть в очень далеком будущем, и мною овладевала ненависть к степи, к солнцу, к мухам...

Хохлушка в платке внесла поднос с посудой, потом самовар. Армянин не спеша вышел в сени и крикнул:

— Машя! Ступай наливай чай! Где ты? Машя!

Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка лет шестнадцати, в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя посуду и наливая чай, она стояла ко мне спиной, и я заметил только, что она была тонка в талии, боса и что маленькие голые пятки прикрывались низко опущенными панталонами.

Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию.

Я готов клясться, что Маша, или, как звал отец, Машя, была настоящая красавица, но доказать этого не умею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте, и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета: в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый; одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток... И подпасок,

гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа — все глядят на закат и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота.

Не я один находил, что армяночка красива. Мой дедушка, восьмидесятилетний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил:

— Это ваша дочка, Авет Назарыч?

— Дочка. Это дочка... — ответил хозяин.

— Хорошая барышня, — похвалил дедушка.

Красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой, бог весть откуда, вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный, гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту; вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови так же идут к нежному, белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке; белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама.

Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания и смотрит все время вниз; какой-то особый воздух, казалось мне, счастливый и гордый, отделял ее от меня и ревниво заслонял от моих взглядов.

«Это оттого, — думал я, — что я весь в пыли, загорел, и оттого, что я еще мальчик».

Но потом я мало-помалу забыл о себе самом и весь отдался ощущению красоты. Я уж не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжанья мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка.

Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже сгрустнул. Он уж не говорил о толоке и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу.

После чаю дедушка лег спать, а я вышел из дому и сел на крылечке. Дом, как и все дома в Бахчи-Салах, стоял на припеке; не было ни деревьев, ни навесов, ни теней. Большой двор армянина, поросший лебедой и калачиком, несмотря на сильный зной, был оживлен и полон веселья. За одним из невысоких плетней, там и сям пересекавших большой двор, происходила молотьба. Вокруг столба, вбитого в самую середку гумна, запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали двенадцать лошадей. Возле ходил хохол в длинной жилетке и в широких шароварах, хлопал бичом и кричал таким тоном, как будто хотел подразнить лошадей и похвастать своею властью над ними:

— А-а-а, окаянные! А-а-а... нету на вас холеры! Боитесь?

Лошади, гнедые, белые и пегие, не понимая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу, и обиженно помахивая хвостами. Из-под их копыт ветер поднимал целые облака золотистой половы и уносил ее далеко через плетень. Около высоких свежих скирд копошились бабы с граблями и двигались арбы, а за скирдами, в другом дворе, бегала вокруг столба другая дюжина таких же лошадей и такой же хохол хлопал бичом и насмехался над лошадями.

Ступени, на которых я сидел, были горячи; на жидких перильцах и на оконных рамах кое-где выступил от жары древесный клей; под ступеньками и под ставнями в полосках тени жались друг к другу красные козявки. Солнце пекло мне и в голову, и в грудь, и в спину, но я не замечал этого и только чувствовал, как сзади меня в сенях и в комнатах стучали по дощатому полу босые ноги. Убрав чайную посуду, Машя пробежала по ступе-

ням, пахнув на меня ветром, и, как птица, полетела к небольшой, закопченной пристройке, должно быть кухне, откуда шел запах жареной баранины и слышался сердитый армянский говор. Она исчезла в темной двери, и вместо ее на пороге показалась старая, сгорбленная армянка с красным лицом и в зеленых шароварах. Старуха сердилась и кого-то бранила. Скоро на пороге показалась Машя, покрасневшая от кухонного жара и с большим черным хлебом на плече; красиво изгибаясь под тяжестью хлеба, она побежала через двор к гумну, шмыгнула через плетень и, окунувшись в облако золотистой половы, скрылась за арбами. Хохол, подгонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту молча глядел в сторону арб, потом, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила через плетень, он проводил ее глазами и крикнул на лошадей таким тоном, как будто был очень огорчен:

— А, чтоб вам пропасть, нечистая сила!

И все время потом слышал я не переставая шаги ее босых ног и видел, как она с серьезным, озабоченным лицом носилась по двору. Пробегала она то по ступеням, обдавая меня ветром, то в кухню, то на гумно, то за ворота, и я едва успевал поворачивать голову, чтобы следить за нею.

И чем чаще она со своей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Мне было жаль и себя, и ее, и хохла, грустно провожавшего ее взглядом всякий раз, когда она сквозь облако половы бегала к арбам. Была ли это у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет моею и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайна, не нужна и, как все на земле, не долговечна, или, быть может, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты, бог знает!

Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее «наза-ад!». Проснулся дедушка. Машя со скрипом отворила нам ворота, мы

сели на дроги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга.

Когда часа через два или три вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, все время молчавший, быстро оглянулся и сказал:

— А славная у армяшки девка!

И хлестнул по лошади.

## II

В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе.

На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень; вокзал заслонял собою закат, но по самым верхним клубам дыма, выходившего из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, видно было, что солнце еще не совсем спряталось.

Прохаживаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона второго класса, и с таким выражением, как будто в этом вагоне сидел какой-нибудь знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим находился и мой спутник, артиллерийский офицер, малый умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге случайно и ненадолго.

— Что вы тут смотрите? — спросил я.

Он ничего не ответил и только указал мне глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая девушка, лет семнадцати — восемнадцати, одетая в русский костюм, с непокрытой головой и с мантилькой, небрежно наброшенной на одно плечо, не пассажирка, а, должно быть, дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. Прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мною вдруг овладело чувство, какое я испытал когда-то в армянской деревне.

Девушка была замечательная красавица, и в этом не сомневались ни я и ни те, кто вместе со мной смотрел на нее.

Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного у нее были одни только белокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой, все же остальное было или неправильно, или же очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать, или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но тем не менее девушка производила впечатление настоящей красавицы, и, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт, мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть.

Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас, и я не помню того мгновения, когда бы ее тело и лицо находились в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучавшею в смехе и в голосе, и с тою слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях.

Это была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, порханье по саду, смех, веселье и которое не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем; и, кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль.

— Тэк-с... — пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону.

А что значило это «тэк-с», не берусь судить.

Быть может, ему было грустно и не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон, или, быть может, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вяло

и нехотя брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями и полинявшим, скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал:

— Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую. Жить среди поля под одной крышей с этим воздушным созданием и не влюбиться — выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастие, какая насмешка быть сутулым, лохматым, серењким, порядочным и неглупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания! Или еще хуже: представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же время женат и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам... Пытка!

Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица, и его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей, как будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка эта не его и что до обыкновенного человеческого, пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба.

Пробил третий звонок, раздались свистки, и поезд лениво тронулся. В наших окнах промелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной, детски-лукавой улыбкой...

Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошлась по платформе мимо окна, где сидел телеграфист, поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уж не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами стлался по зеленой бархатной озими. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне.

Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи.

*1888*

## ИМЕНИНЫ

### I

После именинного обеда, с его восемью блюдами и бесконечными разговорами, жена именинника Ольга Михайловна пошла в сад. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звон посуды, бестолковость прислуги, длинные обеденные антракты и корсет, который она надела, чтобы скрыть от гостей свою беременность, утомили ее до изнеможения. Ей хотелось уйти подальше от дома, посидеть в тени и отдохнуть на мыслях о ребенке, который должен был родиться у нее месяца через два. Она привыкла к тому, что эти мысли приходили к ней, когда она с большой аллеи сворачивала влево на узкую тропинку; тут в густой тени слив и вишен сухие ветки царапали ей плечи и шею, паутина садилась на лицо, а в мыслях вырастал образ маленького человечка неопределенного пола, с неясными чертами, и начинало казаться, что не паутина ласково щекочет лицо и шею, а этот человечек; когда же в конце тропинки показывался жидкий плетень, а за ним пузатые ульи с черепяными крышками, когда в неподвижном, застоявшемся воздухе начинало пахнуть и сеном и медом и слышалось кроткое жужжанье пчел, маленький человечек совсем овладевал Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечке около шалаша, сплетенного из лозы, и принималась думать.

И на этот раз она дошла до скамеечки, села и стала думать; но в ее воображении вместо маленького человечка вставали большие люди, от которых она только

что ушла. Ее сильно беспокоило, что она, хозяйка, оставила гостей; и вспомнила она, как за обедом ее муж Петр Дмитрич и ее дядя Николай Николаич спорили о суде присяжных, о печати и о женском образовании; муж, по обыкновению, спорил для того, чтобы щегольнуть перед гостями своим консерватизмом, а главное — чтобы не соглашаться с дядей, которого он не любил; дядя же противоречил ему и придирался к каждому его слову для того, чтобы показать обедающим, что он, дядя, несмотря на свои пятьдесят девять лет, сохранил еще в себе юношескую свежесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы, — не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который, по ее мнению, был несправедлив. Гостей утомил этот спор, но все они нашли нужным вмешаться и говорили много, хотя всем им не было никакого дела ни до суда присяжных, ни до женского образования...

Ольга Михайловна сидела по сю сторону плетня, около шалаша. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздух хмурились, как перед дождем, но, несмотря на это, было жарко и душно. Сено, скошенное под деревьями накануне Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрея своими поблекшими цветами и испуская тяжелый, приторный запах. Было тихо. За плетнем монотонно жужжали пчелы...

Неожиданно послышались шаги и голоса. Кто-то шел по тропинке к пасеке.

— Душно! — сказал женский голос. — Как по-вашему, будет дождь или нет?

— Будет, моя прелесть, но не раньше ночи, — ответил томно очень знакомый мужской голос. — Хороший дождь будет.

Ольга Михайловна рассудила, что если она поспешит спрятаться в шалаш, то ее не заметят и пройдут мимо, и ей не нужно будет говорить и напряженно улыбаться. Она подобрала платье, нагнулась и вошла в шалаш. Тотчас же лицо, шею и руки ее обдало горячим и душным, как пар, воздухом. Если бы не духота и не спертый запах ржаного хлеба, укропа и лозы, от которого захватывало дыхание, то тут, под соломенною крышей и в сумерках, отлично можно было бы прятаться от гостей и думать о маленьком человечке. Уютно и тихо.

— Какое здесь хорошенькое местечко! — сказал женский голос. — Посидимте здесь, Петр Дмитрич.

Ольга Михайловна стала глядеть в щель между двумя хворостинами. Она увидала своего мужа Петра Дмитрича и гостью Любочку Шеллер, семнадцатилетнюю девочку, недавно кончившую в институте. Петр Дмитрич, со шляпой на затылке, томный и ленивый оттого, что много пил за обедом, вразвалку ходил около плетня и ногой сгребал в кучу сено; Любочка, розовая от жары и, как всегда, хорошенькая, стояла, заложив руки назад, и следила за ленивыми движениями его большого красивого тела.

Ольга Михайловна знала, что ее муж нравится женщинам, и — не любила видеть его с ними. Ничего особенного не было в том, что Петр Дмитрич лениво сгребал сено, чтобы посидеть на нем с Любочкой и поболтать о пустяках; ничего не было особенного и в том, что хорошенькая Любочка кротко глядела на него, но все же Ольга Михайловна почувствовала досаду на мужа, страх и удовольствие оттого, что ей можно сейчас подслушать.

— Садитесь, очаровательница, — сказал Петр Дмитрич, опускаясь на сено и потягиваясь. — Вот так. Ну, расскажите мне что-нибудь.

— Вот еще! Я стану рассказывать, а вы уснете.

— Я усну? Аллах керим! Могу ли я уснуть, когда на меня глядят такие глазки?

В словах мужа и в том, что он в присутствии гостьи сидел развалясь и со шляпой на затылке, не было тоже ничего особенного. Он был избалован женщинами, знал, что нравится им, и в обращении с ними усвоил себе особый тон, который, как все говорили, был ему к лицу. С Любочкой он держал себя так же, как со всеми женщинами. Но Ольга Михайловна все-таки ревновала.

— Скажите, пожалуйста, — начала Любочка после некоторого молчания, — правду ли говорят, что вы попали под суд?

— Я? Да, попал... К злодеям сопричтен, моя прелесть.

— Но за что?

— Ни за что, а так... все больше из-за политики, — зевнул Петр Дмитрич. — Борьба левой и правой. Я, обскурант и рутинер, осмелился употребить в официальной

бумаге выражения, оскорбительные для таких непогре
шимых Гладстонов, как наш участковый мировой судь
Кузьма Григорьевич Востряков и Владимир Павлови
Владимиров.

Петр Дмитрич еще раз зевнул и продолжал:

— А у нас такой порядок, что вы можете неодобри
тельно отзываться о солнце, о луне, о чем угодно, н
храни вас бог трогать либералов! Боже вас сохрани
Либерал — это тот самый поганый сухой гриб, который
если вы нечаянно дотронетесь до него пальцем, обдас
вас облаком пыли.

— Что у вас произошло?

— Ничего особенного. Весь сыр-бор загорелся из-з
чистейшего пустяка. Какой-то учитель, плюгавенька
личность колокольного происхождения, подает Востря
кову прошение на трактирщика, обвиняя его в оскорбле
нии словами и действием в публичном месте. Из всег
видно, что и учитель и трактирщик оба были пьяны, ка
сапожники, и оба вели себя одинаково скверно. Если
было оскорбление, то во всяком случае взаимное. Вост
рякову следовало бы оштрафовать обоих за нарушени
тишины и прогнать их из камеры — вот и все. Но у на
как? У нас на первом плане стоит всегда не лицо, н
факт, а фирма и ярлык. Учитель, какой бы он негодя
ни был, всегда прав, потому что он учитель; трактирщи
же всегда виноват, потому что он трактирщик и кула
Востряков приговорил трактирщика к аресту, тот пере
нес дело в съезд. Съезд торжественно утвердил пригово
Вострякова. Ну, я остался при особом мнении... Не
множко погорячился... Вот и все.

Петр Дмитрич говорил покойно, с небрежною иро
нией. На самом же деле предстоящий суд сильно беспо
коил его. Ольга Михайловна помнила, как он, вернув
шись с злополучного съезда, всеми силами старалс
скрыть от домашних, что ему тяжело и что он недоволе
собой. Как умный человек, он не мог не чувствовать, чт
в своем особом мнении он зашел слишком далеко,
сколько лжи понадобилось ему, чтобы скрывать от себ
и от людей это чувство! Сколько было ненужных раз
говоров, сколько брюзжанья и неискреннего смеха на
тем, что не смешно! Узнав же, что его привлекают
суду, он вдруг утомился и пал духом, стал плохо спать
чаще, чем обыкновенно, стоял у окна и барабанил паль

цами по стеклам. И он стыдился сознаться перед женою, что ему тяжело, а ей было досадно...

— Говорят, вы были в Полтавской губернии? — спросила Любочка.

— Да, был, — ответил Петр Дмитрич. — Третьего дня вернулся оттуда.

— Небось хорошо там?

— Хорошо. Даже очень хорошо. Я, надо вам сказать, попал туда как раз на сенокос, а на Украйне сенокос самое поэтическое время. Тут у нас большой дом, большой сад, много людей и суеты, так что вы не видите, как косят; тут все проходит незаметно. Там же у меня на хуторе пятнадцать десятин луга как на ладони: у какого окна ни станьте, отовсюду увидите косарей. На лугу косят, в саду косят, гостей нет, суеты тоже, так что вы поневоле видите, слышите и чувствуете один только сенокос. На дворе и в комнатах пахнет сеном, от зари до зари звенят косы. Вообще Хохландия милая страна. Верите ли, когда я пил у колодцев с журавлями воду, а в жидовских корчмах — поганую водку, когда в тихие вечера доносились до меня звуки хохлацкой скрипки и бубна, то меня манила обворожительная мысль — засесть у себя на хуторе и жить в нем, пока живется, подальше от этих съездов, умных разговоров, философствующих женщин, длинных обедов...

Петр Дмитрич не лгал. Ему было тяжело и в самом деле хотелось отдохнуть. И в Полтавскую губернию ездил он только затем, чтобы не видеть своего кабинета, прислуги, знакомых и всего, что могло бы напоминать ему об его раненом самолюбии и ошибках.

Любочка вдруг вскочила и в ужасе замахала руками.

— Ах, пчела, пчела! — взвизгнула она. — Укусит!

— Полноте, не укусит! — сказал Петр Дмитрич. — Какая вы трусиха!

— Нет, нет, нет! — крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назад.

Петр Дмитрич уходил за нею и смотрел ей вслед с умилением и грустью. Должно быть, глядя на нее, он думал о своем хуторе, об одиночестве и — кто знает? — быть может, даже думал о том, как бы тепло и уютно жилось ему на хуторе, если бы женой его была эта девочка — молодая, чистая, свежая, не испорченная курсами, не беременная...

Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла из шалаша и направилась к дому. Ей хотелось плакать. Она уже сильно ревновала мужа. Ей было понятно, что Петр Дмитрич утомился, был недоволен собой и стыдился, а когда стыдятся, то прячутся прежде всего от близких и откровенничают с чужими; ей было также понятно, что Любочка не опасна, как и все те женщины, которые пили теперь в доме кофе. Но, в общем, все было непонятно, страшно, и Ольге Михайловне уже казалось, что Петр Дмитрич не принадлежит ей наполовину...

— Он не имеет права! — бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою досаду на мужа. — Он не имеет никакого права. Я ему сейчас все выскажу!

Она решила сейчас же найти мужа и высказать ему все: гадко, без конца гадко, что он нравится чужим женщинам и добивается этого, как манны небесной; несправедливо и нечестно, что он отдает чужим то, что по праву принадлежит его жене, прячет от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику. Что худого сделала ему жена? В чем она провинилась? Наконец, давно уже надоело его лганье: он постоянно рисуется, кокетничает, говорит не то, что думает, и старается казаться не тем, что он есть и кем ему быть должно. К чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человеку? Если он лжет, то оскорбляет и себя и тех, кому лжет, и не уважает того, о чем лжет. Неужели ему не понятно, что если он кокетничает и ломается за судейским столом или, сидя за обедом, трактует о прерогативах власти только для того, чтобы насолить дяде, неужели ему не понятно, что этим самым он ставит ни в грош и суд, и себя, и всех, кто его слушает и видит?

Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себе такое выражение, как будто уходила сейчас по хозяйственным надобностям. На террасе мужчины пили ликер и закусывали ягодами; один из них, судебный следователь, толстый пожилой человек, балагур и остряк, должно быть, рассказывал какой-нибудь нецензурный анекдот, потому что, увидев хозяйку, он вдруг схватил себя за жирные губы, выпучил глаза и присел. Ольга Михайловна не любила уездных чиновников. Ей не нравились их неуклюжие церемонные жены, сплетни, частые поездки в гости, лесть перед ее мужем, которого

все они ненавидели. Теперь же, когда они пили, были сыты и не собирались уезжать, она чувствовала, что их присутствие утомительно до тоски, но, чтобы не показаться нелюбезной, она приветливо улыбнулась судебному следователю и погрозила ему пальцем. Через залу и гостиную она прошла улыбаясь и с таким видом, как будто шла приказать что-то и распорядиться. «Не дай бог, если кто остановит!» — думала она, но сама заставила себя остановиться в гостиной, чтобы из приличия послушать молодого человека, который сидел за пианино и играл; постояв минутку, она крикнула: «Браво, браво, m-r Жорж!» — и, хлопнув два раза в ладоши, пошла дальше.

Мужа нашла она в кабинете. Он сидел у стола и о чем-то думал. Лицо его было строго, задумчиво и виновато. Это уж был не тот Петр Дмитрич, который спорил за обедом и которого знают гости, а другой — утомленный, виноватый и недовольный собой, которого знает одна только жена. В кабинет пришел он, должно быть, для того, чтобы взять папирос. Перед ним лежал открытый портсигар, набитый папиросами, и одна рука была опущена в ящик стола. Как брал папиросы, так и застыл.

Ольге Михайловне стало жаль его. Было ясно, как день, что человек томился и не находил места, быть может, боролся с собой. Ольга Михайловна молча подошла к столу; желая показать, что она не помнит обеденного спора и уже не сердится, она закрыла портсигар и положила его мужу в боковой карман.

«Что сказать ему? — думала она. — Я скажу, что ложь тот же лес: чем дальше в лес, тем труднее выбраться из него. Я скажу: ты увлекся своею фальшивою ролью и зашел слишком далеко; ты оскорбил людей, которые были к тебе привязаны и не сделали тебе никакого зла. Поди же извинись перед ними, посмейся над самим собой, и тебе станет легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уедем отсюда вместе».

Встретясь глазами с женой, Петр Дмитрич вдруг придал своему лицу выражение, какое у него было за обедом и в саду, — равнодушное и слегка насмешливое, зевнул и поднялся с места.

— Теперь шестой час, — сказал он, взглянув на часы. — Если гости смилостивятся и уедут в одиннадцать,

то и тогда нам остается ждать еще шесть часов. Весело, нечего сказать!

И, что-то насвистывая, он медленно, своею обычною солидною походкой, вышел из кабинета. Слышно было, как он, солидно ступая, прошел через залу, потом через гостиную, чему-то солидно засмеялся и сказал игравшему молодому человеку: «Бра-о! бра-о!» Скоро шаги его затихли: должно быть, вышел в сад. И уж не ревность и не досада, а настоящая ненависть к его шагам, неискреннему смеху и голосу овладела Ольгой Михайловной. Она подошла к окну и поглядела в сад. Петр Дмитрич шел уже по аллее. Заложив одну руку в карман и щелкая пальцами другой, слегка откинув назад голову, он шел солидно, вразвалку и с таким видом, как будто был очень доволен и собой, и обедом, и пищеварением, и природой...

На аллее показались два маленьких гимназиста, дети помещицы Чижевской, только что приехавшие, а с ними студент-гувернер в белом кителе и в очень узких брюках. Поравнявшись с Петром Дмитричем, дети и студент остановились и, вероятно, поздравили его с ангелом. Красиво поводя плечами, он потрепал детей за щеки и подал студенту руку небрежно, не глядя на него. Должно быть, студент похвалил погоду и сравнил ее с петербургской, потому что Петр Дмитрич сказал громко и таким тоном, как будто говорил не с гостем, а с судебным приставом или со свидетелем:

— Что-с? У вас в Петербурге холодно? А у нас тут, батенька мой, благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. А? Что?

И, заложив в карман одну руку и щелкнув пальцами другой, он зашагал дальше. Пока он не скрылся за кустами орешника, Ольга Михайловна все время смотрела ему в затылок и недоумевала. Откуда у тридцатичетырехлетнего человека эта солидная, генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрация в голосе, откуда все эти «что-с», «н-да-с» и «батенька»?

Ольга Михайловна вспомнила, как она, чтобы не скучать одной дома, в первые месяцы замужества ездила в город на съезд, где иногда вместо ее крестного отца, графа Алексея Петровича, председательствовал Петр

Дмитрич. На председательском кресле, в мундире и с цепью на груди, он совершенно менялся. Величественные жесты, громовый голос, «что-с», «н-да-с», небрежный тон... Все обыкновенное человеческое, свое собственное, что привыкла видеть в нем Ольга Михайловна дома, исчезало в величии, и на кресле сидел не Петр Дмитрич, а какой-то другой человек, которого все звали господином председателем. Сознание, что он — власть, мешало ему покойно сидеть на месте, и он искал случая, чтобы позвонить, строго взглянуть на публику, крикнуть... Откуда брались близорукость и глухота, когда он вдруг начинал плохо видеть и слышать и, величественно морщась, требовал, чтобы говорили громче и поближе подходили к столу. С высоты величия он плохо различал лица и звуки, так что если бы, кажется, в эти минуты подошла к нему сама Ольга Михайловна, то он и ей бы крикнул: «Как ваша фамилия?» Свидетелям-крестьянам он говорил «ты», на публику кричал так, что его голос был слышен даже на улице, а с адвокатами держал себя невозможно. Если приходилось говорить присяжному поверенному, то Петр Дмитрич сидел к нему несколько боком и щурил глаза в потолок, желая этим показать, что присяжный поверенный тут вовсе не нужен и что он его не признает и не слушает; если же говорил серо одетый частный поверенный, то Петр Дмитрич весь превращался в слух и измерял поверенного насмешливым, уничтожающим взглядом: вот, мол, какие теперь адвокаты! «Что же вы хотите этим сказать?» — перебивал он. Если витиеватый поверенный употреблял какое-нибудь иностранное слово и, например, вместо «фиктивный» произносил «фактивный», то Петр Дмитрич вдруг оживлялся и спрашивал: «Что-с? Как? Фактивный? А что это значит?» — и потом наставительно замечал: «Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете». И поверенный, кончив свою речь, отходил от стола красный и весь в поту, а Петр Дмитрич, самодовольно улыбаясь, торжествуя победу, откидывался на спинку кресла. В своем обращении с адвокатами он несколько подражал графу Алексею Петровичу, но у графа, когда тот, например, говорил: «Защита, помолчите немножко!» — это выходило старчески-добродушно и естественно, у Петра же Дмитрича грубовато и натянуто.

## II

Послышались аплодисменты. Это молодой человек кончил играть. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась в гостиную.

— Я вас заслушалась, — сказала она, подходя к пианино. — Я вас заслушалась. У вас удивительные способности! Но не находите ли вы, что наш пианино расстроен?

В это время в гостиную входили два гимназиста и с ними студент.

— Боже мой, Митя и Коля? — сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя к ним навстречу. — Какие большие стали! Даже не узнаешь вас! А где же ваша мама?

— Поздравляю вас с именинником, — начал развязно студент, — и желаю всего лучшего. Екатерина Андреевна поздравляет и просит извинения. Она не совсем здорова.

— Какая же она не добрая! Я ее весь день ждала. А вы давно из Петербурга? — спросила Ольга Михайловна студента. — Какая теперь там погода? — И, не дожидаясь ответа, она ласково взглянула на гимназистов и повторила: — Какие большие выросли! Давно ли они приезжали сюда с няней, а теперь уже гимназисты! Старое старится, а молодое растет... Вы обедали?

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал студент.

— Ведь вы не обедали?

— Ради бога, не беспокойтесь!

— Но ведь вы хотите есть? — спросила Ольга Михайловна грубым и жестким голосом, нетерпеливо и с досадой — это вышло у нее нечаянно, но тотчас же она закашлялась, улыбнулась, покраснела. — Какие большие выросли! — сказала она мягко.

— Не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал еще раз студент.

Студент просил не беспокоиться, дети молчали; очевидно, все трое хотели есть. Ольга Михайловна повела их в столовую и приказала Василию накрыть на стол.

— Не добрая ваша мама! — говорила она, усаживая их. — Совсем меня забыла. Не добрая, не добрая, не добрая... Так и скажите ей. А вы на каком факультете? — спросила она у студента.

— На медицинском.

— Ну, а у меня слабость к докторам, представьте. Я очень жалею, что мой муж не доктор. Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать операции или резать трупы! Ужасно! Вы не боитесь? Я бы, кажется, умерла от страха. Вы, конечно, выпьете водки?

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— С дороги нужно, нужно выпить. Я женщина, да и то пью иногда. А Митя и Коля выпьют малаги. Вино слабенькое, не бойтесь. Какие они, право, молодцы! Женить даже можно.

Ольга Михайловна говорила без умолку. Она по опыту знала, что, занимая гостей, гораздо легче и удобнее говорить, чем слушать. Когда говоришь, нет надобности напрягать внимание, придумывать ответы на вопросы и менять выражение лица. Но она нечаянно задала какой-то серьезный вопрос, студент стал говорить длинно, и ей поневоле пришлось слушать. Студент знал, что она когда-то была на курсах, а потому, обращаясь к ней, старался казаться серьезным.

— Вы на каком факультете? — спросила она, забыв, что однажды уже задавала этот вопрос.

— На медицинском.

Ольга Михайловна вспомнила, что давно уже не была с дамами.

— Да? Значит, вы доктором будете? — сказала она, поднимаясь. — Это хорошо. Я жалею, что сама не пошла на медицинские курсы. Так вы тут обедайте, господа, и выходите в сад. Я вас познакомлю с барышнями.

Она вышла и взглянула на часы: было без пяти минут шесть. И она удивилась, что время идет так медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъедутся гости, осталось еще шесть часов. Куда убить эти шесть часов? Какие фразы говорить? Как держать себя с мужем?

В гостиной и на террасе не было ни души. Все гости разбрелись по саду.

«Нужно будет предложить им до чая прогулку в березняк или катанье на лодках, — думала Ольга Михайловна, торопясь к крокету, откуда слышались голоса и смех. — А стариков усадить играть в винт...»

От крокета навстречу ей шел лакей Григорий с пустыми бутылками.

— Где же барыни? — спросила она.

— В малиннике. Там и барин.

— А, господи боже мой! — с ожесточением крикнул кто-то в крокете. — Да я же тысячу раз же говорил вам то же самое! Чтобы знать болгар, надо их видеть! Нельзя судить по газетам!

От этого ли крика, или от чего другого, Ольга Михайловна вдруг почувствовала сильную слабость во всем теле, особенно в ногах и в плечах. Ей вдруг захотелось не говорить, не слышать, не двигаться.

— Григорий, — сказала она томно и с усилием, — когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, не спрашивайте, не говорите ни о чем... Делайте все сами и... и не стучите ногами. Умоляю... Я не могу, потому что...

Она не договорила и пошла дальше к крокету, но по дороге вспомнила о барынях и повернула к малиннику. Небо, воздух и деревья по-прежнему хмурились и обещали дождь; было жарко и душно; громадные стаи ворон, предчувствуя непогоду, с криком носились над садом. Чем ближе к огороду, тем аллеи становились запущеннее, темнее и у́же; на одной из них, прятавшейся в густой заросли диких груш, кислиц, молодых дубков, хмеля, целые облака мелких черных мошек окружили Ольгу Михайловну; она закрыла руками лицо и стала насильно воображать маленького человечка... В воображении пронеслись Григорий, Митя, Коля, лица мужиков, приходивших утром поздравлять...

Послышались чьи-то шаги, и она открыла глаза. К ней навстречу быстро шел дядя Николай Николаич.

— Это ты, милая? Очень рад... — начал он, задыхаясь. — На два слова... — Он вытер платком свой бритый красный подбородок, потом вдруг отступил шаг назад, всплеснул руками и выпучил глаза. — Матушка, до каких же пор это будет продолжаться? — заговорил он быстро, захлебываясь. — Я тебя спрашиваю: где границы? Не говорю уже о том, что его держимордовские взгляды деморализуют среду, что он оскорбляет во мне и в каждом честном, мыслящем человеке все святое и лучшее — не говорю, но пусть он будет хоть приличен! Что такое? Кричит, рычит, ломается, корчит из себя какого-то Бонапарта, не дает слова сказать... черт его знает! Какие-то величественные жесты, генеральский смех, снис-

ходительный тон! Да позвольте вас спросить: кто он такой? Я тебя спрашиваю: кто он такой? Муж своей жены, мелкопоместный титуляр, которому посчастливилось жениться на богатой! Выскочка и юнкер, каких много! Щедринский тип! Клянусь богом, что-нибудь из двух: или он страдает манией величия, или в самом деле права эта старая, выжившая из ума крыса, граф Алексей Петрович, когда говорит, что теперешние дети и молодые люди поздно становятся взрослыми и до сорока лет играют в извозчики и в генералы!

— Это верно, верно... — согласилась Ольга Михайловна. — Позволь мне пройти.

— Теперь ты рассуди, к чему это поведет? — продолжал дядя, загораживая ей дорогу. — Чем кончится эта игра в консерватизм и в генералы? Уже под суд попал! Попал! Я очень рад! Докричался и достукался до того, что угодил на скамью подсудимых. И не то чтобы окружный суд или что, а судебная палата! Хуже этого, кажется, и придумать нельзя! Во-вторых, со всеми рассорился! Сегодня именины, а, погляди, не приехали ни Востряков, ни Яхонтов, ни Владимиров, ни Шевуд, ни граф... На что, кажется, консервативнее графа Алексея Петровича, да и тот не приехал. И никогда больше не приедет! Увидишь, что не приедет!

— Ах, боже мой, да я-то тут при чем? — спросила Ольга Михайловна.

— Как при чем? Ты его жена! Ты умна, была на курсах, и в твоей власти сделать из него честного работника!

— На курсах не учат, как влиять на тяжелых людей. Я должна буду, кажется, просить у всех вас извинения, что была на курсах! — сказала Ольга Михайловна резко. — Послушай, дядя, если у тебя целый день над ухом будут играть одни и те же гаммы, то ты не усидишь на месте и сбежишь. Я уж круглый год по целым дням слышу одно и то же, одно и то же. Господа, надо же наконец иметь сожаление!

Дядя сделал очень серьезное лицо, потом пытливо поглядел на нее и покривил рот насмешливою улыбкой.

— Вот оно что! — пропел он старушечьим голосом. — Виноват-с! — сказал он и церемонно раскланялся. — Если ты сама подпала под его влияние и изменила убеждения, то так бы и сказала раньше. Виноват-с!

— Да, я изменила убеждения! — крикнула она. — Радуйся!

— Виноват-с!

Дядя в последний раз церемонно поклонился, как-то вбок, и, весь съежившись, шаркнул ногой и пошел назад.

«Дурак, — подумала Ольга Михайловна. — И ехал бы себе домой».

Дам и молодежь нашла она на огороде в малиннике. Одни ели малину, другие, кому уже надоела малина, бродили по грядам клубники или рылись в сахарном горошке. Несколько в стороне от малинника, около ветвистой яблони, кругом подпертой палками, повыдерганными из старого палисадника, Петр Дмитрич косил траву. Волосы его падали на лоб, галстук развязался, часовая цепочка выпала из петли. В каждом его шаге и взмахе косой чувствовались уменье и присутствие громадной физической силы. Возле него стояли Любочка и дочери соседа, полковника Букреева, Наталья и Валентина, или, как их все звали, Ната и Вата, анемичные и болезненно-полные блондинки, лет шестнадцати — семнадцати, в белых платьях, поразительно похожие друг на друга. Петр Дмитрич учил их косить.

— Это очень просто... — говорил он. — Нужно только уметь держать косу и не горячиться, то есть не употреблять силы больше, чем нужно. Вот так... Не угодно ли теперь вам? — предложил он косу Любочке. — Ну-ка!

Любочка неумело взяла в руки косу, вдруг покраснела и засмеялась.

— Не робейте, Любовь Александровна! — крикнула Ольга Михайловна так громко, чтобы ее могли слышать все дамы и знать, что она с ними. — Не робейте! Надо учиться! Выйдете за толстовца, косить заставит.

Любочка подняла косу, но опять засмеялась и, обессилев от смеха, тотчас же опустила ее. Ей было стыдно и приятно, что с нею говорят, как с большой. Ната, не улыбаясь и не робея, с серьезным, холодным лицом, взяла косу, взмахнула и запутала ее в траве; Вата, тоже не улыбаясь, серьезная и холодная, как сестра, молча взяла косу и вонзила ее в землю. Проделав это, обе сестры взялись под руки и молча пошли к малине.

Петр Дмитрич смеялся и шалил, как мальчик, и это детски-шаловливое настроение, когда он становился чрезмерно добродушен, шло к нему гораздо более, чем

что-либо другое. Ольга Михайловна любила его таким. Но мальчишество его продолжалось обыкновенно недолго. Так и на этот раз, пошалив с косой, он почему-то нашел нужным придать своей шалости серьезный оттенок.

— Когда я кошу, то чувствую себя, знаете ли, здоровее и нормальнее, — сказал он. — Если бы меня заставили довольствоваться одною только умственной жизнью, то я бы, кажется, с ума сошел. Чувствую, что я не родился культурным человеком! Мне бы косить, пахать, сеять, лошадей выезжать...

И у Петра Дмитрича с дамами начался разговор о преимуществах физического труда, о культуре, потом о вреде денег, о собственности. Слушая мужа, Ольга Михайловна почему-то вспомнила о своем приданом.

«А ведь будет время, — подумала она, — когда он не простит мне, что я богаче его. Он горд и самолюбив. Пожалуй, возненавидит меня за то, что многим обязан мне».

Она остановилась около полковника Букреева, который ел малину и тоже принимал участие в разговоре.

— Пожалуйте, — сказал он, давая дорогу Ольге Михайловне и Петру Дмитричу. — Тут самая спелая... Итак-с, по мнению Прудона, — продолжал он, возвысив голос, — собственность есть воровство. Но я, признаться, Прудона не признаю и философом его не считаю. Для меня французы не авторитет, бог с ними!

— Ну, что касается Прудонов и всяких там Боклей, то я тут швах, — сказал Петр Дмитрич. — Насчет философии обращайтесь вот к ней, к моей супруге. Она была на курсах и всех этих Шопенгауэров и Прудонов насквозь...

Ольге Михайловне опять стало скучно. Она опять пошла по саду, по узкой тропиночке, мимо яблонь и груш, и опять у нее был такой вид, как будто шла она по очень важному делу. А вот изба садовника... На пороге сидела жена садовника Варвара и ее четверо маленьких ребятишек с большими стриженными головами. Варвара тоже была беременна и собиралась родить, по ее вычислениям, к Илье-пророку. Поздоровавшись, Ольга Михайловна молча оглядела ее и детей и спросила:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— А ничего...

Наступило молчание. Обе женщины молча как будто понимали друг друга.

— Страшно родить в первый раз, — сказала Ольга Михайловна, подумав, — мне все кажется, что я не перенесу, умру.

— И мне представлялось, да вот жива же... Мало ли чего!

Варвара, беременная уже в пятый раз и опытная, глядела на свою барыню несколько свысока и говорила с нею наставительным тоном, а Ольга Михайловна невольно чувствовала ее авторитет; ей хотелось говорить о своем страхе, о ребенке, об ощущениях, но она боялась, чтобы это не показалось Варваре мелочным и наивным. И она молчала и ждала, когда сама Варвара скажет что-нибудь.

— Оля, домой идем! — крикнул из малинника Петр Дмитрич.

Ольге Михайловне нравилось молчать, ждать и глядеть на Варвару. Она согласилась бы простоять так, молча и без всякой надобности, до самой ночи. Но нужно было идти. Едва она отошла от избы, как уж к ней навстречу бежали Любочка, Вата и Ната. Две последние не добежали до нее на целую сажень и обе разом остановились как вкопанные; Любочка же добежала и повисла к ней на шею.

— Милая! Хорошая! Бесценная! — заговорила она, целуя ее в лицо и в шею. — Поедемте чай пить на остров!

— .На остров! На остров! — сказали обе разом одинаковые Вата и Ната не улыбаясь.

— Но ведь дождь будет, мои милые.

— Не будет, не будет! — крикнула Любочка, делая плачущее лицо. — Все согласны ехать! Милая, хорошая!

— Там все собираются ехать чай пить на остров, — сказал Петр Дмитрич, подходя. — Распорядись... Мы все поедем на лодках, а самовары и все прочее надо отправить с прислугой в экипаже.

Он пошел рядом с женой и взял ее под руку. Ольге Михайловне захотелось сказать мужу что-нибудь неприятное, колкое, хотя бы даже упомянуть о приданом, чем жестче, тем, казалось, лучше. Она подумала и сказала:

— Отчего это граф Алексей Петрович не приехал? Как жаль!

— Я очень рад, что он не приехал, — солгал Петр Дмитрич. — Мне этот юродивый надоел пуще горькой редьки.

— Но ведь ты до обеда ждал его с таким нетерпением!

## III

Через полчаса все гости уже толпились на берегу около свай, где были привязаны лодки. Все много говорили, смеялись и от излишней суеты никак не могли усесться в лодки. Три лодки были уже битком набиты пассажирами, а две стояли пустые. От этих двух пропали куда-то ключи, и от реки то и дело бегали во двор посланные поискать ключей. Одни говорили, что ключи у Григория, другие — что они у приказчика, третьи советовали призвать кузнеца и отбить замки. И все говорили разом, перебивая и заглушая друг друга. Петр Дмитрич нетерпеливо шагал по берегу и кричал:

— Это черт знает что такое! Ключи должны всегда лежать в передней на окне! Кто смел взять их оттуда? Приказчик может, если ему угодно, завести себе свою лодку!

Наконец ключи нашлись. Тогда оказалось, что не хватает двух весел. Снова поднялась суматоха. Петр Дмитрич, которому наскучило шагать, прыгнул в узкий и длинный челн, выдолбленный из тополя, и, покачнувшись, едва не упав в воду, отчалил от берега. За ним одна за другою, при громком смехе и визге барышень, поплыли и другие лодки.

Белое облачное небо, прибрежные деревья, камыш и лодки с людьми и с веслами отражались в воде, как в зеркале; под лодками, далеко в глубине, в бездонной пропасти тоже было небо и летали птицы. Один берег, на котором стояла усадьба, был высок, крут и весь покрыт деревьями; на другом, отлогом, зеленели широкие заливные луга и блестели заливы. Проплыли лодки саженей пятьдесят, и из-за печально склонившихся верб на отлогом берегу показались избы, стадо коров; стали слышаться песни, пьяные крики и звуки гармоники.

Там и сям по реке шныряли челны рыболовов, плывших ставить на ночь свои переметы. В одном челноке

сидели подгулявшие музыканты-любители и играли на самоделковых скрипках и виолончели.

Ольга Михайловна сидела у руля. Она приветливо улыбалась и много говорила, чтобы занять гостей, а сама искоса поглядывала на мужа. Он плыл на своем челне впереди всех, стоя и работая одним веслом. Легкий остроносый челнок, который все гости звали душегубкой, а сам Петр Дмитрич почему-то Пендераклией, бежал быстро; он имел живое, хитрое выражение и, казалось, ненавидел тяжелого Петра Дмитрича и ждал удобной минуты, чтобы выскользнуть из-под его ног. Ольга Михайловна посматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нравилась всем, затылок, его поза, фамильярное обращение с женщинами; она ненавидела всех женщин, сидевших в лодке, ревновала и в то же время каждую минуту вздрагивала и боялась, чтобы валкий челнок не опрокинулся и не наделал бед.

— Тише, Петр! — кричала она, и сердце ее замирало от страха. — Садись в лодку! Мы и так верим, что ты смел!

Беспокоили ее и те люди, которые сидели с нею в лодке. Все это были обыкновенные, недурные люди, каких много, но теперь каждый из них представлялся ей необыкновенным и дурным. В каждом она видела одну только неправду. «Вот, — думала она, — работает веслом молодой шатен в золотых очках и с красивою бородкой, это богатый, сытый и всегда счастливый маменькин сынок, которого все считают честным, свободомыслящим, передовым человеком. Еще года нет, как он кончил в университете и приехал на житье в уезд, но уж говорит про себя: «Мы земские деятели». Но пройдет год, и он, как многие другие, соскучится, уедет в Петербург и, чтобы оправдать свое бегство, будет всюду говорить, что земство никуда не годится и что он обманут. А с другой лодки, не отрывая глаз, глядит на него молодая жена и верит, что он «земский деятель», как через год поверит тому, что земство никуда не годится. А вот полный, тщательно выбритый господин в соломенной шляпе с широкою лентой и с дорогою сигарой в зубах. Этот любит говорить: «Пора нам бросить фантазии и приняться за дело!» У него йоркширские свиньи, бутлеровские ульи, рапс, ананасы, маслобойня, сыроварня, итальянская двойная бухгалтерия. Но каждое лето, чтобы осенью

жить с любовницей в Крыму, он продает на сруб свой лес и закладывает по частям землю. А вот дядюшка Николай Николаич, который сердит на Петра Дмитрича и все-таки почему-то не уезжает домой!»

Ольга Михайловна поглядывала на другие лодки, и там она видела одних только неинтересных чудаков, актеров или недалеких людей. Вспомнила она всех, кого только знала в уезде, и никак не могла вспомнить ни одного такого человека, о котором могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Все, казалось ей, бездарны, бледны, недалеки, узки, фальшивы, бессердечны, все говорили не то, что думали, и делали не то, что хотели. Скука и отчаяние душили ее; ей хотелось вдруг перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: «Вы мне надоели!» — и потом прыгнуть из лодки и поплыть к берегу.

— Господа, возьмем Петра Дмитрича на буксир! — крикнул кто-то.

— На буксир! На буксир! — подхватили остальные. — Ольга Михайловна, берите на буксир вашего мужа.

Чтобы взять на буксир, Ольга Михайловна, сидевшая у руля, должна была не пропустить момента и ловко схватить Пендераклию у носа за цепь. Когда она нагибалась за цепью, Петр Дмитрич поморщился и испуганно посмотрел на нее.

— Как бы ты не простудилась тут! — сказал он.

«Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачем же ты меня мучишь?» — подумала Ольга Михайловна.

Петр Дмитрич признал себя побежденным и, не желая плыть на буксире, прыгнул с Пендераклии в лодку, и без того уж набитую пассажирами, прыгнул так неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и все вскрикнули от ужаса.

«Это он прыгнул, чтобы нравиться женщинам, — подумала Ольга Михайловна. — Он знает, что это красиво...»

У нее, как думала она, от скуки, досады, от напряженной улыбки и от неудобства, какое чувствовалось во всем теле, началась дрожь в руках и ногах. И чтобы скрыть от гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смеяться, двигаться...

«В случае, если я вдруг заплачу, — думала она, — то скажу, что у меня болят зубы...»

Но вот наконец лодки пристали к острову «Доброй Надежды». Так назывался полуостров, образовавшийся вследствие загиба реки под острым углом, покрытый старою рощей из березы, дуба, вербы и тополя. Под деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около посуды уже хлопотали Василий и Григорий, в своих фраках и в белых вязаных перчатках. На другом берегу, против «Доброй Надежды», стояли экипажи, приехавшие с провизией. С экипажей корзины и узлы с провизией переправлялись на остров в челноке, очень похожем на Пендераклию. У лакеев, кучеров и даже у мужика, который сидел в челноке, выражение лиц было торжественное, именинное, какое бывает только у детей и прислуги.

Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потом же началась суматоха, обычная на пикниках во время чаепития, очень скучная и утомительная для хозяек. Едва Григорий и Василий успели разнести, как к Ольге Михайловне уже потянулись руки с пустыми стаканами. Один просил без сахару, другой — покрепче, третий — пожиже, четвертый благодарил. И все это Ольга Михайловна должна была помнить и потом кричать: «Иван Петрович, это вам без сахару?» или: «Господа, кто просил пожиже?» Но тот, кто просил пожиже или без сахару, уж не помнил этого и, увлекшись приятными разговорами, брал первый попавшийся стакан. В стороне от стола бродили, как тени, унылые фигуры и делали вид, что ищут в траве грибов или читают этикеты на коробках, — это те, которым не хватило стаканов. «Вы пили чай?» — спрашивала Ольга Михайловна, и тот, к кому относился этот вопрос, просил не беспокоиться и говорил: «Я подожду», хотя для хозяйки было удобнее, чтобы гости не ждали, а торопились.

Одни, занятые разговорами, пили чай медленно, задерживая у себя стаканы по получасу, другие же, в особенности кто много пил за обедом, не отходили от стола и выпивали стакан за стаканом, так что Ольга Михайловна едва успевала наливать. Один молодой шутник пил чай вприкуску и все приговаривал: «Люблю, грешный человек, побаловать себя китайскою травкой». То и дело просил он с глубоким вздохом: «Позвольте еще одну черепушечку!» Пил он много, сахар кусал громко

и думал, что все это смешно и оригинально и что он отлично подражает купцам. Никто не понимал, что все эти мелочи были мучительны для хозяйки, да и трудно было понять, так как Ольга Михайловна все время приветливо улыбалась и болтала вздор.

А она чувствовала себя нехорошо... Ее раздражали многолюдство, смех, вопросы, шутник, ошеломленные и сбившиеся с ног лакеи, дети, вертевшиеся около стола; ее раздражало, что Вата похожа на Нату, Коля на Митю, и что не разберешь, кто из них пил уже чай, а кто еще нет. Она чувствовала, что ее напряженная приветливая улыбка переходит в злое выражение, и ей каждую минуту казалось, что она сейчас заплачет.

— Господа, дождь! — крикнул кто-то.

Все посмотрели на небо.

— Да, в самом деле дождь... — подтвердил Петр Дмитрич и вытер щеку.

Небо уронило только несколько капель, настоящего дождя еще не было, но гости побросали чай и заторопились. Сначала все хотели ехать в экипажах, но раздумали и направились к лодкам. Ольга Михайловна, под предлогом, что ей нужно поскорее распорядиться насчет ужина, попросила позволения отстать от общества и ехать домой в экипаже.

Сидя в коляске, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу от улыбки. С злым лицом она ехала через деревню и с злым лицом отвечала на поклоны встречных мужиков. Приехав домой, она прошла черным ходом к себе в спальню и прилегла на постель мужа.

— Господи, боже мой, — шептала она, — к чему эта каторжная работа? К чему эти люди толкутся здесь и делают вид, что им весело? К чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!

Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости.

«Пусть, — подумала Ольга Михайловна. — Я еще полежу».

Но в спальню вошла горничная и сказала:

— Барыня, Марья Григорьевна уезжает!

Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспешила из спальни.

— Марья Григорьевна, что же это такое? — начала она обиженным голосом, идя навстречу Марье Григорьевне. — Куда вы это торопитесь?

— Нельзя, голубчик, нельзя! Я и так уже засиделась. Меня дома дети ждут.

— Не добрая вы! Отчего же вы детей с собой не взяли?

— Милая, если позволите, я привезу их к вам как-нибудь в будень, но сегодня...

— Ах, пожалуйста, — перебила Ольга Михайловна, — я буду очень рада! Дети у вас такие милые! Поцелуйте их всех... Но, право, вы меня обижаете! Зачем торопиться, не понимаю!

— Нельзя, нельзя... Прощайте, милая. Берегите себя. Вы ведь в таком теперь положении...

И обе поцеловались. Проводив гостью до экипажа, Ольга Михайловна пошла в гостиную к дамам. Там уж огни были зажжены, и мужчины усаживались играть в карты.

## IV

Гости стали разъезжаться после ужина, в четверть первого. Провожая гостей, Ольга Михайловна стояла на крыльце и говорила:

— Право, вы бы взяли шаль! Становится немножко свежо. Не дай бог, простудитесь!

— Не беспокойтесь, Ольга Михайловна! — отвечали гости, усаживаясь. — Ну, прощайте! Смотрите же, мы ждем вас! Не обманите!

— Тпррр! — сдерживал кучер лошадей.

— Трогай, Денис! Прощайте, Ольга Михайловна!

— Детей поцелуйте!

Коляска трогалась с места и тотчас же исчезала в потемках. В красном круге, бросаемом лампою на дорогу, показывалась новая пара или тройка нетерпеливых лошадей и силуэт кучера с протянутыми вперед руками. Опять начинались поцелуи, упреки и просьбы приехать еще раз или взять шаль. Петр Дмитрич выбегал из передней и помогал дамам сесть в коляску.

— Ты поезжай теперь на Ефремовщину, — учил он кучера. — Через Манькино ближе, да там дорога хуже. Чего доброго опрокинешь... Прощайте, моя прелесть! Mille compliments[1] вашему художнику!

---

[1] Тысячу приветствий *(франц.)*.

— Прощайте, душечка Ольга Михайловна! Уходите в комнаты, а то простудитесь! Сыро!

— Тпррр! Балуешься!

— Это какие же у вас лошади? — спрашивал Петр Дмитрич.

— В великом посту у Хайдарова купили, — отвечал кучер.

— Славные конячки...

И Петр Дмитрич хлопал пристяжную по крупу.

— Ну, трогай! Дай бог час добрый!

Наконец уехал последний гость. Красный круг на дороге закачался, поплыл в сторону, сузился и погас — это Василий унес с крыльца лампу. В прошлые разы обыкновенно, проводив гостей, Петр Дмитрич и Ольга Михайловна начинали прыгать в зале друг перед другом, хлопать в ладоши и петь: «Уехали! уехали! уехали!» Теперь же Ольге Михайловне было не до того. Она пошла в спальню, разделась и легла в постель.

Ей казалось, что она уснет тотчас же и будет спать крепко. Ноги и плечи ее болезненно ныли, голова отяжелела от разговоров, и во всем теле по-прежнему чувствовалось какое-то неудобство. Укрывшись с головой, она полежала минуты три, потом взглянула из-под одеяла на лампадку, прислушалась к тишине и улыбнулась.

— Хорошо, хорошо... — зашептала она, подгибая ноги, которые, казалось ей, оттого, что она много ходила, стали длиннее. — Спать, спать...

Ноги не укладывались, всему телу было неудобно, и она повернулась на другой бок. По спальне с жужжаньем летала большая муха и беспокойно билась о потолок. Слышно было также, как в зале Григорий и Василий, осторожно ступая, убирали столы; Ольге Михайловне стало казаться, что она уснет и ей будет удобно только тогда, когда утихнут эти звуки. И она опять нетерпеливо повернулась на другой бок.

Послышался из гостиной голос мужа. Должно быть, кто-нибудь остался ночевать, потому что Петр Дмитрич к кому-то обращался и громко говорил:

— Я не скажу, чтобы граф Алексей Петрович был фальшивый человек. Но он поневоле кажется таким, потому что все вы, господа, стараетесь видеть в нем не то, что он есть на самом деле. В его юродивости видят

оригинальный ум, в фамильярном обращении — добродушие, в полном отсутствии взглядов видят консерватизм. Допустим даже, что он в самом деле консерватор восемьдесят четвертой пробы. Но что такое, в сущности, консерватизм?

Петр Дмитрич, сердитый и на графа Алексея Петровича, и на гостей, и на самого себя, отводил теперь душу. Он бранил и графа и гостей и с досады на самого себя готов был высказать и проповедовать что угодно. Проводив гостя, он походил из угла в угол по гостиной, прошелся по столовой, по коридору, по кабинету, потом опять по гостиной, и вошел в спальню. Ольга Михайловна лежала на спине, укрытая одеялом только по пояс (ей уже казалось жарко), и со злым лицом следила за мухой, которая стучала по потолку.

— Разве кто остался ночевать? — спросила она.

— Егоров.

Петр Дмитрич разделся и лег на свою постель. Он молча закурил папиросу и тоже стал следить за мухой. Взгляд его был суров и беспокоен. Молча минут пять Ольга Михайловна глядела на его красивый профиль. Ей казалось почему-то, что если бы муж вдруг повернулся к ней лицом и сказал: «Оля, мне тяжело», то она заплакала бы или засмеялась, и ей стало бы легко. Она думала, что ноги ноют и всему ее телу неудобно оттого, что у нее напряжена душа.

— Петр, о чем ты думаешь? — спросила она.

— Так, ни о чем... — ответил муж.

— У тебя в последнее время завелись от меня какие-то тайны. Это нехорошо.

— Почему же нехорошо? — ответил Петр Дмитрич сухо и не сразу. — У каждого из нас есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому.

— Личная жизнь, свои тайны... все это слова! Пойми, что ты меня оскорбляешь! — сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постели. — Если у тебя тяжело на душе, то почему ты скрываешь это от меня? И почему ты находишь более удобным откровенничать с чужими женщинами, а не с женой? Я ведь слышала, как ты сегодня на пасеке изливался перед Любочкой.

— Ну, и поздравляю. Очень рад, что слышала.

Это значило: оставь меня в покое, не мешай мне думать! Ольга Михайловна возмутилась. Досада, ненависть и гнев, которые накоплялись у нее в течение дня, вдруг точно запенились; ей хотелось сейчас же, не откладывая до завтра, высказать мужу все, оскорбить его, отомстить... Делая над собой усилия, чтобы не кричать, она сказала:

— Так знай же, что все это гадко, гадко и гадко! Сегодня я ненавидела тебя весь день — вот что ты наделал!

Петр Дмитрич тоже поднялся и сел.

— Гадко, гадко, гадко! — продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всем телом. — Меня нечего поздравлять! Поздравь ты лучше самого себя! Стыд, срам! Долгался до такой степени, что стыдишься оставаться с женой в одной комнате! Фальшивый ты человек! Я вижу тебя насквозь и понимаю каждый твой шаг!

— Оля, когда ты бываешь не в духе, то, пожалуйста, предупреждай меня. Тогда я буду спать в кабинете.

Сказавши это, Петр Дмитрич взял подушку и вышел из спальни. Ольга Михайловна не предвидела этого. Несколько минут она молча, с открытым ртом и дрожа всем телом, глядела на дверь, за которою скрылся муж, и старалась понять, что значит это. Есть ли это один из тех приемов, которые употребляют в спорах фальшивые люди, когда бывают неправы, или же это оскорбление, обдуманно нанесенное ее самолюбию? Как понять? Ольге Михайловне припомнился ее двоюродный брат, офицер, веселый малый, который часто со смехом рассказывал ей, что когда ночью «супружница начинает пилить» его, то он обыкновенно берет подушку и, посвистывая, уходит к себе в кабинет, а жена остается в глупом и смешном положении. Этот офицер женат на богатой, капризной и глупой женщине, которую он не уважает и только терпит.

Ольга Михайловна вскочила с постели. По ее мнению, теперь ей оставалось только одно: поскорее одеться и навсегда уехать из этого дома. Дом был ее собственный, но тем хуже для Петра Дмитрича. Не рассуждая, нужно это или нет, она быстро пошла в кабинет, чтобы сообщить мужу о своем решении («Бабья логика!» — мелькнуло у нее в мыслях) и сказать ему на прощанье еще что-нибудь оскорбительное, едкое...

Петр Дмитрич лежал на диване и делал вид, что читает газету. Возле него на стуле горела свеча. Из-за газеты не было видно его лица.

— Потрудитесь мне объяснить, что это значит? Я вас спрашиваю!

— Вас... — передразнил Петр Дмитрич, не показывая лица. — Надоело, Ольга! Честное слово, я утомлен, и мне теперь не до этого... Завтра будем браниться.

— Нет, я тебя отлично понимаю! — продолжала Ольга Михайловна. — Ты меня ненавидишь! Да, да! Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя! Ты никогда не простишь мне этого и всегда будешь лгать мне! («Бабья логика!» — опять мелькнуло в ее мыслях.) Сейчас, я знаю, ты смеешься надо мной... Я даже уверена, что ты и женился на мне только затем, чтобы иметь ценз и этих подлых лошадей... О, я несчастная!

Петр Дмитрич уронил газету и приподнялся. Неожиданное оскорбление ошеломило его. Он детски-беспомощно улыбнулся, растерянно поглядел на жену и, точно защищая себя от ударов, протянул к ней руки и сказал умоляюще:

— Оля!

И ожидая, что она скажет еще что-нибудь ужасное, он прижался к спинке дивана, и вся его большая фигура стала казаться такою же беспомощно-детскою, как и улыбка.

— Оля, как ты могла это сказать? — прошептал он.

Ольга Михайловна опомнилась. Она вдруг почувствовала свою безумную любовь к этому человеку, вспомнила, что он ее муж, Петр Дмитрич, без которого она не может прожить ни одного дня и который ее любит тоже безумно. Она зарыдала громко, не своим голосом, схватила себя за голову и побежала назад в спальню.

Она упала в постель, и мелкие, истеричные рыдания, мешающие дышать, от которых сводит руки и ноги, огласили спальню. Вспомнив, что через три-четыре комнаты ночует гость, она спрятала голову под подушку, чтобы заглушить рыдания, но подушка свалилась на пол, и сама она едва не упала, когда нагнулась за ней; потянула она к лицу одеяло, но руки не слушались и судорожно рвали все, за что она хваталась.

Ей казалось, что все уже пропало, что неправда, которую она сказала для того, чтобы оскорбить мужа, раз-

била вдребезги всю ее жизнь. Муж не простит ее. Оскорбление, которое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладишь никакими ласками, ни клятвами... Как она убедит мужа, что сама не верила тому, что говорила?

— Кончено, кончено! — кричала она, не замечая, что подушка опять свалилась на пол. — Ради бога, ради бога!

Должно быть, разбуженные ее криками, уже проснулись гость и прислуга; завтра весь уезд будет знать, что с нею была истерика, и все обвинят в этом Петра Дмитрича. Она делала усилия, чтобы сдержать себя, но рыдания с каждою минутой становились все громче и громче.

— Ради бога! — кричала она не своим голосом и не понимала, для чего кричит это. — Ради бога!

Ей показалось, что под нею провалилась кровать и ноги завязли в одеяле. Вошел в спальню Петр Дмитрич в халате и со свечой в руках.

— Оля, полно! — сказал он.

Она поднялась и, стоя в постели на коленях, жмурясь от свечи, выговорила сквозь рыдания:

— Пойми... пойми...

Ей хотелось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ее ложь, что у нее накипело, но она могла только выговорить:

— Пойми... пойми...

— На, выпей! — сказал он, подавая ей воды.

Она послушно взяла стакан и стала пить, но вода расплескалась и полилась ей на руки, грудь, колени... «Должно быть, я теперь ужасно безобразна!» — подумала она. Петр Дмитрич молча уложил ее в постель и укрыл одеялом, потом взял свечу и вышел.

— Ради бога! — крикнула опять Ольга Михайловна. — Петр, пойми, пойми!

Вдруг что-то сдавило ее внизу живота и спины с такой силой, что плач ее оборвался, и она от боли укусила подушку. Но боль тотчас же отпустила ее, и она опять зарыдала.

Вошла горничная и, поправляя на ней одеяло, спросила встревоженно:

— Барыня, голубушка, что с вами?

— Убирайтесь отсюда! — строго сказал Петр Дмитрич, подходя к постели.

— Пойми, пойми... — начала Ольга Михайловна.

— Оля, прошу тебя, успокойся! — сказал он. — Я не хотел тебя обидеть. Я не ушел бы из спальни, если бы знал, что это на тебя так подействует. Мне просто было тяжело. Говорю тебе как честный человек...

— Пойми... Ты лгал, я лгала...

— Я понимаю... Ну, ну, будет! Я понимаю... — говорил Петр Дмитрич нежно, садясь на ее постель. — То сказала ты сгоряча, понятно... Клянусь богом, я люблю тебя больше всего на свете и, когда женился на тебе, ни разу не вспомнил, что ты богата. Я бесконечно любил — и только... Уверяю тебя. Никогда я не нуждался и не знал цены деньгам, а потому не умею чувствовать разницу между твоим состоянием и моим. Мне всегда казалось, что мы одинаково богаты. А что я в мелочах фальшивил, то это... конечно, правда. Жизнь у меня до сих пор была устроена так несерьезно, что как-то нельзя было обойтись без мелкой лжи. Мне теперь самому тяжело. Оставим этот разговор, бога ради!..

Ольга Михайловна опять почувствовала сильную боль и схватила мужа за рукав.

— Больно, больно, больно, — сказала она быстро. — Ах, больно!

— Черт бы взял этих гостей! — пробормотал Петр Дмитрич, поднимаясь. — Ты не должна была ездить сегодня на остров! — крикнул он. — И как это я, дурак, не остановил тебя? Господи, боже мой!

Он досадливо почесал себе голову, махнул рукой и вышел из спальни.

Потом он несколько раз входил, садился к ней на кровать и говорил много, то очень нежно, то сердито, но она плохо слышала его. Рыдания чередовались у нее с страшною болью, и каждая новая боль была сильнее и продолжительнее. Сначала во время боли она задерживала дыхание и кусала подушку, но потом стала кричать неприличным, раздирающим голосом. Раз, увидев около себя мужа, она вспомнила, что оскорбила его, и, не рассуждая, бред ли это, или настоящий Петр Дмитрич, схватила обеими руками его руку и стала целовать ее.

— Ты лгал, я лгала... — начала она оправдываться. — Пойми, пойми... Меня замучили, вывели из терпенья...

— Оля, мы тут не одни! — сказал Петр Дмитрич.

Ольга Михайловна приподняла голову и увидела Варвару, которая стояла на коленях около комода и выдвигала нижний ящик. Верхние ящики были уже выдвинуты. Кончив с комодом, Варвара поднялась и, красная от напряжения, с холодным, торжественным лицом принялась отпирать шкатулку.

— Марья, не отопру! — сказала она шепотом. — Отопри, что ли.

Горничная Марья ковыряла ножницами в подсвечнике, чтобы вставить новую свечу; она подошла к Варваре и помогла ей отпереть шкатулку.

— Чтоб ничего запертого не было... — шептала Варвара. — Отопри, мать моя, и этот коробок. Барин, — обратилась она к Петру Дмитричу, — вы бы послали к отцу Михаилу, чтоб царские врата отпер! Надо!

— Делайте, что хотите, — сказал Петр Дмитрич, прерывисто дыша, — только, ради бога, скорей доктора или акушерку! Поехал Василий? Пошли еще кого-нибудь. Пошли своего мужа!

«Я рожу», — сообразила Ольга Михайловна. — Варвара, — простонала она, — но ведь он родится не живой.

— Ничего, ничего, барыня... — зашептала Варвара. — Бог даст, живой бундить (так она выговаривала слово «будет»)! Бундить живой.

Когда Ольга Михайловна в другой раз очнулась от боли, то уж не рыдала и не металась, а только стонала. От стонов она не могла удержаться даже в те промежутки, когда не было боли. Свечи еще горели, но уже сквозь шторы пробивался утренний свет. Было, вероятно, около пяти часов утра. В спальне за круглым столиком сидела какая-то незнакомая женщина в белом фартуке и с очень скромною физиономией. По выражению ее фигуры видно было, что она давно уже сидит. Ольга Михайловна догадалась, что это акушерка.

— Скоро кончится? — спросила она и в своем голосе услышала какую-то особую, незнакомую ноту, какой раньше у нее никогда не было. «Должно быть, я умираю от родов», — подумала она.

В спальню осторожно вошел Петр Дмитрич, одетый, как днем, и стал у окна, спиной к жене. Он приподнял штору и поглядел в окно.

— Какой дождь! — сказал он.

— А который час? — спросила Ольга Михайловна, чтобы еще раз услышать в своем голосе незнакомую нотку.

— Без четверти шесть, — отвечала акушерка.

«А что, если я в самом деле умираю? — подумала Ольга Михайловна, глядя на голову мужа и на оконные стекла, по которым стучал дождь. — Как он без меня будет жить? С кем он будет чай пить, обедать, разговаривать по вечерам, спать?»

И он показался ей маленьким, осиротевшим; ей стало жаль его и захотелось сказать ему что-нибудь приятное, ласковое, утешительное. Она вспомнила, как он весною собирался купить себе гончих и как она, находя охоту забавой жестокой и опасной, помешала ему сделать это.

— Петр, купи себе гончих! — простонала она.

Он опустил штору и подошел к постели, хотел что-то сказать, но в это время Ольга Михайловна почувствовала боль и вскрикнула неприличным, раздирающим голосом.

От боли, частых криков и стонов она отупела. Она слышала, видела, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчас будет больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а как будто год назад, и что ее новая болевая жизнь продолжается дольше, чем ее детство, ученье в институте, курсы, замужество, и будет продолжаться еще долго-долго, без конца. Она видела, как акушерке принесли чай, как позвали ее в полдень завтракать, а потом обедать; видела, как Петр Дмитрич привык входить, стоять подолгу у окна и выходить, как привыкли входить какие-то чужие мужчины, горничная, Варвара... Варвара говорила только «бундить, бундить» и сердилась, когда кто-нибудь задвигал ящики в комоде. Ольга Михайловна видела, как в комнате и в окнах менялся свет: то он был сумеречный, то мутный, как туман, то ясный, дневной, какой был вчера за обедом, то опять сумеречный... И каждая из этих перемен продолжалась так же долго, как детство, ученье в институте, курсы...

Вечером два доктора — один костлявый, лысый, с широкою рыжею бородою, другой с еврейским лицом, черномазый и в дешевых очках — делали Ольге Михайловне

какую-то операцию. К тому, что чужие мужчины касались ее тела, она относилась совершенно равнодушно. У нее уже не было ни стыда, ни воли, и каждый мог делать с нею, что хотел. Если бы в это время кто-нибудь бросился на нее с ножом, или оскорбил Петра Дмитрича, или отнял бы у нее права на маленького человечка, то она не сказала бы ни одного слова.

Во время операции ей дали хлороформу. Когда она потом проснулась, боли все еще продолжались и были невыносимы. Была ночь. И Ольга Михайловна вспомнила, что точно такая же ночь с тишиною, с лампадкой, с акушеркой, неподвижно сидящей у постели, с выдвинутыми ящиками комода, с Петром Дмитричем, стоящим у окна, была уже, но когда-то очень, очень давно...

## V

«Я не умерла...» — подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее и когда болей уже не было.

В два настежь открытые окна спальни глядел ясный летний день; в саду за окнами, не умолкая ни на одну секунду, кричали воробьи и сороки.

Ящики в комоде были уже заперты, постель мужа прибрана. Не было в спальне ни акушерки, ни Варвары, ни горничной; один только Петр Дмитрич по-прежнему стоял неподвижно у окна и глядел в сад. Не слышно было детского плача, никто не поздравлял и не радовался, очевидно, маленький человечек родился не живой.

— Петр! — окликнула Ольга Михайловна мужа.

Петр Дмитрич оглянулся. Должно быть, с того времени, как уехал последний гость и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень много времени, так как Петр Дмитрич заметно осунулся и похудел.

— Что тебе? — спросил он, подойдя к постели.

Он глядел в сторону, шевелил губами и улыбался детски-беспомощно.

— Все уже кончилось? — спросила Ольга Михайловна.

Петр Дмитрич хотел что-то ответить, но губы его задрожали, и рот покривился старчески, как у беззубого дяди Николая Николаича.

— Оля! — сказал он, ломая руки, и из глаз его вдруг брызнули крупные слезы. — Оля! Не нужно мне ни твоего ценза, ни съездов (он всхлипнул)... ни особых мнений, ни этих гостей, ни твоего приданого... ничего мне не нужно! Зачем мы не берегли нашего ребенка? Ах, да что говорить!

Он махнул рукой и вышел из спальни.

А для Ольги Михайловны было уже решительно все равно. В голове у нее стоял туман от хлороформа, на душе было пусто... То тупое равнодушие к жизни, какое было у нее, когда два доктора делали ей операцию, все еще не покидало ее.

*1888*

## СОДЕРЖАНИЕ


Письмо к ученому соседу . . . . . 3
Радость . . . . . 8
Торжество победителя . . . . . 11
Смерть чиновника . . . . . 15
Дочь Альбиона . . . . . 18
Справка . . . . . 22
Толстый и тонкий . . . . . 25
Трагик . . . . . 28
Репетитор . . . . . 32
Альбом . . . . . 35
Брожение умов . . . . . 38
Экзамен на чин . . . . . 42
Хирургия . . . . . 46
Хамелеон . . . . . 50
Надлежащие меры . . . . . 54
Винт . . . . . 58
Маска . . . . . 62
Устрицы . . . . . 68
Симулянты . . . . . 72
Налим . . . . . 76
Лошадиная фамилия . . . . . 81
Егерь . . . . . 85
Злоумышленник . . . . . 90
Унтер Пришибеев . . . . . 94
На чужбине . . . . . 98
Сонная одурь . . . . . 102
Горе . . . . . 106
Шило в мешке . . . . . 112
Детвора . . . . . 117
Тоска . . . . . 123
Переполох . . . . . 129
Панихида . . . . . 137
Шуточка . . . . . 143
Агафья . . . . . 148
Кошмар . . . . . 159
Гриша . . . . . 173

Дамы . . . . . 177
Хористка . . . . . 181
Пассажир 1-го класса . . . . . 187
Нахлебники . . . . . 194
Житейская мелочь . . . . . 200
В суде . . . . . 206
Необыкновенный . . . . . 213
Мечты . . . . . 218
Оратор . . . . . 227
Ванька . . . . . 231
Шампанское . . . . . 235
Нищий . . . . . 241
Враги . . . . . 247
Темнота . . . . . 260
Верочка . . . . . 264
Выигрышный билет . . . . . 277
Тайна . . . . . 282
Следователь . . . . . 287
Володя . . . . . 292
Счастье . . . . . 305
Ненастье . . . . . 315
Драма . . . . . 320
Беззаконие . . . . . 326
Отец . . . . . 331
Свирель . . . . . 339
Почта . . . . . 347
Задача . . . . . 353
Интриги . . . . . 360
Старый дом . . . . . 365
Дорогие уроки . . . . . 371
Беда . . . . . 378
Каштанка . . . . . 385
Рассказ госпожи NN . . . . . 405
Без заглавия . . . . . 410
Спать хочется . . . . . 415
Степь . . . . . 421
Огни . . . . . 513
Неприятность . . . . . 550
Красавицы . . . . . 569
Именины . . . . . 577

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

*Избранные произведения в трех томах*

ТОМ 1

Редактор *В. Панов*
Художественный редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *Т. Гончарова*
Корректор *В. Брагина*

Сдано в набор и печать 3/IX 1959 г. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$. 19 печ. л. = 31,16 усл. печ. л. 29,82 уч.-изд. л. Тираж 135 000. Зак. № 1622. Цена 9 р. 45 к. с 1/I 1961 г. — 95 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 115158849